Н.Ф. БУДАНОВА

# ДОСТОЕВСКИЙ И ТУРГЕНЕВ

## ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Н. Ф. БУДАНОВА

# ДОСТОЕВСКИЙ И ТУРГЕНЕВ

## ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ

Ответственный редактор
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР



ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1987

Рецензенты: В. А. ТУНИМАНОВ, А. Б. МУРАТОВ

Б $\frac{4603020101-664}{042(02)-87}$ 308-87-IV

# ПРЕДИСЛОВИЕ

Научной постановке темы «Тургенев и Достоевский» положила начало небольшая книжка талантливого историка литературы Ю. Никольского «Тургенев и Достоевский. (История одной вражды)», изданная в Софии в 1921 г. Ю. Никольский попытался проанализировать и объяснить драматически сложившиеся отношения между писателями. В центре внимания ученого оказались эпизод баденской ссоры Достоевского и Тургенева (в свое время подробно изложенный в известном письме Достоевского Майкову 1867 г.) и отчасти литературные отношения писателей (анализ высказываний Достоевского о «Призраках», «Отцах и детях», «Дыме», образ Кармазинова-Тургенева в «Бесах» и некоторые другие). Причину вражды между писателями Ю. Никольский усмотрел в различии их мировоззрений, а также в своеобразной «психологической несовместимости» их натур.

Живо и талантливо написанная книга Ю. Никольского, содержащая тонкие наблюдения, и сейчас еще не утратила своего значения, несмотря на то что в ней нет ни широкого круга проблем, ни научных обобщений. Это первый и пока единственный опыт монографического изучения темы «Тургенев и Достоевский». Нельзя забывать, однако, что со времени выхода в свет книги Ю. Никольского прошло уже более полувека. Наука о Тургеневе и Достоевском шагнула далеко вперед, существенно расширив и углубив стоящие перед ней задачи; исследователям стали доступны новые источники, в том числе рукописные, требующие своего осмысления и анализа.[1]

В 1928 г. к теме вражды Достоевского и Тургенева обратился И. С. Зильберштейн,[2] впервые опубликовавший их переписку и сопроводивший ее большим предисловием и специальной статьей «Встреча Достоевского с Тургеневым в Бадене в 1867 г.». Исследователю удалось разыскать и привлечь новые биографические документы и материалы для освещения эпизода ссоры.

В 1920-е годы в печати появились также содержательные статьи Н. К. Пиксанова, А. С. Долинина, Н. Ф. Бельчикова, посвященные характеристике творческих взаимоотношений писателей.[3]

В 1930—1950-е годы тема «Тургенев и Достоевский» почти не привлекала специального внимания исследователей.

Интерес к этой теме оживился в 1960—1980-е годы в связи с предпринятыми в это время Пушкинским Домом академическими

изданиями Полных собраний сочинений Тургенева и Достоевского.

Существенно расширив круг традиционных тем («история вражды», «Призраки», «Отцы и дети», «Дым» в восприятии Достоевского; пародия на Тургенева в «Бесах»), литературоведы обратились к сравнительно-типологическому изучению творчества двух писателей. Здесь прежде всего следует упомянуть интересные статьи В. В. Виноградова «Тургенев и школа молодого Достоевского (конец 40-х годов XIX века)» [4] и Г. А. Бялого «О психологической манере Тургенева (Тургенев и Достоевский)».[5]

В. В. Виноградов отметил влияние «Бедных людей» на поэтику молодого Тургенева, также разрабатывавшего в конце 1840-х— начале 1850-х годов тему маленького, забитого и униженного человека.

Г. А. Бялый убедительно показал черты сходства и различия в художественной разработке писателями образов «лишних людей» и «подпольного человека», с одной стороны («Дневник лишнего человека» — «Записки из подполья»), и «новых людей» — с другой (Базаров — Раскольников).

«Укоренившееся представление о кардинальной противоположности психологической манеры Тургенева и Достоевского сильно преувеличено, — пишет исследователь. — Не могло не быть значительного сходства у писателей, подходивших к человеку прежде всего со стороны его идейного мира, ставивших своей целью изучение форм сознания современного человека, недовольного жизнью и измученного ею».[6] Г. А. Бялый отмечает также принципиальное различие психологического метода у Тургенева и Достоевского: Тургенев при анализе того или иного социально-психологического явления «стремится выяснить его сущность и природу, он хочет показать, что представляет собою этот тип как культурно-историческое явление, каковы главные черты его характера, как этот характер проявляется в обычной жизни и в тех чрезвычайных обстоятельствах, которые безошибочно проверяют жизненную ценность человека〈...〉 Цель Достоевского иная, он идет дальше Тургенева и применяет другой метод выяснения сущности социально-психологических явлений. Для него эта сущность раскрывается не в сегодняшнем состоянии факта, а в том, к чему он ведет, во что может и должен прорасти при крайнем развитии его характерных свойств. Понять явление для Достоевского значит довести его до предела, до „последней стены“».[7]

Глубокая статья Г. А. Бялого, содержащая тонкие наблюдения и научные обобщения, открывает перспективы для сравнительного изучения творчества Тургенева и Достоевского 1870-х годов.

Некоторыми авторами затронут сложный вопрос о возможном влиянии Достоевского на позднего Тургенева (см. «Ученые записки» и «Труды» Орловского и Курского педагогических институтов за 1970-е годы). Так, например, в цикле статей Е. В. Тюховой, объединенных ею в книгу,[8] дан сравнительно-типологический ана-

лиз некоторых произведений обоих писателей. В центре внимания автора — концепция характера и принципы его изображения у Тургенева и Достоевского. Особое внимание автор уделяет проблеме женского национального характера, сопоставлению образов «кротких», «гордых», самоотверженных и героических женщин в творчестве Тургенева и Достоевского. Работы Е. В. Тюховой, богатые интересными соображениями и наблюдениями, нуждаются, однако, в более смелых выводах и обобщениях.

Личным и творческим взаимоотношениям Тургенева и Достоевского в 1860—1870-е годы посвящены обстоятельные статьи Л. А. Николаевой, Р. Н. Поддубной и А. И. Батюто.[9]

В настоящее время уже очевидна ошибочность традиционного подхода к теме «Тургенев и Достоевский» как к «истории одной вражды». Сложные личные и творческие отношения двух писателей не укладываются в прокрустово ложе этой формулы, очевидна и односторонность представления о коренной противоположности их художественных методов.

Оказалась также живучей дурная традиция возвышения одного большого писателя за счет принижения другого. Поклонники Достоевского обычно противопоставляют его как гения-провидца представителю «золотой середины» Тургеневу; поклонники Тургенева пишут о его светлом таланте, противостоящем безысходному мраку Достоевского. Попутно писателей сопоставляют в личном, человеческом плане, что нередко ведет к унижению нравственного достоинства одного из них.[10]

Д. Голсуорси в статье «Силуэты шести писателей» вспоминал, что, когда английские критики в начале XX в. «открыли (увы, с запозданием) новый светоч русской литературы — Достоевского», в Англии «стало модно говорить⟨...⟩ с пренебрежением о Тургеневе». «Казалось бы, — иронизирует Голсуорси, — для обоих талантов хватит места, но в литературном мире принято гасить один светильник прежде, чем зажечь другой».[11] Пусть же одновременно ярко горят оба светильника русской литературы!

Тургенев и Достоевский были современниками. Эпоху, на которую падает их зрелое творчество, оба они не случайно воспринимали как переломную. Вторая половина XIX в. ознаменовалась ломкой коренных устоев старой крепостнической России. Неудивительно, что два таких больших писателя нередко обращались в своем творчестве к одним и тем же явлениям и проблемам русской жизни. И тот факт, что они подходили к решению этих проблем по-разному, в соответствии с особенностями своего мировоззрения и художественного метода, иногда вступая в прямую и скрытую полемику друг с другом (что было особенно характерно для Достоевского), придает глубокий интерес сравнительному изучению их творчества.

Известны отрицательные отзывы и высказывания писателей друг о друге, во многом обусловленные резко обострившимися между ними после публикации романов «Дым» и «Бесы» личными и идеологическими расхождениями.

Оба писателя смотрели на свое творчество как на общественное служение. Тургенев не обладал таким страстным темпераментом человека и гражданина, как Достоевский, он не пророчествовал, не учил, но он постоянно и неутомимо стремился сказать русскому обществу, молодежи свое, выношенное и выстраданное слово. Как отмечала еще современная критика, Тургенев умел с удивительной чуткостью улавливать зарождающееся новое явление в русской жизни и первый говорил о нем обществу. Эту сторону дарования Тургенева Достоевский несомненно признавал и учитывал, постоянно, внимательно и ревниво следя за его творчеством. Достоевский всегда высоко ценил Тургенева-художника и упоминал его среди писателей, составлявших гордость России. «Дым», пожалуй, единственный роман Тургенева, не удовлетворивший Достоевского также в художественном отношении. Известно, что писатель восторженно принял и глубоко истолковал романы Тургенева «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети».

Сохранившиеся отзывы Тургенева о произведениях Достоевского свидетельствуют, что в целом Достоевский как художник не был ему внутренне близок. Высокую оценку Тургенева получили «Записки из Мертвого дома». В декабре 1861 г. Тургенев сообщает Достоевскому из Парижа, что с «большим удовольствием» читает «Записки из Мертвого дома»: «Картина *бани* просто дантовская — и в Ваших характеристиках разных лиц (напр., Петров) много тонкой и верной психологии».[12]

Весной 1866 г. Тургенев писал А. А. Фету, что первая часть «Преступления и наказания» «замечательна; вторая часть опять отдает прелым самоковырянием» (*Т, Письма,* VI, 66). Еще более резко отозвался Тургенев в письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину в 1875 г. о «Подростке», усмотрев в этом романе «хаос», «никому не нужное бормотанье и психологическое ковыряние» (*Т, Письма,* XI, 164).

Из приведенных выше отзывов очевидно, что возражение Тургенева вызывала прежде всего психологическая манера Достоевского-романиста. Как справедливо пишет Г. Б. Курляндская, давшая глубокий сравнительный анализ методов психологического анализа Тургенева, Толстого и Достоевского как «представителей магистральных, противоположных и вместе с тем неразрывно связанных течений в русском психологическом реализме XIX века», к особенностям психологического анализа Тургенева, непосредственно связанным с его идеалом красоты, относятся прежде всего правдивость, лаконизм и сдержанность в раскрытии психологии героев, соблюдение естественных пропорций в изображении внутреннего мира человека.

«Обнажение непосредственного хаоса переживаний или болезненных нравственных состояний человеческой личности Тургенев считал отклонением от простоты»,[13] нарушением чувства гармонии и меры. «. . .у Достоевского, — говорил он, — через каждые две страницы его герои — в бреду, в исступлении, в лихорадке. Ведь этого не бывает».[14]

Однако Тургенев несомненно сознавал первоклассный талант Достоевского и значение его в русской литературе.

Весной 1877 г. Тургенев дал рекомендательное письмо к Достоевскому французскому литератору и переводчику Эмилю Дюрану, получившему поручение написать для французского журнала статьи о выдающихся представителях русской словесности. «. . .Вы, конечно, стоите в этом случае на первом плане, — пишет Тургенев Достоевскому. — ⟨...⟩ Я решился написать Вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе» (*Т, Письма*, $XII_1$, 129). Можно предположить, что это не простая любезность, а объективное признание Тургеневым литературных заслуг Достоевского.

Книга «Достоевский и Тургенев: творческий диалог» задумана как исследование историко-литературного и сравнительно-типологического характера, основанное на широком привлечении рукописных материалов и тщательном изучении контекста.

Сравнительно-типологический метод предполагает определение различных родов связи между отдельными произведениями и целыми художественными системами. К их числу принадлежат не только контактные связи (проявляющиеся прежде всего в следовании традиции, преемственности, влиянии), но и связи по контрасту, наблюдаемые при разработке писателями некоторых тем, проблем, идей, образов, конфликтов и т. д.[15] Последние, т. е. литературные связи по контрасту, занимают существенное место при сравнительном изучении творчества Достоевского и Тургенева.

Как известно, для Тургенева и особенно для Достоевского характерно широкое использование художественных образов, параллелей, реминисценций, парафраз, цитат из произведений русских и западных писателей. Так, в частности, в произведениях Достоевского и в его черновиках много упоминаний о Тургеневе, лежащих на поверхности и скрытых. Эти своеобразные художественные ориентиры образуют своего рода культурно-исторический подтекст и всегда связаны с образами и идейно-философской проблематикой произведения. Раскрытие этого культурно-исторического подтекста важно для обнаружения скрытой полемики.

Несколько слов по поводу названия книги. Можно возразить: книга эта больше о Достоевском, чем о Тургеневе, и «диалог» ведет преимущественно Достоевский, причем не только с Тургеневым, но и с другими русскими писателями. Подобное соображение, как мы думаем, не меняет существа дела. Пусть в диалоге «Достоевский — Тургенев» и даже в многоголосье эпохи 1860-х—начала 1880-х годов ведущим будет Достоевский, он имеет на это полное право: диалогичность художественного сознания и слова Достоевского, убедительно доказанная М. Бахтиным и другими учеными, в настоящее время общепризнанна.

Тургенев постоянно присутствует в творческом мире Достоевского — писателя и публициста. Достоевский — более редкий гость у Тургенева. Да и как взвесить в диалоге реальную роль его участников? Не будем забывать, что слово Достоевского, обращенное к Тургеневу, — это ответ на слово, ранее сказанное Тургеневым. Таким «словом» являются темы, образы, конфликты, которые принято называть «тургеневскими». Наконец, обращение двух больших писателей к общим актуальнейшим проблемам своей эпохи (например, проблемы интеллигенции и народа, исторических судеб России, ее отношения к Западу и т. д.) также позволяет говорить о диалоге — разумеется, о диалоге в широком понимании этого слова.

В книге рассматриваются некоторые узловые проблемы мировоззрения и творчества Достоевского и Тургенева 1860-х—начала 1880-х годов (преимущественно их романы и публицистика), дан сравнительно-типологический анализ их героев («подпольный человек», «лишние», «новые» люди, нигилисты, «скитальцы»), отмечены черты сходства и своеобразия творческого метода и художественной манеры писателей.

Впервые подвергнуты сравнительному анализу проблемы нигилизма и поколений у Тургенева и Достоевского.

Проблема нигилизма в творчестве зрелого Достоевского, сложная и противоречивая по своему характеру, не получила еще специальной научной разработки. Творчески использовав достижения Тургенева как художественного первооткрывателя нигилизма, Достоевский во второй половине 1860-х годов создал свою, оригинальную концепцию нигилизма, основное ядро которой составляют проблемы нравственно-философского характера. Писатель сделал попытку объяснить причины появления нигилизма, выделил его характерные черты и типы, наметил пути его преодоления, создал яркие образы бунтарей-отрицателей, литературным прообразом которых в значительной мере явился Базаров.

В своей характеристике концепции нигилизма у Достоевского мы стремились раскрыть ее сильные стороны, показать ее новаторский характер.

Тема «отцов и детей», также генетически восходящая к Тургеневу, получила глубокую и самобытную разработку (в семейно-бытовом, историко-социальном и нравственно-философском аспектах) в романах Достоевского «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Трактовка проблемы поколений у Достоевского полемична не только по отношению к автору «Отцов и детей» (что особенно ощутимо в «Бесах» и отчасти в «Подростке»), но и к Л. Н. Толстому, «историографу» среднедворянской помещичьей семьи, с ее своеобразным «благообразием», которому Достоевский противопоставляет «неблагообразие» «случайного семейства» (основного, по мнению писателя, вида семьи в пореформенной России) с характерными для него неустроенностью, распадом всяких духовных и нравственных связей между «отцами» и «детьми». В «Братьях Карамазовых» Достоевский наконец

реализовал давнюю мечту написать «своих» «Отцов и детей». Тема поколений разработана здесь в двух аспектах. В более узком она связана с «случайным семейством» Карамазовых. В широком — это эпическая тема настоящего, прошедшего и будущего России. Проблематика, затронутая Достоевским в эпической теме «Братьев Карамазовых», сближает этот роман не только с «Отцами и детьми», но также с романами «Дым» и «Новь».

На основе изучения контекста «Дневника писателя» за 1876—1877 гг. и рукописных материалов к нему впервые предпринята попытка проследить скрытую полемику Достоевского с автором «Дыма» и «Нови» о перспективах исторического развития России и ее отношении к Западу, о путях и движущих силах русского прогресса, об интеллигенции и народе.

Черновые материалы к «Дневнику писателя» за 1876 г., полностью опубликованные в академическом издании, позволяют подробно «реконструировать» замысел неосуществленной статьи Достоевского, посвященной «Дыму», а также впервые раскрыть второй, скрытый, «потугинский» план полемики Достоевского с критиком В. Авсеенко в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.

Наряду с проблемой «Россия—Запад» центральное место в статье о «Дыме» должен был занять спор Достоевского с автором «Дыма» и Потугиным по эстетическим вопросам. Об этом свидетельствуют многочисленные черновые записи об идеале прекрасного у русского народа (былинному герою Чуриле Пленковичу, которого Потугин высмеял как эстетический идеал «нецивилизованного русского», Достоевский противопоставляет Святогора и особенно Илью Муромца, в образах которых отразились народные представления о прекрасном).

Отражение народного эстетического идеала Достоевский усматривает также в литературе, близкой «народной правде», в частности в «Дворянском гнезде» — «поэме», высоко им ценимой, и в образе Лаврецкого, которого как истинно русского и «почвенного» человека Достоевский противопоставляет западнику-космополиту Потугину.

Краткий отзыв Достоевского о первой части романа «Новь» в «Дневнике писателя» за 1877 г. рассмотрен в связи с черновыми материалами и в общем контексте «Дневника», что позволяет понять причину отрицательного отношения Достоевского к программе Соломина и выявить скрытую полемику с автором «Нови» на страницах «Дневника писателя» за 1877 г. по злободневным русским и европейским проблемам.

Многолетний творческий диалог Достоевского с Тургеневым получил завершение на Пушкинских празднествах в 1880 г., а по существу остался открытым. Идейные разногласия по актуальным проблемам современной русской и европейской действительности, наметившиеся еще в 1860-е годы и обострившиеся в 1870-е, остались в силе: сравнительный анализ Пушкинских речей обоих писателей еще раз подтверждает это.

Пушкинские речи Тургенева и Достоевского нередко противопоставляют друг другу, так как усматривают в них отражение различных взглядов на Пушкина — западнических (Тургенев) и славянофильско-почвеннических (Достоевский). Подобная точка зрения грешит односторонностью. Нетрудно обнаружить немало общего в отношении обоих писателей к Пушкину (оба считали его своим учителем), в понимании его народности и той особенности творческого дарования поэта, которую Белинский назвал «протеизмом» Пушкина, Тургенев — его «художественной восприимчивостью», способностью самобытного использования чужих форм, а Достоевский — «всемирной отзывчивостью» и «всечеловечностью» русского гения.

Близки оба писателя и в оценке исторической роли Пушкина как великого национального поэта, основоположника русской литературы, определившего ее развитие по пути реализма и народности.

Существенное внимание уделено нами проблеме «русского скитальца» и литературным источникам этого образа, в частности роману «Рудин», так как тургеневский Рудин явился одним из прообразов «скитальца» Версилова в «Подростке» и, очевидно, сыграл известную роль в формировании у Достоевского концепции «скитальчества».

В Пушкинской речи Достоевского дана итоговая оценка творчества Тургенева, и оценка очень высокая. Она выявляется в контексте высказываний Достоевского о Пушкине, в его попытке определить национальное и историческое значение великого русского поэта. Тургенева наряду с другими выдающимися русскими писателями Достоевский отнес к «плеяде Пушкина». Это ученики и наследники Пушкина, продолжатели его литературного дела.

В заключительной главе подведены итоги творческому диалогу «Достоевский и Тургенев», который, как мы стремились показать, был интересным и плодотворным. Диалог этот неразрывно связан с нравственно-философскими, общественно-политическими и художественными исканиями русской литературы XIX в., он переплетается с другими «диалогами», впитал в себя «полемику идей» своего времени. Поэтому наряду с голосами Тургенева и Достоевского в многоголосье эпохи звучат также голоса их современников — Белинского, Герцена, А. Григорьева, Страхова, Л. Н. Толстого, Н. К. Михайловского и некоторых других. Стержневая проблема, проходящая через всю книгу и объединяющая ее главы, — проблема народа, точнее — интеллигенции и народа. Оба писателя, расходясь в представлении о путях и формах сближения интеллигенции и народа, в то же время отчетливо осознавали необходимость этого сближения, так как с ним связывали надежды на будущее обновление своей родины.

Результаты сравнительного изучения мировоззрения и творчества двух крупнейших русских художников могут оказаться полезными не только для определения идейно-художественного

своеобразия каждого из них и их места в истории русской литературы, но также для понимания закономерностей литературного процесса эпохи расцвета критического реализма и типологии русского реализма в целом.

[1] Библиография работ, специально посвященных теме, невелика и исчисляется несколькими десятками. В работах общего характера о русской литературе XIX в. и в монографиях, посвященных творчеству Тургенева и Достоевского, содержатся ценные суждения, наблюдения, выводы, касающиеся сравнительного анализа творчества обоих писателей. См., например, работы М. М. Бахтина, Г. А. Бялого, В. В. Виноградова, Н. Я. Берковского, Л. Я. Гинзбург, Г. Б. Курляндской, Л. М. Лотман, А. Б. Муратова, О. Н. Осмоловского, П. Г. Пустовойта, С. Е. Шаталова, Г. М. Фридлендера, М. Б. Храпченко и других исследователей. Наш обзор литературы, специально посвященной теме, не претендует на исчерпывающую полноту.

[2] См.: Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка / Под ред., с введ. и примеч. И. С. Зильберштейна; Предисл. Н. Ф. Бельчикова. Л., 1928. (Сер. «Памятники лит. быта»).

[3] См.: *Пиксанов Н. К.* История «Призраков». — В кн.: Тургенев и его время / Под ред. Н. Л. Бродского. М.; Пг., 1923, сб. 1, с. 164—192; *Долинин А. С.* Тургенев в «Бесах». — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л.; М., 1924, сб. 2, с. 119—136; *Бельчиков Н. Ф.* Тургенев и Достоевский: (Критика «Дыма»). — Литература и марксизм, 1928, № 1, с. 63—94.

[4] Рус. лит., 1959, № 2, с. 45—71.

[5] Рус. лит., 1968, № 4, с. 34—50; см. также: *Бялый Г. А.* Две школы психологического реализма: (Тургенев и Достоевский). — В кн.: *Бялый Г. А.* Русский реализм конца XIX века. Л., 1973, с. 31—53.

[6] *Бялый Г. А.* Две школы психологического реализма: (Тургенев и Достоевский), с. 32.

[7] Там же, с. 39. — «Тайную психологию» Тургенева (термин самого писателя) обычно противопоставляют «явной» психологии Достоевского и изображению «диалектики души» у Л. Н. Толстого. Сравнительному анализу художественных методов Тургенева и Достоевского посвящены, в частности, статьи: *Пустовойт П. Г.* К вопросу о различиях художественных методов Тургенева и Достоевского. — В кн.: Вопросы литературы. Львов, 1973, вып. 1(21), с. 11—18 (Республ. межведом. науч. сб.); *Конышев Е. М.* Особенности психологического анализа у Тургенева и Достоевского. — В кн.: Седьмой межвузовский Тургеневский сборник. Курск, 1977, с. 43—57 (Науч. тр. Курск. гос. пед. ин-та, т. 177); *Осмоловский О. Н.* Художественно-психологический метод Достоевского и позднего Тургенева. — Там же, с. 58—81.

[8] См.: *Тюхова Е. В.* Достоевский и Тургенев: (Типологическая общность и родовое своеобразие). Курск, 1981.

[9] См.: *Николаева Л. А.* Проблема «злободневности» в русском политическом романе 70-х годов: (Тургенев и Достоевский). — В кн.: Проблемы реализма в русской литературе XIX в. М.; Л., 1961, с. 379—409; *Поддубная Р. Н.* Тургенев и Достоевский в 1860-е годы. — В кн.: Четвертый межвузовский Тургеневский сборник. Орел, 1975, с. 107—129 (Науч. тр. Курск. и Орловск. гос. пед. ин-тов, т. 17(110)); *Батюто А. И.* 1) Признак великого сердца... К истории восприятия Достоевским романа «Отцы и дети». — Рус. лит., 1977, № 2, с. 21—37; 2) Достоевский и Тургенев в 1860—1870-е годы: (Только ли «История вражды»?). — Там же, 1979, № 1, с. 41—64; 3) Идеи и образы: К проблеме «И. С. Тургенев и Ф. М. Достоевский в 1870-е годы». — Там же, 1982, № 1, с. 76—96. — См. также наши статьи в сборнике: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974, 1983, 1985, вып. I, V, VI; Рус. лит., 1976, № 3, с. 109—122.

[10] Так, например, «исторические записки» И. Л. Волгина «Последний год Достоевского» неприятно поражают субъективным, подчас неуважительным отношением автора к Тургеневу (см.: *Волгин И.* Последний год Достоевского. М., 1986, с. 64—105, 273—311 и др.). О. Г. Чайковская, недавно обратившаяся к теме «Тургенев и Достоевский», напротив, столь же односторонне отдает предпочтение

Тургеневу, признав пагубным влияние идей Достоевского на незрелую часть нашей молодежи. Она же пресерьезно заверяет читателя, что «соперничество этих двоих продолжается и не кончится до тех пор, „пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит“» (*Чайковская О.* Из двух источников. — Новый мир, 1985, № 4, с. 228).

[11] *Голсуорси Д.* Собр. соч.: В 16-ти т. М., 1962, т. 16, с. 397, 399.

[12] *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28-ми т. Письма. М.; Л., 1962, т. 4, с. 320. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением буквы «*Т*» (серия «Сочинений») и с указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской). При упоминании эпистолярного материала дополнительно приводится название серии «*Письма*».

[13] *Курляндская Г. Б.* Метод и стиль Тургенева-романиста. Тула, 1967, с. 141, 143—145.

[14] См.: *Толстой С.* Тургенев в Ясной Поляне. — В кн.: Толстой С. Л. Очерки былого. Тула, 1965, с. 335.

[15] *Пруцков Н. И.* Историко-сравнительный анализ произведений художественной литературы. Л., 1974, с. 202. См. также: Проблемы типологии русского реализма. М., 1969; *Неупокоева И. Г.* История всемирной литературы. Проблемы системного и сравнительного анализа. М., 1976; *Храпченко М. Б.* Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. — В кн.: *Храпченко М. Б.* Собр. соч.: В 4-х т. М., 1981, т. 3.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

# У ИСТОКОВ «ПОДПОЛЬЯ»

«Записки из подполья» (1864) в последние годы все чаще привлекают внимание исследователей, и это не случайно. Известно, что создание образа «подпольного человека» Достоевский ставил себе в особую заслугу, так как видел в нем характерный для русской интеллигенции тип, своеобразное «знамение времени». Тем самым история болезни героя «подполья» становилась историей болезни определенных кругов русской интеллигенции.

«Записки из подполья» — ключ ко всему последующему творчеству писателя. Как справедливо отметил М. М. Бахтин, «подпольный парадоксалист» — «первый герой-идеолог в творчестве Достоевского».[1] Его связь с образами Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова общепризнанна. Сам Достоевский, как об этом свидетельствуют его черновики, в 1870-е годы неоднократно возвращался к «подпольному» типу, тем самым подчеркивая его непреходящее значение.

В русской литературе XIX в. «подпольный человек» стоит как-то особняком, как своего рода «Иван, не помнящий родства», хотя его генетическая связь с другими художественными образами была признана самим Достоевским, отмечавшим в то же время то принципиально новое, что он внес в разработку этого типа.[2]

Установление «родословной» «подпольного человека», его типологических связей с героями русской классической литературы, и в первую очередь с «лишними людьми», дает возможность определить место «антигероя» Достоевского в их литературном ряду, выявить его индивидуальное своеобразие, уяснить более отчетливо авторский замысел этого сложнейшего произведения.

Идейно-философская многоплановость «Записок из подполья», их структурное своеобразие (повесть написана в исповедальном жанре, в форме Icherzählung) создает особые трудности для выделения авторского «голоса» в этом произведении. Вследствие этого исследователи иногда приходят к отождествлению или сближению позиций Достоевского и героя «подполья», к смешению их «голосов». Именно поэтому еще бытует традиционная, односторонняя и по своему существу глубоко ошибочная точка зрения на «Записки из подполья» как на произведение, в котором Достоевский отрекся от гуманистических идеалов своей юности и проповедует крайний индивидуализм.

Подобное истолкование «Записок из подполья» впервые было подвергнуто обстоятельной критике А. Скафтымовым, который на основании тщательного анализа текста повести и ее сопоставления с публицистикой «Времени» и «Эпохи» пришел к противоположному выводу, а именно: основной пафос произведения Достоевского заключается, наоборот, в разоблачении писателем крайнего индивидуализма как безнравственного и антиобщественного начала.[3]

Проблема «лишнего человека» (в ее литературном и историческом аспектах) неоднократно привлекала внимание исследователей. Поэтому мы ограничимся здесь самыми общими соображениями.

Во второй половине 50-х—начале 60-х годов XIX в. «лишний человек» претерпел существенную эволюцию, утратив свое былое значение и уступив место деятелям другой формации, так называемым «новым людям». Произошла эволюция и в отношении общественного мнения к этому типу.

Тургенев, вокруг творчества которого и созданных им художественных типов кипели жаркие споры, в оценке «лишних людей» и идейного наследия 30—40-х годов сближался во многом с Герценом. В то же время в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), как и в своем предшествовавшем творчестве, он подверг резкой критике слабые стороны «лишних людей», признав, что их историческое время уже прошло.

Все эти споры вокруг «лишних людей» несомненно были в сфере внимания Достоевского. В начале 1860-х годов он дает свою интерпретацию «лишнего человека» в цикле статей о русской литературе и в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (1863). Оригинальные, ироничные и подчас несправедливо резкие оценки классических образов этого типа (например, Печорин), данные Достоевским, свидетельствуют в значительной мере о переоценке прежних ценностей и о поисках положительного идеала. Критика слабых сторон типа «лишнего человека», сближавшая Достоевского не только с Тургеневым, но отчасти и с Добролюбовым, велась писателем с позиций почвенничества, так как истоки болезни представителей русского «культурного слоя» Достоевский видел прежде всего в их западничестве, в отрыве от национальной почвы и народных нравственных идеалов.

Характерное для Достоевского начала 1860-х годов переосмысление типа «лишнего человека», созданного русской литературой, — важная веха на подступах писателя к «подпольному человеку».

## 1

Среди ключевых идейно-философских символов в творчестве Достоевского «подполье» — одно из самых сложных, емких и неоднозначных понятий.

Самый термин, восходящий, как предположил А. Л. Бем,[4] к «Скупому рыцарю» Пушкина,[5] указывает на изоляцию героя от жизни (вынужденную или сознательную),[6] на его общественное и личное одиночество (последнее Достоевский считал характерным признаком современной буржуазной цивилизации, разобщающей и обособляющей людей).

В. А. Свительский, отметивший «универсальность» и «протеевскую обратимость» понятия «подполье», считает, что оно как бы делится между двумя определениями. «„Подполье" — это реализованная в духовной практике личности отрицательная возможность воплощения особого характера и социального типа, находящегося в поле действия отчуждения, оторванного от „почвы", лишенного положительной этической ориентации. Это негативное состояние тупика, разрыва, разомкнутости с миром и с другими людьми, обреченное на безжизненную статичность самоудовлетворения. Открыто оценочная метафора не оставляет никаких сомнений в расхождении явления с идеалом „живой жизни" — антитезы „подполья", в его противопоказанности полноценному человеческому бытию. Одновременно есть более широкое понимание „подполья", освещенное объяснением самого Достоевского и подтверждаемое текстом повести. В этом толковании „подполье" включает в себя трагизм внутренней борьбы и возможность выхода для его обитателя. В данном варианте приходится говорить уже собственно о подпольном существовании. Обозначение же его словом „подполье" происходит на основе метонимического перенесения: герой в своем проявлении не совпадает полностью с „подпольем", „высовывается" из него. В этом понимании центр тяжести — не в окончательности безвыходного тупика, а в нравственной борьбе героя, в его духовном выборе. Конечно, между этими двумя определениями есть различие. В первом случае подпольный человек осужден на безысходность, он — законченный . . . „антигерой". Во втором случае мы имеем дело все-таки с героем — героем свободного, хотя и мучительного выбора 〈...〉. Если оставить одно первое определение, то в повести нельзя и предположить движение от мрака к свету, эволюции героя, а возможен только заколдованный круг самоказни и злости обреченного одиночки. Если правильно только второе определение, если выход из „подполья" доступен, то неясна его затягивающая и одуряющая жуть с остановившимся временем и изощряющимся без конца „развратом"».[7]

Признать типологическое родство «подпольного» (а оно общепризнанно) с последующими героями-бунтарями Достоевского типа Раскольникова и Ивана Карамазова возможно лишь с учетом широты и многозначности понятия «подполья». По Гамлету Щигровского уезда нельзя еще судить о лучших представителях типа «лишнего человека». «Подпольный парадоксалист», соединивший в себе в концентрированном виде наиболее непривлекательные, резко выделенные черты типа, является его крайним выражением.

Существуют авторские разъяснения образа «подпольного человека», хронологически разделенные между собой десятилетием, что уже само по себе свидетельствует о том, какое большое место занимал «подпольный человек» в художественном сознании писателя. В этих разъяснениях дано истолкование идейно-философской и социальной сущности героя «подполья», установлено его типологическое родство с «лишними людьми» и его своеобразие, определены причины «подполья».

Первое разъяснение — это следующее примечание Достоевского 1864 г. к журнальной публикации «Записок из подполья»: «Я хотел вывести перед лицо публики, повиднее обыкновенного, один из характеров протекшего недавнего времени. Это — один из представителей еще доживающего поколения» (*Д,* V, 99).

Итак, «подпольный человек» принадлежит к определенной социально-исторической и культурной среде. Это представитель «еще доживающего поколения», «один из характеров . . . недавнего времени». Вспомним, что герою Достоевского сорок лет, «а ведь сорок лет — это вся жизнь, ведь это самая глубокая старость» (там же, с. 100). Следовательно, юность «подпольного», время его духовного формирования падает на 40-е годы, само представление о которых уже ассоциируется с «лишними людьми».

А. П. Скафтымов, первый сопоставивший приведенное выше примечание Достоевского к «Запискам из подполья» с «Объявлением» «Эпохи» на 1865 г., справедливо отметил, что герой «подполья» «за вычетом выпрямленности, крайней последовательности и конечной осознанности» является для Достоевского одним из тех «лишних людей», о которых он пишет в «Объявлении».[8] Речь идет о следующем высказывании писателя: «Мы видим, как исчезает наше современное поколение, само собою, вяло и бесследно, заявляя себя странными и невероятными для потомства признаниями своих „лишних людей“. Разумеется, мы говорим только об избранных из „лишних“ людей (потому что и между «лишними» людьми есть избранные); бездарность же и до сих пор в себя верит и, досадно, не замечает, как уступает она дорогу новым, неведомым здоровым силам, вызываемым, наконец, к жизни. . .» (*Д,* XX, 219—220).

«Странные и невероятные для потомства признания» «лишних людей» [9] — это, очевидно, их жалобы на свою общественную бесполезность и ненужность.

В чем же, собственно, состоит своеобразие «подпольного человека» по сравнению с «лишним», то своеобразие, которое выделяет его как характер «повиднее обыкновенного»? Ответ на это дают обобщающие высказывания Достоевского 1870-х годов, являющиеся итогом многолетнего раздумья писателя над интересовавшим его социально-психологическим типом. Одно из них содержится в черновом наброске предисловия к «Подростку» 1875 г. Приведем его в широком контексте, что очень существенно для нашей темы.

«Нет *оснований* нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, — и всё прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренно, нравственно. Талантливые писатели наши, высокохудожественно изображавшие жизнь средне-высшего круга (семейного), — Толстой, Гончаров думали, что изображали жизнь большинства, — по-моему, они-то и изображали жизнь исключений. Напротив, их жизнь есть жизнь исключений, а моя есть жизнь общего правила 〈...〉 А подполье и „Записки из подполья". Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону. Трагизм состоит в сознании уродливости. Как герои, начиная с Сильвио и Героя нашего времени до князя Болконского и Левина, суть только представители мелкого самолюбия, которое „нехорошо", „дурно воспитаны", могут исправиться потому, что есть прекрасные примеры (Сакс в «Полиньке Сакс», тот немец в «Обломове», Пьер Безухов, откупщик в «Мертвых душах»). Но это потому, что они выражали не более как поэмы мелкого самолюбия. Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! Что может поддержать исправляющихся? Награда, вера? Награды — не от кого, веры — не в кого! Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство). Тайна 〈...〉

Болконский исправился при виде того, как отрезали ногу у Анатоля, и мы все плакали над этим исправлением, но настоящий подпольный не исправился бы.

Подполье, подполье, *поэт подполья* — фельетонисты повторяли это как нечто унизительное для меня. Дурачки, это моя слава, ибо тут правда 〈...〉 Причина подполья — уничтожение веры в общие правила. „*Нет ничего святого*". Недоконченные люди (вследствие Петровск〈ой〉 реформы *вообще*) вроде *инженера в „Бесах*"» (*Д*, XVI, 329—330).

Итак, «подпольный человек» — это представитель интеллигентного русского большинства, не принадлежащий к «средне-высшему» дворянскому кругу, к устойчивой культурно-исторической среде с традициями и преданиями (позднее излюбленным героем Достоевского станет выходец из «случайного семейства»).[10]

Основное отличие «подпольного человека» от перечисленных героев состоит прежде всего в том, что те суть «герои мелкого самолюбия» и могут исправиться, т. е. побороть свое мелкое самолюбие, мелкий эгоизм, если есть добрый пример (Андрей Болконский «исправился» при виде отрезанной ноги Анатоля). «Подпольный человек» — человек с обостренным чувством личности, с крайне развитым эгоцентризмом и индивидуализмом, но лишенный твердых нравственных критериев. Поэтому для него затруднен выход из духовного тупика к «живой жизни». Порывы к добру, прощению, любви у «подпольного парадоксалиста» трагически безысходны,

так как неизбежно разбиваются о самолюбивую злобу, гордость, желание во всем главенствовать. Достоевский показывает это на примере взаимоотношений своего героя с Лизой. Именно в любви и прощении Лизы, в которой, несмотря на весь ужас ее положения, не замутились чистые живые источники жизни, открывалась для «подпольного героя» возможность духовного возрождения, но он отверг этот путь, так как не мог простить Лизе нравственное превосходство над собой. Трагизм его положения усугубляется тем, что он отчетливо сознает свою нравственную ущербность, страдает от этого сознания и сознания возможности лучшего, наслаждается самоказнью, так как вследствие повышенного самолюбия пытается показать себя в глазах других людей еще худшим, чем он есть на самом деле.

Причина «подполья», по Достоевскому, — «уничтожение веры в общие правила» («нет ничего святого»), т. е. нравственный нигилизм, отсутствие высоких этических идеалов (все подвергается беспощадному и бесплодному анализу; разум не в состоянии остановиться на чем-нибудь положительном); безверие как результат разрыва с родной «почвой» и «народной правдой» — все это, согласно концепции Достоевского, явилось трагическим следствием реформ Петра I, разобщивших увлеченную западничеством русскую интеллигенцию с народом. Характерно, что первыми в ряду художественных образов, с которыми Достоевский сравнивает своего героя, стоят Сильвио Пушкина и Печорин Лермонтова.[11] Это своеобразные литературные предтечи «подпольного» типа, психологически ему родственные (много «злобы», гордости и самолюбия).

Наконец, интересная авторская черновая характеристика представителя современного русского интеллигентного большинства содержится в записной тетради Достоевского за 1872—1875 гг. Эта яркая характеристика «подпольного», «уединенного» типа сознания еще не привлекала специального внимания исследователей (вернее, цитировались лишь ее заключительные строки, где упомянут «подпольный человек»). Приведем ее полностью.

«Идеал, присутствие его в душе, жажда, потребность во что верить. . . что обожать, и отсутствие всякой веры. Из это⟨го⟩ рождаются два чувства в высшем современном человеке: безмерная гордость и безмерное самопрезиранье. Смотрите его адские муки, наблюдайте их в желаниях его уверить себя, что и он верующий. . . А столкновение с действительностью, где он оказывается таким смешным, таким смешным и мелочным. . . и ничтожным. ОН догадывается, что надо работать над собой, смирять себя и что это стоит безмерного труда. И вот он возлагает на себя долг — самосовершенствование и рад ему, и в восторге. . . выбирает сплошные вериги. Чувства мучительного неверия и скептицизма посещают ЕГО иногда, но ОН стоит твердо и наконец как будто достигает цели. . . И вот при столкновении с действительностью падает ужасно, страшно, немощно. Почему? Оторван от почвы, дитя века. . .

Вы сердитесь, что есть такие люди. Чтоб вглядеться в них, открыть их — надо иметь любовь к людям. Тогда будете иметь и глаза, и увидите, что их множество.

Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех больше писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить» (там же, с. 406—407).

В этой, как и в предыдущей, характеристике подчеркивается трагизм «подпольного человека» и повторяются перечисленные ранее писателем основные черты типа — «безмерная гордость» и «безмерное самопрезиранье», отсутствие твердых нравственных идеалов, веры, невозможность их обретения — и «адские муки» от сознания этого, беспомощность при столкновении с реальной действительностью.

Достоевский повторяет здесь прежний диагноз и указывает те же причины болезни («оторван от почвы», т. е. национальной стихии, народа).

Писатель как бы предостерегает, что «подпольный человек», покинувший «подполье» (ведь «сложа-руки-сиденье», т. е. сознательное бездействие, в нем тоже неустойчиво), может явиться антиобщественной силой, если учесть его непомерные индивидуалистические притязания, жажду самоутверждения и «шатость» нравственных критериев. Подобный человек, воспитанный на отвлеченных книжных теориях и в отрыве от «живой жизни», на все способен. «Еще шаг отсюда, и вот крайний разврат, преступление (убийство)» (там же, с. 329—330). Судьбы Раскольникова, Ставрогина, Ивана Карамазова в разной степени подтверждают пессимистический прогноз писателя.

Существенно признание Достоевского, что и другие русские писатели обращались в своем творчестве к типу «подпольного человека», так как «не могли не заметить».

## 2

А. Скафтымов справедливо отметил, что Достоевский констатирует в «подпольном герое» «силу индивидуального самосознания в развитой человеческой личности», однако «должные и высшие проявления» этой силы писатель «усматривает и указывает не там, где подпольный человек, не в эгоистической притязательности, не в разрушительном неприятии мира и человека, а как раз на противоположном полюсе: в радости любви и самоотдания».[12]

Положительные идеалы Достоевского более отчетливо, чем в известной нам журнальной редакции «Записок из подполья», были выражены в доцензурном тексте повести, о чем свидетельствует его письмо к брату Михаилу Михайловичу от 26 марта 1864 г. (см.: *Д, Письма*, I, с. 353). Из разъяснений писателя следует, что глумлению и богохульству героя он противопоставляет в повести «потребность веры и Христа», т. е. необходимость высо-

ких нравственных идеалов, «народной правды», хранителем которой, по мнению Достоевского, всегда был русский народ.

«Зимние заметки о летних впечатлениях» и ряд высказываний в записной тетради 1864—1865 гг., относящихся ко времени создания «Записок из подполья», в значительной мере восполняют этот пробел и дают возможность судить о том, какой была в представлении Достоевского личность, достигшая «высочайшего, последнего развития».

Подобная «сильно развитая личность», выражающая эстетический идеал писателя, неизменно противопоставляется им человеку с «разорванным сознанием» и изломанной психологией «подполья».

«Зимние заметки о летних впечатлениях», по времени предшествовавшие «Запискам из подполья»,[13] в то же время могут служить своеобразным комментарием к этой повести, так как в них некоторые близкие идеи Достоевский развивает уже не от лица своего героя (когда возникают специфические трудности в выявлении позиции писателя), а от своего авторского «я».

Особенный интерес в этом отношении представляет глава VI («О буржуа»), содержащая размышления Достоевского о человеческом братстве и путях его достижения.

«Западной личности», обладающей высокоразвитым чувством собственной индивидуальности (качество, в глазах писателя, весьма ценное), но самодовлеющей, эгоистической, не сумевшей выйти за пределы своего «я» и потому неспособной к братству, здесь противопоставлена личность, достигшая высшего духовного развития и — вследствие этого — сознательно и бескорыстно отдавшая свое «я» служению людям. «. . .самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего себя в пользу всех, — пишет Достоевский, — есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли. Добровольно положить свой живот за всех, пойти за всех на крест, на костер, можно только сделать при самом сильном развитии личности. Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, уже не имеющая за себя никакого страха, ничего не может и сделать другого из своей личности, то есть никакого более употребления, как отдать ее всю всем, чтоб и другие все были точно такими же самоправными и счастливыми личностями» (*Д*, V, 79).

Этическим и эстетическим идеалом подобной личности, образцом «положительно прекрасного человека» для Достоевского всегда был Христос.

Близкое определение высокоразвитой личности находим в черновой записи Достоевского от 16 апреля 1864 г. По словам Достоевского, «высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего *я*, — это как бы уничтожить это *я*, отдать его целиком всем и каждому безраз-

дельно и беззаветно. И это величайшее счастье. Таким образом, закон *я* сливается с законом гуманизма, и в слитии, оба, и *я* и *все* ⟨...⟩ взаимно уничто⟨женн⟩ые друг для друга, в то же самое время достигают высшей цели своего индивидуального развития каждый особо» (*Д*, XX, 172).[14]

По мысли Достоевского, болезнь человеческой разобщенности, крайнего индивидуализма личности, ее неспособности к служению общественным интересам — это прежде всего болезнь современной буржуазной цивилизации, особенно распространенная на Западе.

В России этой болезнью страдают представители «культурного слоя», односторонне увлеченные «западническими» идеями, порвавшие кровные связи с родной «почвой», народными идеалами и верованиями.

Начала истинного братства, «всечеловечность», «всемирную отзывчивость», стремление к единению с другими народами — эти черты Достоевский находил в русском народе, который, по мнению писателя, сумел сохранить высокие нравственные идеалы и пронести их нетронутыми через века бедствий и страданий.

Возвращение на родную почву, к народу, единение с ним, преклонение перед народной «правдой» — вот, по Достоевскому, основной путь преодоления «подполья».

## 3

В «Ряде статей о русской литературе» (1861) Достоевский выделяет характерные черты типа «лишнего человека» и прослеживает его эволюцию.

Пушкинского Онегина Достоевский относит к той переломной исторической эпохе в жизни России, когда русский интеллигентный человек впервые одновременно осознал себя европейцем и русским. «В Онегине, — пишет Достоевский, — в первый раз русский человек с горечью сознает или, по крайней мере, начинает чувствовать, что на свете ему нечего делать. Он европеец: что ж привнесет он в Европу, и нуждается ли еще она в нем? Он русский: что же сделает он для России, да еще понимает ли он ее?» (*Д*, XIX, 11). Этот тип, по мнению Достоевского, не случайно появился впервые в русском высшем обществе, т. е. в той среде, которая наиболее оторвана от русской национальной почвы и где «внешность цивилизации достигла высшего своего развития» (там же).

Трагизм Онегина, по мысли Достоевского, заключается прежде всего в том, что он, разочаровавшись в старых идеалах, жаждет новой истины, новой веры, полезного дела, но не может обрести их и страдает от сознания своей ненужности, эгоизма и бессилия. Онегин — «первый страдалец русской сознательной жизни» (там же).

«Чего ж он страдает? — спрашивает Достоевский. — Оттого, что нельзя ничего делать? ⟨...⟩ Нет, это страдание достанется

другой эпохе. Онегин страдает еще только тем, что не знает, что делать, не знает даже, что уважать, хотя твердо уверен, что есть что-то, которое надо уважать и любить. Но он озлобился и не уважает ни себя, ни мыслей, ни мнений своих; не уважает даже самую жажду жизни и истины, которая в нем; он чувствует, что хоть она и сильна, но он ничем для нее не пожертвовал, — и он с иронией спрашивает: чем же ей жертвовать, да и *зачем*? Он становится эгоистом и между тем смеется над собой, что даже и эгоистом быть не умеет ⟨...⟩. Да! Это дитя эпохи, это вся эпоха, *в первый раз* сознательно на себя взглянувшая» (там же, с. 11—12).

Достоевский пишет об эволюции онегинского типа, который получил широкое распространение, «вошел, наконец, в сознание всего нашего общества и пошел перерождаться и развиваться с каждым новым поколением» (там же, с. 12).

«В Печорине, — продолжает писатель, — он (т. е. онегинский тип. — *Н. Б.*) дошел до неумолимой, желчной злобы и до странной, в высшей степени оригинально русской противоположности двух разнородных элементов: эгоизма до самообожания и в то же время злобного самонеуважения. И всё та же жажда истины и деятельности и всё то же вечное роковое „*нечего делать*“! От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти» (там же).

В отличие от Онегина, в котором Достоевский видит лицо страдательное, обусловленное переломной исторической эпохой в жизни русского общества, Печорин не вызывает у писателя никакого сочувствия и обрисован резко отрицательными чертами. Достоевский не признает ни трагизма положения Печорина, ни искренности его страдания. На передний план выдвигаются «неутолимая, желчная злоба» Печорина и его эгоцентризм. В свете этих непривлекательных черт иное, ироническое отношение вызывают у Достоевского даже такие, казалось бы, положительные черты типа, как жажда истины и стремление к деятельности, прежде с сочувствием отмеченные писателем в Онегине.

Если Онегин, по мнению Достоевского, не знает, что делать, и страдает от этого сознания, то Печорин уже убежден, что ему нечего делать: в силу своего высокого представления о собственной личности он не находит для себя в окружающей жизни достойной деятельности. Если Онегин, в глазах Достоевского, общественно бесполезный человек, то Печорин — социально вредный.

Последующие звенья в эволюции онегинского типа, «последнюю точку нашего сознания» Достоевский усматривает в Рудине и Гамлете Щигровского уезда. К этим героям Тургенева Достоевский относится с бóльшим сочувствием, чем к Печорину, так как находит в них положительные черты. Во-первых, они хотя «еще не умеют уважать себя», но «уже не смеются над своей деятельностью и своими убеждениями». Во-вторых, «они уже почти не эгоисты», так как «много бескорыстно выстрадали» (там же).

В приведенных выше характеристиках «лишних людей» нетрудно обнаружить отдельные элементы «подполья», наиболее полно представленные в характеристике Печорина.

В этой связи обратим внимание читателя на идейно-психологическую близость характеристик Печорина в статье «Книжность и грамотность» (1861) и современного человека русского интеллигентного большинства, т. е. «подпольного», в записной тетради Достоевского 1872—1875 гг.

| ПЕЧОРИН (статья «Книжность и грамотность», 1861 г.) | РУССКИЙ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК (записная тетрадь 1872—1875 гг.) |
| --- | --- |
| «Эгоизм до самообожания и в то же время злобное самонеуважение». | «Безмерная гордость и безмерное самопрезиранье». |
| «И всё та же жажда истины и деятельности и все то же вечное роковое „*нечего делать*“!». | «Идеал, присутствие его в душе, жажда, потребность во что верить. . . что обожать, и отсутствие всякой веры». |
| «От злобы и как будто на смех Печорин бросается в дикую, странную деятельность, которая приводит его к глупой, смешной, ненужной смерти». | «А столкновение с действительностью, где он оказывается таким смешным, таким смешным и мелочным . . . и ничтожным». |

Эти параллели еще раз подтверждают уже высказанное современным исследователем предположение, что Печорин явился одним из основных литературных предшественников «подпольного человека»,[15] наиболее «байроническим» и демоническим героем русской литературы, оказавшим, как считал писатель, вредное влияние на русское общество и породившим в жизни множество эпигонов.

«Вспомните, мало ли у нас было Печориных, действительно и в самом деле наделавших много скверностей по прочтении „Героя нашего времени“», — замечает Достоевский в «Дневнике писателя» за 1876 г. (*Д*, XXII, 39).

Родоначальником «дурных человечков» в русской литературе явился, по мнению Достоевского, Сильвио из повести «Выстрел», «взятый простодушным и прекрасным Пушкиным у Байрона» (там же, с. 39—40). Таким образом, Достоевский прямо возводит к байроническому герою «дурных» и «злых» «человечков» в русской литературе (среди них, наряду с Сильвио, упомянут Печорин).

Вопрос об отношении Достоевского к байронизму требует специального исследования, и мы коснемся его лишь в связи с проблемой «лишнего» и «подпольного» человека. Глубокую характеристику сущности поэзии Байрона и байронизма в России Достоевский дал в «Дневнике писателя» за 1877 г., где признал историческую правомерность его появления на европейской и русской почве. По мнению писателя, байронизм явился реакцией на крушение просветительских идеалов XVIII в. В поэзии Байрона (Достоевский называет его «великим и могучим гением», «страстным поэтом») «зазвучала тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарование его в своем назначении и в обманувших его идеалах.

Это была новая и неслыханная еще тогда муза мести и печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг пронесся как бы по всему человечеству» (*Д*, XXVI, 114).

Однако Пушкин, отдав дань байронизму («Всякий сильный ум и всякое великодушное сердце не могли и у нас тогда миновать байронизма» — там же), сумел своевременно преодолеть его слабые стороны, «*нашел великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него*. Этот исход был — народность, *преклонение перед правдой народа русского*» (там же). Таким образом, выход из «байронического» духовного состояния мрачной тоски, одиночества, разочарования в идеалах, озлобленного отчаяния Достоевский видел в сближении с «почвой», с народом, в преклонении перед народной нравственной правдой (путь Пушкина).[16]

Ко времени Достоевского идеализация байронического романтического героя в России уже давно была преодолена. Аполлон Григорьев, давший глубокую и во многом близкую Достоевскому характеристику поэзии Байрона и байронизма в статье «О правде и искренности в искусстве» (1856), считал, что байронизм воплотился и достиг крайних пределов «в ярком и могучем таланте Лермонтова» и в нем окончательно истощился.[17]

В байроническом герое Достоевский, подобно Ап. Григорьеву, осуждал такие черты, как крайний индивидуализм, эгоизм, демонизм, отсутствие высокого нравственного идеала, во имя которого вершится суд над неправдой жизни, отрыв от народа.[18]

В «Ряде статей о русской литературе» Достоевский-публицист высмеивает псевдобайронизм как явление архаичное, бесполезное и даже вредное в современной русской действительности, широко прибегая к художественному приему пародии.

Яркие зарисовки «байронических натур», сделанные Достоевским под несомненным влиянием автора «Губернских очерков»,[19] служили общей задаче русской демократической литературы и критики того времени — развенчанию «лишних людей» всех мастей и разновидностей: «байронов», мефистофелей, гамлетов, печориных, обломовых и просто «талантливых натур».

«Были у нас и байронические натуры, — иронизирует писатель. — Они большею частию сидели сложа руки и . . . даже уж и не проклинали. Так только лениво иногда осклаблялись. ⟨...⟩ И когда они, на наших глазах, воровали платки из карманов, то мы даже и в этом находили какую-то утонченность байронизма, дальнейшее его развитие, еще неизвестное Байрону. Мы ахали и грустно качали головами. „Вот до чего, — говорили мы, — может довести отчаяние; человек сгорает добром, преисполнен благороднейшего негодования, кипит жаждой деятельности, но действовать ему не дают, его обрезали, и вот — он с демоническим хохотом передергивает в карты и ворует платки из карманов“» (*Д*, XVIII, 58—59).

Изображенная писателем «байроническая натура» представляется злой пародией на подлинного байронического героя. «Мировая скорбь», непримиримость со злом, трагическое одиночество

и бездействие байронического героя вырождаются у «байронической натуры» в пустое позерство, самодовольство, безделие или пошлую деятельность, и все это прикрывается тогой гордого неприятия мира.

Формирование русского гамлетизма его исследователь Ю. Д. Левин относит к 30—40-м годам XIX в. В это время в русской литературе совершался переход от романтизма к реализму, а в социально-политической жизни страны — от дворянского этапа освободительного движения к разночинному.[20] Ю. Д. Левин определяет русский гамлетизм как «осмысление с помощью шекспировского героя определенной общественно-психологической позиции передовой русской интеллигенции 30—40-х годов».[21] В это осмысление внесли свой вклад Белинский, Герцен, Аполлон Григорьев и особенно Тургенев.

Заслуга первого художественного воплощения русского Гамлета принадлежит Тургеневу, опубликовавшему в 1849 г. очерк «Гамлет Щигровского уезда». Ему же прежде всего мы обязаны тем, что в русской литературной традиции прочно связываются типы Гамлета и «лишнего человека», а самый этот термин получил широкое распространение после выхода в свет в 1850 г. тургеневской повести «Дневник лишнего человека».

В 1850-е годы романтическая идеализация Гамлета была уже преодолена, а роль некогда передовой дворянской интеллигенции, так называемых «лишних людей», в общественной жизни России значительно понизилась и продолжала падать в новых исторических условиях кануна крестьянской реформы и буржуазно-демократических преобразований.

Характерно, что в основе переоценки «лишних людей», совершившейся к концу 1850-х—началу 1860-х гг. как в русской общественной жизни, так и в литературе, критике и публицистике, лежал тот же роковой вопрос о причинах трагического «разъединения мысли и воли», что и в давних спорах о Гамлете.

Достоевский, очевидно, принял тургеневскую концепцию «Гамлет—„лишний человек“», хотя отдельные черты последнего в художественном сознании писателя связывались также, как говорилось выше, с байроническим героем.

Об известной близости Достоевского к тургеневской интерпретации «лишнего человека» как Гамлета свидетельствует, в частности, характеристика Ап. Григорьева одновременно как Гамлета и «лишнего человека» в «Примечании» Достоевского к статье Н. Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Александровиче Григорьеве». Достоевский пишет, что в «великолепных, *исторических* письмах» Григорьева «так типично, хотя всё еще не вполне обрисовывается один из русских Гамлетов нашего времени (настоящих Гамлетов)». Ап. Григорьев «был хоть и настоящий Гамлет, но он, начиная с Гамлета Шекспирова и кончая нашими русскими, современными Гамлетами и гамлетиками, был один из тех Гамлетов, которые менее прочих раздваивались, менее других и рефлектировали» (*Д*, XX, 135—136).

Обратим внимание на некоторые моменты этой оригинальной характеристики. Во-первых, Достоевский, следуя тургеневской традиции, также использует шекспировский образ для интерпретации социально-психологического типа современного русского интеллигента, несомненно усвоив тургеневскую формулу «,,лишний человек" — Гамлет». Во-вторых, к числу характерных черт русских Гамлетов и «гамлетиков» («лишних людей») Достоевский, как и Тургенев, относит прежде всего духовную раздвоенность и рефлексию.

«И так как раздваивался жизненно он менее других, — пишет далее Достоевский об Ап. Григорьеве, — и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий ,,герой нашего времени", одной своей половиной тосковать и мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску свою ⟨...⟩ с самообожанием и некоторым гастрономическим наслаждением, — то и заболевал тоской своей весь, целиком, *всем человеком*, если позволят так выразиться» (там же, с. 136).

Ироническое упоминание Достоевского о «всяком ,,герое нашего времени"» относится не только к Печорину, этому классическому воплощению типа «лишнего человека», но и многочисленным современным печориным и «гамлетикам».

Наконец, Достоевский (и здесь не расходясь с тургеневской концепцией гамлетизма) отделяет «настоящих», «полных» Гамлетов (к числу которых относит и Ап. Григорьева как «почвенного», кряжевого и истинно русского по складу человека) от измельчавших современных представителей гамлетовского типа — «гамлетиков», впервые введенных в русскую литературу Тургеневым, причем использует тургеневское слово «гамлетик».[22] Общим является у обоих писателей и само представление об эволюции русского Гамлета как о снижении, измельчании, вырождении типа в целом.

Назвав письма Ап. Григорьева «*историческими*» (этот эпитет выделен), Достоевский, несомненно, имел в виду их типичность в качестве характерного документа эпохи, своеобразной исповеди «лишнего человека», трагически осознающего свою общественную бесполезность.

Острое «сознание своей ненужности», «хандра полнейшей безнадежности с неутолимой жаждой какой-либо веры», «каинская тоска», «приливы желчи», «муки во всем сомневающегося сердца, озлобленного и само на себя и на все, что оно кругом видело»,[23] — эти горькие признания Ап. Григорьева должны были восприниматься Достоевским как своеобразная исповедь «сына века», честного, благородного и искренне страдающего от сознания своей ненужности.[24] Подобное мироощущение Достоевский считал характерным для трагического, «уединенного» и оторванного от «живой жизни» сознания, присущего в разной мере «лишнему» и «подпольному» человеку.

Гамлет Щигровского уезда был хорошо знаком Ап. Григорьеву и являлся объектом размышлений критика в различные периоды его жизни. Григорьев видел в персонаже Тургенева типичного

представителя русской интеллигенции XIX в. и осознавал свое духовное родство с ним.[25]

Гамлет Щигровского уезда и Чулкатурин в восприятии Ап. Григорьева — люди духовно раздвоенные, трагически запутавшиеся в противоречиях между теорией и реальной жизнью, между словом и делом. Отсюда — горькое сознание своей нравственной несостоятельности, глубокое неверие в себя и в людей, страх перед жизнью.

«Требования Гамлета Щигровского уезда — не по силам ему самому, — пишет Ап. Григорьев, — голова его привыкла проводить всякую мысль с нещадною последовательностью, а дело, которое вообще требует участия воли, совершенно расходится у него с мыслию. . .».[26]

В «Дневнике лишнего человека» Ап. Григорьев усматривает «самое горькое неверие личности ⟨...⟩ в самое себя, в значение своего бытия», соединенное с горьким чувством «сомнения, если не разубеждения, во всяком сочувствии других. . .».[27]

Нетрудно усмотреть близость этих характеристик персонажа Тургенева к интерпретации Достоевским «подпольного человека». Вероятно, как своеобразную вариацию Гамлета Щигровского уезда, реалистически изображенный тип современного русского интеллигентного человека, находящегося в трагическом разладе с жизнью и с самим собой, воспринял «подпольного человека» Ап. Григорьев, который, по свидетельству Достоевского, похвалил повесть и посоветовал ее автору: «. . .ты в этом роде и пиши» (письмо Достоевского Н. Страхову от 18 (30) марта 1869 г. — см.: *Д*, *Письма*, II, 183). Н. Н. Страхов первый отметил генеалогическую связь «подпольного парадоксалиста» с тургеневскими «лишними людьми» — Чулкатуриным и Гамлетом Щигровского уезда и определил характерную черту этого типа: его книжность, отрыв от жизни.

«Отчуждение от жизни, разрыв с действительностью, — писал Н. Н. Страхов, — ⟨...⟩ эта язва, очевидно, существует в русском обществе. Тургенев дал нам несколько образов людей, страдающих этою язвою, таковы его „лишний человек" и „Гамлет Щигровского уезда" ⟨. . .⟩ Г-н Ф. Достоевский, в параллель тургеневскому Гамлету, написал с большой яркостию своего „подпольного" героя. . .».[28]

Гамлет Щигровского уезда и Чулкатурин — непосредственные предшественники «подпольного человека»,[29] во многом ему психологически родственные. Типологические связи между «Записками из подполья» и очерком Тургенева, а также между героями названных произведений многообразны.

Заглавия этих произведений как бы содержат указания на негероичность изображенных в них характеров. Тургенев проявил большую творческую смелость, когда дерзнул назвать именем Гамлета невзрачного обитателя Щигровского уезда, напоминающего пародию на настоящего Гамлета, его сниженного и опошленного двойника. На отдаленное типологическое родство с великим шекспировским прообразом указывают, пожалуй, лишь такие черты

Гамлета Щигровского уезда, как безволие и склонность к рефлексии. Тем не менее в последующей эволюции типа и сам Гамлет Щигровского уезда станет своеобразным «сверхтипом», породившим в русской литературе множество еще более мелких и сниженных двойников — уездных, волостных и губернских гамлетов.[30]

Достоевский как бы продолжает задачу развенчания персонажа, начатую Тургеневым. Герой «подполья» представляется полной пародией на настоящего героя. Отсутствие индивидуальных имен у обоих «антигероев» подчеркивает их типичность, распространенность.[31] Гамлет Щигровского уезда и «подпольный человек» близки друг другу по своему духовному облику и психологическому строю. Оба люди образованные, с сильно развитым самолюбием, эгоцентризмом, замкнутые, гордые, озлобленные. Сформированные книжной теорией, они находятся в полном разладе с «живой жизнью» и доживают свой век «в углу», «в подполье», в полном бездействии, поглощенные бесплодной рефлексией и изощряясь в тонкостях диалектической казуистики. Оба они не способны ни к полезному делу, ни к живому непосредственному чувству. Достоевский, как и Тургенев, прибегает в своей повести к художественной форме исповеди, представляющей богатые возможности для глубинного самораскрытия и беспощадного саморазоблачения героя.

К обоим персонажам вполне применимо высказывание Шубина в «Накануне»: «А то вот еще какие бывают: до позорной тонкости самих себя изучили, щупают беспрестанно пульс каждому своему ощущению и докладывают самим себе: вот что я, мол, чувствую, вот что я думаю. Полезное, дельное занятие!» (*Т*, VIII, 142).

Гамлету Щигровского уезда и «подпольному человеку» в высшей степени присуща та черта, которую Тургенев назвал «язвительной потехой самоунижения» (там же, с. 177).[32]

Тургеневская концепция русского гамлетизма, в основу которой было положено осмысление исторической и социально-психологической сущности «лишних людей», была окончательно сформулирована писателем в 1860 г. в знаменитой статье «Гамлет и Дон-Кихот». В этой статье Тургенев как бы подвел итог своим многолетним раздумьям о типе «лишнего человека» в России, его общественно-историческом значении и эволюции. . .

В «темных сторонах» гамлетовской натуры писатель, как это справедливо отмечали исследователи, критиковал прежде всего недостатки, свойственные поколению «лишних людей» в России с их эгоизмом, усиленной рефлексией и неспособностью к активному общественному служению. В русских условиях кануна реформ, когда на повестку дня вставали большие национальные проблемы, требовавшие незамедлительного решения, Тургенев уже отчетливо видел историческую обреченность дворянской интеллигенции и обратился в поисках нового активного героя к разночинной среде. В романе «Накануне» писатель отразил насущную потребность России в «*сознательно*-героических натурах» (*Т*, *Письма*, III, 368), в деятелях, которые были в его представлении

какими-то своими психологическими чертами сродни Дон Кихоту.

Мы коснемся статьи «Гамлет и Дон-Кихот» (а отчасти и идейно связанного с ней романа «Накануне») лишь в той мере, в какой это необходимо для установления типологических связей между «подпольным» и «лишним» человеком, а также сравнительной характеристики эстетического идеала Достоевского и Тургенева 1860-х годов, как он вырисовывается в рассматриваемых нами произведениях обоих писателей. Речь идет, таким образом, о «русском», злободневном истолковании статьи, связанном с отражением в тургеневской концепции Гамлета основных черт психологического облика русских «лишних людей», а в концепции Дон Кихота — искомых качеств, необходимых, по мнению писателя, русскому деятелю. Приведем тургеневскую характеристику Гамлета.

«Что же представляет собою Гамлет? Анализ прежде всего и эгоизм, а потому безверье. Он весь живет для самого себя, он эгоист. 〈...〉 Но это *я*, в которое он не верит, дорого Гамлету. Это исходная точка, к которой он возвращается беспрестанно, потому что не находит ничего в целом мире, к чему бы мог прилепиться душою; он скептик — и вечно возится и носится с самим собою; он постоянно занят не своею обязанностью, а своим положением. Сомневаясь во всем, Гамлет, разумеется, не щадит и самого себя; ум его слишком развит, чтобы удовлетвориться тем, что он в себе находит: он сознает свою слабость, но всякое самосознание есть сила; отсюда проистекает его ирония, противоположность энтузиазму Дон-Кихота. Гамлет с наслаждением, преувеличенно бранит себя, постоянно наблюдая за собою, вечно глядя внутрь себя, он знает до тонкости все свои недостатки, презирает их, презирает самого себя — и в то же время, можно сказать, живет, питается этим презрением. Он не верит в себя — и тщеславен; он не знает, чего хочет и зачем живет, — и привязан к жизни. . .〈...〉 Но не будем слишком строги к Гамлету: он страдает — и его страдания и больнее и язвительнее страданий Дон-Кихота. Того бьют грубые пастухи, освобожденные им преступники; Гамлет сам наносит себе раны, сам себя терзает; в его руках тоже меч: обоюдоострый меч анализа» (*Т*, VIII, 174—176).

Эту психологическую характеристику, как уже не раз отмечали исследователи, Тургенев относил не столько к шекспировскому Гамлету, сколько к измельчавшим русским представителям гамлетовского типа.

Обратим внимание читателя на близость тургеневской характеристики Гамлета — «лишнего человека» авторским истолкованиям «подпольного человека». Здесь налицо основной комплекс психологии «подполья»: крайний эгоизм и эгоцентризм, безверие, скептицизм, гордость, неспособность к делу, отсутствие идеалов и цели в жизни (полная невозможность «прилепиться душою» к чему-нибудь помимо собственного «я») и в то же время — в силу строгого самоанализа — презрение к себе (ср. у Достоевского: «безмерная гордость и безмерное самопрезиранье»), способность испытывать

своеобразное наслаждение от сознания собственной недостаточности (Тургенев называет эту черту «язвительной потехой самоунижения») и т. д.

Подобное сходство объясняется прежде всего тем фактом, что объектом художественного изображения у обоих писателей явилось одно и то же историческое явление, а именно: вырождение, измельчание и опошление значительной части русской интеллигенции, порвавшей связи с «живой жизнью», народом и погрузившейся в бесцельное «самоковыряние». Однако это явление писатели изображали по-разному, в соответствии с особенностями своего мировоззрения и художественного видения мира.

«Подпольный человек» — это по существу «лишний человек», дошедший в крайнем, преобладающем развитии своих отрицательных черт до «последней стены», за которой или окончательный нравственный распад личности, или чудо воскрешения к «живой жизни». Разумеется, даже самые непривлекательные представители «лишних людей» в изображении Тургенева никогда не доходили до такого предельного нравственного падения, как герой «подполья».

Характерно, что отрицательные черты представителей русского «культурного слоя» ассоциировались в художественном мышлении Тургенева с гамлетизмом (в котором писатель выделял в применении к «лишним людям» прежде всего эгоизм, усиленную рефлексию и безволие), а у Достоевского не только с гамлетизмом, но и с байронизмом (в связи с психологией «подполья» особую роль здесь приобретали наряду с эгоизмом и усиленной рефлексией крайний индивидуализм, демонизм, гордое противопоставление себя миру). Поэтому если Тургенев, сознававший также положительные качества «лишних людей», грустно констатировал их общественную бесполезность в современных русских условиях, то Достоевский, как бы прозревая завтрашний день в потенциальных возможностях явления, предупреждал о той угрозе, которую нес обществу «подпольный человек».

В тургеневской характеристике Дон Кихота, которую мы приводим ниже, отразилась тоска писателя-гражданина по цельному героическому национальному характеру, кровно связанному со своей «землей» и народом, способному сознательно посвятить свою жизнь деятельному общественному служению. Тургенев видит в Дон Кихоте прежде всего «высокое начало самопожертвования, только схваченное с комической стороны» (там же, с. 172).

«Что выражает собою Дон-Кихот? 〈...〉 Веру прежде всего; веру в нечто вечное, незыблемое, в истину, одним словом, в истину, находящуюся *вне* отдельного человека, но легко ему дающуюся, требующую служения и жертв, но доступную постоянству служения и силе жертвы. Дон-Кихот проникнут весь преданностью к идеалу, для которого он готов подвергаться всевозможным лишениям, жертвовать жизнию; самую жизнь свою он ценит настолько, насколько она может служить средством к воплощению идеала, к водворению истины, сраведливости на земле 〈...〉 Жить для себя,

заботиться о себе — Дон-Кихот почел бы постыдным. Он весь живет (если так можно выразиться) вне себя, для других, для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам — волшебникам, великанам, т. е. притеснителям. В нем нет и следа эгоизма, он не заботится о себе, он весь самопожертвование — оцените это слово! — он верит, верит крепко и без оглядки. Оттого он бесстрашен, терпелив, довольствуется самой скудной пищей, самой бедной одеждой; ему не до того. Смиренный сердцем, он духом велик и смел 〈...〉 Дон-Кихот энтузиаст, служитель идеи и потому обвеян ее сияньем» (там же, с. 173—174).

К числу положительных черт, которые выделяет Тургенев в своей характеристике Дон Кихота, принадлежат прежде всего вера в истину, идеал, способность ради них на любые жертвы, непреклонная воля к достижению цели, полное отсутствие эгоизма и тщеславия, кротость, бесстрашие, «крепость нравственного состава».

Высокие нравственные качества Дон Кихота присущи также (наряду с развитым сознанием) той личности, достигшей высшего духовного развития, о которой мечтал Достоевский и которая была этическим и эстетическим идеалом писателя. Черты этой личности Достоевский в значительной мере воплотил в своем замысле «положительного прекрасного человека» — князе Мышкине, который, подобно Дон Кихоту в представлении Тургенева, «смиренный сердцем», но «духом велик и смел». Напомним, что наряду с образом Христа (евангельского и ренановского) Дон Кихот Сервантеса явился одним из литературных прообразов князя Мышкина.[33] По всей вероятности, Достоевский, создавая своего Мышкина, не прошел мимо и тургеневской характеристики Дон Кихота.

Нельзя не заметить близость нравственного идеала у обоих писателей, видевших его, в первую очередь, в личности, способной к полному отречению от эгоизма и бескорыстному самопожертвованию ради других — «для своих братьев, для истребления зла, для противодействия враждебным человечеству силам» (там же, с. 173). Этот идеал у Тургенева в отличие от Достоевского был связан не с христианским, а с просветительским гуманизмом.

Однако Дон Кихот не был для Тургенева эстетическим идеалом. В представлении писателя в отличие от Гамлета Дон Кихот обладал умственной ограниченностью и узостью, присущими, по мнению писателя, людям, слепо и безоглядно преданным единой цели; был мало образован и лишен эстетического, художественного начала. Тургенев не находил в современной ему русской жизни личности, которая соединила бы в себе положительные качества Гамлета и Дон Кихота. Одну из «трагических сторон человеческой жизни» Тургенев видел в этом разъединении мысли и воли: «для дела нужна воля, для дела нужна мысль; но мысль и воля разъединились и с каждым днем разъединяются более» (там же, с. 183).

«И вот, с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность; а с другой — полубезумные Дон-Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже и не существующую в том образе, какою они ее видят. Невольно рождаются вопросы: неужели же надо быть сумасшедшим, чтобы верить в истину? и неужели же ум, овладевший собою, по тому самому лишается всей своей силы?» (там же, с. 183—184).

Тургеневская антитеза двух основных человеческих типов (бездействующий, рефлектирующий скептик — ограниченный деятель)[34] и связанная с ней пессимистическая концепция о трагическом разъединении мысли и воли, отразившая размышления писателя о возможных движущих силах русского прогресса, получили, как мы думаем, пародийный отклик в рассуждениях «подпольного парадоксалиста».

Тема «„лишние люди“ и деятели» занимает в рассуждениях «подпольного парадоксалиста» ведущее место (в главках I—III, V—XI).[35] Герой «подполья» разъясняет причины своего бездействия («почему я даже и насекомым не сумел сделаться» — *Д*, V, 101).

Смысл рассуждений «подпольного» — в противопоставлении «ретортного», «усиленно сознающего», а потому бездеятельного человека «естественному человеку», т. е. ограниченному деятелю. «. . .умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, — заявляет «подпольный», стремясь оправдать свою «инерцию, то-есть сознательное сложа-руки-сиденье». — Да-с, умный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным, человек же с характером, деятель, — существом по преимуществу ограниченным» (там же, с. 108, 100).[36]

Выдвинутые «подпольным парадоксалистом» тезисы — «ретортный», мыслящий человек бездеятелен; «нормальный», «естественный» человек (деятель) глуп — это по существу пародийное заострение тургеневской антитезы: Гамлет («лишний человек») — Дон Кихот («деятель»).

*Вынужденному* бездействию «лишних людей» «подпольный парадоксалист» противопоставляет позицию *сознательного* бездействия, сознательного «сложа-руки-сиденья», причем эта позиция получает в его рассуждениях своеобразное теоретическое обоснование.

По мнению «подпольного», «все непосредственные люди и деятели» деятельны лишь вследствие своей тупости и ограниченности, так как они «ближайшие и второстепенные причины за первоначальные принимают», в то время как у человека «усиленно сознающего» «всякая первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее. . .». «Естественный человек», по мнению «подпольного парадоксалиста», мстит потому, что для этого нашел «первоначальную причину», основание, т. е. спра-

ведливость. Подобные основания у «подпольного» тотчас же улетучиваются, поэтому он не может действовать (там же, с. 108). Далее. «Подпольный парадоксалист», презирая «непосредственного человека» — деятеля за его ограниченность и в то же время в глубине души завидуя ему, отмечает, что «ретортный человек» «до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем своим усиленным сознанием, добровольно считает за мышь, а не за человека» (там же, с. 104). В данных рассуждениях мы усматриваем пародийный намек на взаимоотношения между «лишними людьми» и «деятелем» в романе Тургенева «Накануне», имеющем, как отмечалось выше, глубокую идейно-философскую связь со статьей «Гамлет и Дон-Кихот».

Герой, нашедший «первоначальную причину», т. е. справедливость, во имя которой он готов к подвигу, — это Инсаров. Ученый Берсенев и художник Шубин признают себя «лишними», бесполезными людьми, отдавая должное тому героическому началу в Инсарове, которого они сами лишены, и смиряются перед выбором Елены. Иными словами, они «пасуют» перед Инсаровым. Напомним ту язвительную и вместе с тем не лишенную меткой наблюдательности характеристику, которую дает Инсарову Шубин: «Талантов никаких, поэзии *нема*, способностей к работе пропасть, память большая, ум не разнообразный и не глубокий, но здравый и живой; сушь и сила ⟨...⟩ Сушь, сушь, а всех нас в порошок стереть может. Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода!» (*Т*, VIII, 60).

Еще один пример. «Подпольный парадоксалист» сравнивает деятеля с взбесившимся быком, который, наклонив вниз рога, «так и прет прямо к цели» (*Д*, V, 103). Возможно, что это сравнение также пародийно связано с «Накануне». Напомним, каким выглядит герой, деятель в ядовитой характеристике Шубина: «...герой не должен уметь говорить: герой мычит, как бык; зато двинет рогом — стены валятся. И он сам не должен знать, зачем двигает, а двигает. Впрочем, может быть, в наши времена требуются герои другого калибра» (*Т*, VIII, 60—61). Эта характеристика вызывает в памяти описание статуэтки Шубина, представлявшей Инсарова в виде барана, поднявшегося на задние ножки и склоняющего рога для удара. «Тупая важность, задор, упрямство, неловкость, ограниченность так и отпечатались на физиономии „супруга овец тонкорунных“, а между тем сходство до того было поразительно, несомненно, что Берсенев не мог не расхохотаться» (там же, с. 99).

В заключение отметим следующее. Тип «подпольного человека», свидетельствующий о новом, диалектически усложненном представлении Достоевского о человеческой личности, характерном для творчества писателя послекаторжного периода, возник не на пустом месте. Обусловленный определенными социально-историческими предпосылками, он был в то же время подготовлен предшествовавшим развитием русской литературы XIX в. Поэтому задача

художественного развенчания этого типа, которую поставил перед собой Достоевский, была для него во многом облегчена его литературными предшественниками. Речь идет прежде всего о Пушкине,[37] Лермонтове, Тургеневе, Щедрине, выявивших не только сильные, но и слабые стороны типа и подвергших «лишних людей» суровому и беспристрастному суду за их эгоизм, индивидуализм, бездействие и отрыв от народа.

Во второй половине 1850-х—начале 1860-х годов проблема «лишних людей» в связи с поисками русской литературой нового, действенного героя была в центре внимания революционно-демократической критики, и здесь следует подчеркнуть большое влияние статей Добролюбова на коренную переоценку типа.

Разумеется, разнородные жизненные и литературные источники получили в художественном сознании автора «Записок из подполья» сложное и своеобразное преломление. Достоевский не только следовал традиции, но и пародийно заострял, переосмыслял художественные образы, идеи, ситуации, встречавшиеся в произведениях других авторов, а также нередко прибегал к прямой и скрытой полемике со своими идейными антагонистами.

[1] *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972, с. 99.

[2] Отдельные ценные высказывания и суждения о генетическом родстве «подпольного человека» с «лишними людьми» встречаются в работах о Достоевском. См., например, комментарий Е. И. Кийко к «Запискам из подполья»: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30-ти т. Л., 1973, т. 5, с. 376—377. — В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с обозначением буквы «*Д*» и указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской). При упоминании эпистолярного материала дополнительно приводится название: «*Письма*». Они цитируются по изданию: *Достоевский Ф. М.* Письма / Под ред. А. С. Долинина. М.; Л., 1928—1959, т. 1—4. — Об идейно-психологической связи героя «подполья» с некоторыми образами Лермонтова (Печорин) и Тургенева (Гамлет Щигровского уезда, Чулкатурин) см.: *Левин В. И.* Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов. — Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1972, т. 21, вып. 2, с. 142—156; *Бялый Г. А.* О психологической манере Тургенева: (Тургенев и Достоевский). — Рус. лит., 1968, № 4, с. 34—50; также в кн.: *Бялый Г. А.* Русский реализм конца XIX века. Л., 1973, с. 31—53.

[3] См.: *Скафтымов А. П.* «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского. — В кн.: *Скафтымов А. П.* Нравственные искания русских писателей. М., 1972, с. 88—133. — Точка зрения Скафтымова получила дальнейшее обоснование в статье Р. Г. Назирова «Об этической проблематике повести „Записки из подполья“» (в кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 143—153) и в упоминавшейся выше работе В. И. Левина.

[4] См.: О Достоевском: Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1933, вып. 2, с. 17.

[5] Ср. слова Альбера: «. . .пускай отца заставит Меня держать как сына, не как мышь, Рожденную в подполье» (сц. 1).

[6] «Подпольный парадоксалист» сравнивает себя с «усиленно сознающей мышью», обреченной на прозябание «в своем мерзком, вонючем подполье» (*Д*, V, 104).

[7] *Свительский В. А.* Что же такое «подполье»: (О смысле одного из ключевых понятий Достоевского). — В кн.: Индивидуальность писателя и литературно-общественный процесс. Воронеж, 1979, с. 77—78.

[8] *Скафтымов А. П.* «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского, с. 125.

[9] Не исключено, что Достоевский имел в виду среди прочих и героя «Дневника лишнего человека» (1850), так как после опубликования этой повести Тургенева понятие «лишний человек» получило широкое распространение.

[10] Элементы психологии «подполья» Достоевский находил даже у лучших представителей русской интеллигенции, как литературных, так и реальных. Характерно, что в приведенном выше перечне упомянуты не только Сильвио и Печорин, но даже Андрей Болконский и Левин, принадлежавшие к «средне-высшему» дворянскому кругу.

[11] В подготовительных материалах к «Подростку» (1875) эти герои охарактеризованы как «уродливейшие калеки» (*Д*, XVI, 415).

[12] *Скафтымов А. П.* «Записки из подполья» среди публицистики Достоевского, с. 91.

[13] По мнению Е. И. Кийко, замысел «Записок из подполья» определился, вероятно, уже в конце 1862 г., т. е. в период работы над «Зимними заметками...» (*Д*, V, 374). Исследователи отмечали идейную связь между обоими произведениями.

[14] Ср. в черновике неосуществленной статьи «Социализм и христианство» (1864): «Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое *я* — и отдать это *все* самовольно для *всех* ⟨...⟩ быть властелином и хозяином даже себя самого, своего *я*, пожертвовать этим *я*, отдать его — всем. В этой идее есть нечто неотразимо-прекрасное, сладостное, неизбежное и даже необъяснимое» (*Д*, XX, 192—193). См. также: *Пруцков Н. И.* Достоевский и христианский социализм. — В кн.: Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1974, вып. 1, с. 58—82.

[15] Речь идет об упоминавшейся выше статье В. И. Левина «Достоевский, „подпольный парадоксалист" и Лермонтов».

[16] Таким же финалом, по мнению Достоевского, должна была завершиться эволюция Лермонтова. «Но если б он перестал возиться с больною личностью русского интеллигентного человека, мучимого своим европеизмом, — писал Достоевский о Лермонтове в «Дневнике писателя» за 1877 г., — то наверно бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и на это есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала» (*Д*, XXVI, 117).

[17] См.: *Григорьев А.* Эстетика и критика. М., 1980. с. 74.

[18] Ср. у А. Григорьева: «Байрон есть поэтическое воплощение протеста, и в этом ⟨...⟩ его сила и его слабость: сила его в том, что протесту, вызываемому всегда более или менее неправдою, душа горячо сочувствует; слабость в том, что протест этот есть протест слепой, протест без идеала, протест сам по себе и сам от себя» (там же, с. 79).

[19] На это указывает и прямая ссылка Достоевского на Щедрина как на автора блестящих сатирических характеристик «талантливых натур» в «Губернских очерках» (*Д*, XVIII, 60). Любопытно, что русские «талантливые натуры» — «лишние люди» — у Щедрина литературно ассоциируются с «печоринством», которое приняло в провинции своеобразные формы, «утратило свой демонический характер, свою прозрачность и нежность и облеклось в свой будничный плотяной наряд...» (*Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. М., 1965, т. 2, с. 277). Об отношении Достоевского к Щедрину см.: *Борщевский С.* Щедрин и Достоевский. М., 1956; *Туниманов В. А.* Достоевский и Салтыков-Щедрин. — В кн.: *Туниманов В. А.* Творчество Достоевского. Л., 1980, с. 225—245.

[20] *Левин Ю. Д.* Русский гамлетизм. — В кн.: От романтизма к реализму. Л., 1978, с. 194.

[21] Там же, с. 202. См. также: *Левин Ю. Д.* Шекспировские герои у Достоевского. — В кн.: Грузинская шекспириана / Под ред. Нико Киасашвили. Тбилиси, 1975, вып. 4, с. 209—230.

[22] В «Накануне» Шубин, характеризуя современных русских представителей «культурного слоя», называет их «мелюзга, грызуны, гамлетики, самоеды» (см.: *Т*, VIII, 142).

[23] Эпоха, 1864, № 9, с. 8, 13, 19.

[24] Псевдоним Ап. Григорьева «Один из ненужных людей» и название его статьи «Заметки ненужного человека» могут служить подтверждением того факта, что критик относил себя к числу «лишних людей».

[25] Ап. Григорьеву приписывают «Монологи Гамлета Щигровского уезда», опубликованные в 1864 г. в сатирическом листке «Оса», редактировавшемся самим Григорьевым (см.: *Григорьев А.* Избр. произв. Л., 1959, с. 590). Автор «Монологов», как свидетельствует об этом уже само название стихотворения, прямо уподобляет себя тургеневскому герою. В одной из статей «Ненужный человек» (Ап. Григорьев) сравнивает себя с Гамлетом Щигровского уезда: «Я ведь в тонкостях диалектики человек опасный, я ведь Гамлет Щигровского уезда» (отмечено Ю. Д. Левиным — см. его упоминавшуюся выше статью «Русский гамлетизм»).

[26] *Григорьев А. А.* Собр. соч. / Под ред. В. Ф. Саводника. М., 1915, вып. 10, с. 9.

[27] Там же, с. 14.

[28] Отеч. зап., 1867, № 2, «Наша изящная словесность», с. 555.

[29] Психологическое родство «подпольного героя» с Чулкатуриным раскрыто Г. А. Бялым в упоминавшейся выше статье «О психологической манере Тургенева: (Тургенев и Достоевский)».

[30] Подробнее об этом см. в статье Ю. Д. Левина «Русский гамлетизм» (с. 222—223).

[31] Гамлет Щигровского уезда считает, что недостаток оригинальности — причина того, что из него ничего не получилось в жизни. Он квалифицирует себя как продукт книжной культуры, не имеющий «своего собственного запаха» (*Т*, IV, 280—281). Очевидно, близкий смысл имеет и определение «ретортный» (т. е. искусственный, не естественный, не природный) человек, которое дает себе «подпольный человек».

[32] Эта черта вообще была характерна для «лишних людей». Напомним высказывание Пигасова о Рудине: «Начнет самого себя бранить, с грязью себя смешает — ну, думаешь, теперь на свет божий глядеть не станет. Какое! повеселеет даже, словно горькой водкой себя попотчевал» (*Т*, VI, 288).

[33] Дон Кихот — любимейший герой Достоевского, см. его восторженный отзыв о романе Сервантеса в «Дневнике писателя» за 1877 г. (*Д*, XXVI, 25).

[34] См. также: *Лотман Л. М.* Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974, с. 5—18.

[35] Многоплановость идейной полемики в «Записках из подполья» с представителями западноевропейской и русской литературной, философской, исторической и социальной мысли отмечена исследователями Достоевского (см. упоминавшуюся выше статью А. П. Скафтымова «„Записки из подполья" среди публицистики Достоевского»; см. также: *Кирпотин В. Я.* Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966, с. 468—537; комментарий Е. И. Кийко к «Запискам из подполья» — *Д*, V, 379—381).

[36] Ср. с черновой записью в подготовительных материалах к «Бесам»: «Умные только скитаются, а чтобы быть деятелем, надо быть непременно хоть с одной какой-нибудь стороны дураком» (*Д*, XI, 197).

[37] В «Зимних заметках о летних впечатлениях» Достоевский с восхищением писал, что Пушкин «художнической силой от своей среды отрешился и с точки народного духа ее в Онегине великим судом судил» (*Д*, V, 52).

ГЛАВА ВТОРАЯ

# ДВЕ КОНЦЕПЦИИ НИГИЛИЗМА

Проблема «нигилизма» (и в ее историческом, и в ее современном аспектах) привлекает пристальное внимание философов, историков, литературоведов как на Западе, так и у нас, порождая споры и дискуссии.[1]

В статье «Порядок торжествует» (1864) Герцен пишет, что нигилизм «в серьезном значении» — это «*наука и сомнение, исследование вместо веры, пониманье вместо послушанья*».[2]

Наиболее подробное разъяснение нигилизма дано в статье Герцена «Еще раз Базаров» (1869). Нигилизм, как считает Герцен, зародился в России в мрачную николаевскую эпоху: он явился выражением протеста передовой русской интеллигенции против реакции. Герцен определяет нигилизм как совершенную свободу «от всех готовых понятий, от всех унаследованных обструкций и завалов, которые мешают западному уму идти вперед с своим историческим ядром на ногах ⟨...⟩ Нигилизм ⟨...⟩ это логика без структуры,[3] это наука без догматов, это безусловная покорность опыту и безропотное принятие всех последствий, какие бы они ни были, если они вытекают из наблюдения, требуются разумом. Нигилизм не превращает *что-нибудь* в ничего, а раскрывает, что *ничего*, принимаемое за *что-нибудь*, — оптический обман и что всякая истина, как бы она ни перечила фантастическим представлениям, — здоровее их и во всяком случае обязательна. Идет это название к делу или нет, это все равно. К нему привыкли, оно принято друзьями и врагами, ⟨...⟩ оно стало доносом, обидой у одних — похвалой у других! Разумеется, если под *нигилизмом* мы будем разуметь обратное творчество, т. е. превращение фактов и мыслей в *ничего*, в бесплодный скептицизм, ⟨...⟩ в отчаяние, ведущее к бездействию, тогда настоящие *нигилисты* всего меньше подойдут под это определение. . .» (*Герцен*, $XX_1$, 348—349). Подобный нигилизм ассоциируется у Герцена прежде всего с Шопенгауэром.

Исполненный исторического оптимизма нигилизм, связанный с мечтой о пересоздании России, поколение «отцов», передовых дворянских деятелей 30—40-х годов (к их числу Герцен относил, в частности, Грановского, Бакунина, Белинского, себя, петрашевцев), завещало «детям» — шестидесятникам-разночинцам: «Что же наше поколение завещало новому? *Нигилизм*» (там же, с. 346).

Характерно, что принятию термина «нигилизм» предшествовала переоценка Герценом образа Базарова под влиянием статей Д. И. Писарева, посвященных роману «Отцы и дети», и обострившегося во второй половине 1860-х годов конфликта Герцена с представителями русской «молодой эмиграции» на Западе (подробнее об этом речь пойдет далее).

Герцен, подобно Достоевскому, прошел два этапа в своем восприятии Базарова, причем переоценка Базарова у обоих писателей (первоначальная оценка — положительная у Достоевского и критическая у Герцена) была вызвана их размышлениями о том, насколько Базаров типичен как идеолог современной разночинной молодежи. Герценовская концепция нигилизма, сложившаяся в известной степени под влиянием романа «Отцы и дети», оказала в свою очередь определенное воздействие на Достоевского, что особенно ощутимо в переосмыслении автором «Бесов» в последующий период его творчества нигилизма «отцов», передовых дворянских деятелей 1840-х годов.

Герцен и Достоевский отчасти сбилизились в своих представлениях о генеалогии нигилизма и его эволюции (снижение, измельчание нигилизма в массовых формах: «базароиды», «нигилятина», идея «вышла на улицу»). Вслед за Тургеневым Герцен (в «Былом и думах», публицистике, письмах) и Достоевский (в романах, начиная с «Бесов») тесно связывают проблемы нигилизма и поколений.

## 1

Известны попытки литературоведов как-то воссоздать, «реконструировать» отзыв Достоевского о Базарове в его утраченном письме к Тургеневу 1862 г. на основе переписки Тургенева и характеристики Базарова в «Зимних заметках о летних впечатлениях».[4] Подобные попытки вполне целесообразны: оценка Базарова как характерного представителя определенного направления русской общественной мысли конца 1850-х—1860-х годов содержала в себе первоначальную формулу нигилизма, какой она сложилась у Достоевского в начале 1860-х годов в результате наблюдений над русской действительностью с позиций «почвенничества» и не без влияния романа «Отцы и дети».

Понять, что привлекало и что отталкивало в Базарове Достоевского, сумевшего глубоко проникнуть в сущность изображенного Тургеневым социально-психологического типа, необходимо еще и потому, что Базаров во многом явился литературным предшественником образов отрицателей-бунтарей в творчестве Достоевского 1860—1870-х годов, начиная с Раскольникова и кончая Иваном Карамазовым, имеющих, несомненно, общие типологические черты с прославленным героем Тургенева.

Не повторяя уже сказанного другими литературоведами, попытаемся привести дополнительные аргументы для «реконструкции» несохранившегося отзыва Достоевского о Базарове.

В истории русской литературы XIX в. трудно назвать героя, который породил бы у современников столько разноречивых толкований, как тургеневский Базаров. Катков увидел в Базарове «апофеозу» «Современника»; круг «Современника» — пасквиль на революционно-демократическую молодежь; Герцен упрекнул Тургенева в том, что тот «в сердцах карикировал Базарова» и смешал «серьезное, реалистическое, опытное воззрение с каким-то грубым, хвастливым материализмом» (*Герцен*, XXVII₁, 217); Писарев признал Базарова подлинным героем своего времени.

Тургенев был особенно огорчен отрицательным отношением к роману в демократических кругах, где он скорее ожидал встретить сочувствие. В ряде писем 1862 г. Тургенев разъясняет своим корреспондентам замысел образа Базарова. Писатель, стремившийся объективно и беспристрастно изобразить новый общественный тип с присущей ему сложностью и противоречивостью, увидел в нем нечто такое, что перевешивало его отрицательные черты. Отсюда стремление Тургенева сделать своего героя «волком» и все-таки оправдать его, а также горячее желание, чтобы читатели полюбили Базарова «как он есть, со всем его безобразием» (письмо к А. И. Герцену от 16 (28) апреля 1862 г. — *Т*, *Письма*, IV, 383). «...если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью — если он его не полюбит, повторяю я — я виноват и не достиг своей цели», — писал Тургенев К. К. Случевскому 14 (26) апреля 1862 г. (там же, с. 381). Таким глубоким читателем и оказался Достоевский, полюбивший «беспокойного и тоскующего Базарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм» (*Д*, V, 59).

Из писем Тургенева 1862 г. очевидно, что его замысел — представить в Базарове «трагическое лицо» — почти никем не был понят. Совершенно очевидно, что Достоевский тонко уловил трагическое начало, присущее Базарову-человеку и Базарову-деятелю, и это глубоко обрадовало Тургенева. Косвенным подтверждением подобного предположения может служить приведенный выше отзыв Достоевского о Базарове из «Зимних заметок о летних впечатлениях». В этой статье Достоевский выделяет (возможно, под влиянием Тургенева — ср. параллели: Базаров — Ситников и Кукшина) два типа нигилистов:

1) глубоких, трагических нигилистов (типа Базарова), беспокойных, тоскующих, мучительно ищущих истину, остро ощущающих трагизм человеческого бытия и свое общественное одиночество;

2) самодовольных, равнодушных, ограниченных, не ведающих сомнений, беспокойства, исканий, не знающих жизни, но уверенных в своем цивилизаторском призвании и высокомерно собирающихся переделывать народ по европейскому образцу.

«Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца» — эти слова Раскольникова Г. А. Бялый совершенно справедливо относит и к Базарову.[5]

О трагизме Базарова, его одиночестве, сложной раздвоенности писали много.[6] Базаров, гигант, которому предстоит «много дел обломать», бунтует не только против современного общества, но и против вечных законов бытия. Ему «смердит» мысль о «собственном ничтожестве» перед лицом неумолимой природы, не дает покоя сознание, что человек как бы находится на краю бездны, которая «поминутно под ним разверзнуться может». Презрение к людям и желание с ними «возиться» характерны для той «злобы» Базарова, которая является своеобразным выражением любви. В нем сочетается пренебрежительное отношение к мужику и убеждение в том, что нигилизм вызван потребностями народной жизни. Он отрицает любовь и способен к глубокому, всепоглощающему чувству. Он максималист не только в своих требованиях к другим, но прежде всего по отношению к себе самому. Преждевременная и геройская смерть Базарова, по замыслу Тургенева, должна была лишь «наложить последнюю черту на его трагическую фигуру» (*Т*, *Письма*, IV, 381).

Своеобразным автокомментарием к роману служит письмо Тургенева Случевскому от 14 (26) апреля 1862 г. Тургенев горячо возражает своему гейдельбергскому оппоненту, не сумевшему увидеть в Базарове «хороших сторон» и обвинившему писателя в «реабилитировании» «отцов» и принижении «детей».

Защищая Базарова, Тургенев отмечает, что тот «подавляет все остальные лица романа» и что *«вся* 〈...〉 *повесть направлена против дворянства как передового класса»*. Базаров «честен, правдив, демократ до конца ногтей», «и если он называется нигилистом, то надо читать: революционером». «Мне мечталась, — пишет Тургенев о своем герое, — фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на погибель — потому что она все-таки стоит еще в преддверии будущего, — мне мечтается какой-то странный pendant Пугачевым и т. д.» (там же, с. 379, 380, 381).

Трагизм Базарова как общественного деятеля состоит прежде всего в его отрыве от народа. Личность, «до половины выросшая из почвы» (народа), демократ, являющийся выразителем общественных потребностей, Базаров в то же время «теоретик», далекий от народа и, как бы сказал Достоевский, бессознательно тоскующий по соединению с «почвой».

Особенно существенно признание Тургенева, что «отрицательное направление» обусловлено объективными, историческими причинами, вызвано потребностями народной жизни, нуждающейся в коренных переменах, а не личным недовольством «отрицателей».

«Все истинные *отрицатели*, которых я знал, — без исключения (Белинский, Бакунин, Герцен, Добролюбов, Спешнев и т. д.) происходили от сравнительно добрых и честных родителей, — пишет Тургенев К. К. Случевскому. — И в этом заключается великий смысл: это отнимает у *деятелей,* у отрицателей всякую

тень *личного* негодования, личной раздражительности. Они идут по своей дороге потому только, что более чутки к требованиям народной жизни» (там же, с. 380).

Таким образом, Тургенев признает необходимость и полезность (в известных границах) нигилизма как отрицания устаревших устоев и форм жизни, мешающих общественному прогрессу. В самих отрицателях, нигилистах, писатель видит *героев своего (переходного) времени,* деятелей, трагически оторванных от народа, но все-таки деятелей, в противоположность слабым и вялым представителям дворянства. Именно в этом смысл ответа Тургенева М. Н. Каткову, уговаривавшему писателя внести в роман ряд исправлений с целью снизить образ Базарова, который в сравнении со своим окружением представлялся гигантом.

«Не могу согласиться с одним, — возражал Тургенев Каткову. — Ни Одинцова не должна иронизировать, ни мужик стоять выше Базарова ⟨...⟩ Может быть, мое воззрение на Россию более мизантропично, чем Вы предполагаете: он (Базаров. — *Н. Б.*) — в моих глазах — действительно герой нашего времени. Хорош герой и хорошо время, — скажете Вы... Но оно так» (там же, с. 303).

В письме к Достоевскому от 22 апреля (4 мая) 1862 г. Тургенев возвращается к вопросу, затронутому им в упоминавшемся выше письме к Случевскому, — почему он не вывел в качестве «отцов» худших представителей дворянства, чтобы объяснить появление Базаровых, — причем повторяет как сам собой разумеющийся для собеседника аргумент: «...*как будто отрицательное направление есть явление частное — личное* (курсив мой. — *Н. Б.*) (все известные мне отрицатели происходят, как нарочно, из очень хороших семейств) — и как будто, желая показать упадок дворянства, я не должен был взять именно *лучших* его представителей вроде братьев Кирсановых и т. д.» (там же, с. 385).

Очевидно, в несохранившемся письме Достоевского с отзывом о романе «Отцы и дети» были затронуты вопросы о роли дворянства в современной пореформенной России, о причинах появления, сущности и значении нигилизма и его характерных чертах, о взаимоотношении интеллигенции и народа, причем оба писателя пришли к близким выводам.

Среди «истинных», честных, бескомпромиссных «отрицателей» (их отрицание лишено каких бы то ни было личных, субъективных причин) Тургенев называет представителей разных поколений, как «отцов», так и «детей». Первым в этом перечне упомянут Белинский, которого Тургенев считал своим учителем и глубокую любовь к которому пронес через всю жизнь. Белинскому Тургенев посвятил воспоминания и роман «Отцы и дети», подчеркнув этим посвящением идею духовной преемственности между поколениями, отрицаемую «детьми».

«Апостол всемирного разрушения» Михаил Бакунин и «лондонский изгнанник», организатор Вольной русской печати Герцен, оба беспощадные и бескомпромиссные отрицатели старого мира,

были друзьями юности Тургенева (дружеские отношения с Герценом Тургенев поддерживал вплоть до его смерти).

Среди молодых «отрицателей», принадлежавших к поколению «детей», не случайно упомянут Добролюбов, которого Тургенев, несмотря на сложные личные взаимоотношения, «высоко ценил» как человека и писателя и считал его выразителем общественного мнения (*Т*, XIV, 39). По распространенной версии, Добролюбов явился реальным прототипом Базарова.[7]

Совершенно неожиданным является упоминание Тургеневым имени Спешнева, с которым писатель также был лично знаком.[8]

Н. А. Спешнев (1821—1882), один из наиболее революционно настроенных петрашевцев, был человеком яркой индивидуальности и многогранных способностей, убежденным противником крепостничества и самодержавия. Ему принадлежала попытка создания тайного общества. В конце 1840-х годов Достоевский под влиянием Спешнева примкнул к наиболее левому направлению движения, преследовавшему цель революционного переворота в России.[9] Известно, что Николай Спешнев послужил прототипом Николая Ставрогина.

В данном случае особенно важны возможные автобиографические ассоциации и аналогии Достоевского: ведь своеобразным «нигилистом» был и он сам во времена юности, и «петрашевское» прошлое, очевидно, помогло ему глубоко понять и даже полюбить Базарова.[10] В «Дневнике писателя» за 1873 г. (глава «Одна из современных фальшей») Достоевский назвал себя «старым „нечаевцем“», радикально отрицавшим все основания старого общества во имя идеи всеобщего братства людей (*Д*, XXI, 129). В 1873 г. Достоевский осмыслил свое революционное прошлое как результат увлечения ложными западническими теориями и разрыва с родной «почвой», народом. Тем не менее писатель по собственному опыту знал, что в основе деятельности лучших представителей русского революционного движения 1840—1870-х годов лежали не узколичные, корыстные цели и расчеты, а представление (пусть даже ошибочное) об общем, народном благе.

## 2

Честь художественного открытия нигилизма в России, по общему признанию, принадлежала Тургеневу. Биограф Достоевского Н. Н. Страхов пишет: «...для нашей литературы, для общественного сознания вопрос о народившемся у нас отрицании был ясно поставлен преимущественно романом Тургенева „Отцы и дети“, тем романом, в котором в первый раз появилось слово *нигилист*, с которого начались толки о *новых людях* ⟨...⟩ Тургенев ⟨...⟩ совершил решительное открытие, нарисовал тип, которого прежде почти никто не замечал и который все ясно увидели вдруг вокруг себя». Страхов полагал, что начало борьбы с нигилизмом положил Достоевский-публицист статьей «Г-н —бов и вопрос об искусстве» (1861), в которой были подвергнуты критике эстети-

ческие принципы Добролюбова, а сам он отнесен к «утилитаристам».[11] Однако Страхов значительно выпрямляет позицию Достоевского: его отношение к «отрицателям» радикального направления в начале 1860-х годов было более сложным и не исчерпывалось однозначной формулой «борьба».

Да, Достоевский действительно полемизировал с «мальчишками», «крикунами», «обличителями» из «Современника» и «Свистка», но он также защищал их публично от нападок Каткова и «Русского вестника», причем именно в полемике с Катковым у Достоевского начала формироваться еще до опубликования романа «Отцы и дети» его собственная концепция «отрицательного направления». В характеристике молодых «прогрессистов» Достоевский выделяет те основные черты мировоззрения и внутреннего психологического облика, которые, очевидно, во многом определили его последующую несохранившуюся характеристику Базарова.

В статье «По поводу „Элегической заметки“ „Русского вестника“» (1861) Достоевский, полемизируя с Катковым, приводит большую выдержку из его статьи «Элегическая заметка», опубликованной в августовской книжке «Русского вестника» за 1861 г. и направленной против «Полемических красот» Н. Г. Чернышевского: «В действительности же, как известно, ничего нет, и весь этот прогресс, все эти движения, все эти смены доктрин, все эти фазы развития — не более как мыльные пузыри ⟨...⟩ наши прогрессисты, герои наших кружков, борзописцы наших журналов не представляют никаких задатков будущего; все это одна гниль разложения. Пусть начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой» (*Д*, XIX, 170, 172). Катков, по существу, высказывает мысль, что в русском обществе нет живых, деятельных сил, все проедено нигилизмом (этот термин он употребит несколько позднее в статье «Еще раз о прогрессе»).

Достоевский высмеивает «теоретический», «кабинетный» взгляд Каткова на русскую действительность. «Как же вы говорите: „начнется жизнь, и гниль исчезнет сама собой“? Да как же она начнется в такой среде, с такими людьми? По щучьему велению? ⟨...⟩ Возможно ли, чтоб в целом обществе не было ни малейших признаков жизни? Что за безотрадный, что за невозможный взгляд?» (там же, с. 173, 175). В характеристике Достоевского подлинным нигилистом предстает сам Катков, обвинявший в нигилизме молодых «прогрессистов», в защиту которых выступил в данном случае Достоевский. Ход рассуждений писателя таков. Русское общество состоит из консервативного большинства, пекущегося лишь о собственном материальном преуспевании, и прогрессивного меньшинства, противостоящего общественному застою. В основе деятельности последнего лежит идея народного блага. «Мальчишки», «крикуны», «обличители», «прогрессисты» принадлежат к этому меньшинству, представляя собой крайнее выражение новых, прогрессивных идей, верхушки которых они схватывают. Не существует готовой формулы общественного прогресса,

он дается трудом, ошибками, исканиями, заблуждениями, его нужно выстрадать. «Прогрессисты» неизбежны на трудном, мучительном пути общественного развития. Они «чернорабочие» прогресса. Среди них много людей честных, совестливых, страдающих, мучительно ищущих истину и искренне заблуждающихся. Они преследуют благородную цель (благо народа), но идут по ложному пути, увлеченные книжными теориями.

«В фантастической жизни и все отправления фантастические, — полемизирует Достоевский с Катковым, нападающим на «прогрессистов». — *Но, — по-нашему, это страдания, это безвыходные муки. А по-вашему, все фразеры.* Да разве это возможно? ⟨...⟩ *Разве не может увлекаться и ошибаться истинная, честная пытливость ума, честный и совестливый человек? С страданием ища выхода, он спотыкается, падает...* Да такие-то люди и спотыкаются. Зачем же пятнать их названием бессовестных? Кому придет в голову, особенно в иную минуту, смеяться над такими людьми, кроме вас, из глубины кабинета, в котором вы сидите с вашим олимпийским спокойствием? ⟨...⟩ Блажен тот, который и в уродливом явлении способен увидеть его историческую, серьезную сторону! ⟨...⟩ Да иногда, именно, чем уродливее проявляется жизнь, чем судорожнее, чем безобразнее, чем неустаннее это проявление, тем больше, значит, жизнь хочет заявить себя, во что бы то ни стало, — а вы говорите, что и жизни-то нет. *Тут тоска, страдание,* да вам-то что за дело!» (там же, с. 173, 175—176; курсив мой. — *Н. Б.*).[12]

«Отрицательную» (критическую, обличительную) деятельность «прогрессистов» Достоевский противопоставляет как более полезную высокомерному бездействию Каткова: «Те, отверженцы-то, хоть что-нибудь делают, хоть копаются, чтоб выйти на дорогу, хоть ошибаются, и таким образом избавляют других, последующих деятелей от подобных же ошибок, следственно, *хоть отрицательно, да полезны* (курсив мой. — *Н. Б.*); а вы, мелодраматически скрестив руки, стоите, да посмеиваетесь» (там же, с. 176).

Это суждение свидетельствует о сочувственном отношении писателя к «отрицателям», а отчасти и к их деятельности («хоть отрицательно, да полезны»), а также о понимании, что «отрицательное» направление имеет «историческую, серьезную сторону», вызвано потребностями общественного развития.

В статье «Два лагеря теоретиков» (1862) Достоевский утверждает, что «способность самоосуждения», самобичевания — характерная русская национальная черта, которая проявляется в народе, интеллигенции и получила отклик в обличительной литературе. Уже самая способность народа «с беспощадной силой» выставлять на вид свои недостатки, «беспощадно бичевать самого себя» «во имя негодующей любви к правде, к истине...» является, по мнению писателя, залогом жизнестойкости, здоровья, «способности оправиться от болезни» (*Д*, XIX, 21, 22).

«Сила самоосуждения, — заключает Достоевский, — прежде

всего — сила: она указывает на то, что в обществе есть еще силы. В осуждении зла непременно кроется любовь к добру: негодование на общественные язвы, болезни — предполагает страстную тоску о здоровье» (там же). Таким образом, отрицание — необходимое условие оздоровления, обновления общества в целом. Однако в этой же статье Достоевский ставит вопрос о границах отрицания, так как оно не является самоцелью, а должно служить задаче созидания нового.

«И неужели отрицание наше кончится только одним разрушением? Неужели на месте полуразрушенных зданий ничего не воздвигнется, и это место останется пустым пожарищем? . . — восклицает писатель. — ⟨. . .⟩ Но если в нас замерла жизнь, то она несомненно есть в нетронутой еще народной почве. . .» (там же, с. 22).

Основа будущего обновления России, по мнению Достоевкого, — в русском народе, в котором наряду с «исконной грязью», накопленной за века в силу неблагоприятных исторических условий, есть и «золото» — «родовые основания русского характера и обычая» (община), народные нравственные идеалы. Достоевский принимает отрицание, пока оно не касается его заветной святыни — русского народа и его идеалов.

В Объявлении об издании журнала «Время» на 1863 г., появившемся в условиях спада общественного движения и усиления реакции (временное закрытие «Современника» и «Русского слова», арест Чернышевского, Писарева, Михайлова, репрессии против университетов, воскресных школ и т. д.), программа «почвенничества» более конкретизирована и размежевание с «теоретиками» (западники «умеренные» и «крайние», т. е. революционно настроенные) проведено более последовательно.

Достоевский в самой общей форме провозглашает согласие почвенников с западниками в конечной цели («мы разумеем прогресс»), но подчеркивает, что в «развитии, в идеалах и в точках отправления и опоры общей мысли мы с ними не могли согласиться» (там же, с. 207).

Основное расхождение — во взглядах на народ и на взаимоотношение с ним интеллигенции. Позицию «крайних» западников по отношению к народу Достоевский определяет как непонимание того, что «в народности почти *всё* заключается», и даже отрицание «самой народности» на основе общечеловеческого идеала. «В своем отвращении от грязи и уродства, — пишет Достоевский, — они, за грязью и уродством, многое проглядели и многое не заметили. Конечно, желая искренно добра, они были слишком строги. Они с любовью самоосуждения и обличения искали одного „темного царства“ [13] и не видали светлых и свежих сторон ⟨. . .⟩ они, сами того не зная, осуждали наш народ на бессилие и не верили в его самостоятельность ⟨. . .⟩ Теоретики не только не понимали народа, углубляясь в свою книжную премудрость, но даже презирали его и, разумеется, без худого намерения и, так сказать, нечаянно» (там же, с. 207—208).

Здесь же Достоевский подчеркивает свое уважение к «теоретикам» и признает их искреннее сочувствие народу: «Мы понимали и умели ценить и любовь, и великодушные чувства этих искренних друзей народа, мы уважали и будем уважать их искреннюю и честную деятельность. . .» (там же, с. 208).

Трагедия «крайних» западников в понимании Достоевского состоит прежде всего в том, что они — при всей своей искренней любви к народу и желании ему блага — теоретики, оторванные от народа и не понимающие его. В этом же трагедия «искренних друзей народа» — «отрицателей» Базаровых. Трезвое, критическое отношение Базарова к народу Достоевский, скорее всего, должен был воспринять как непонимание народа, неверие в его самобытность, презрение к нему и в этом усмотреть трагедию демократа и народолюбца Базарова.

В разговоре с Аркадием Базаров приводит поговорку: «Русский мужик бога слопает» (*Т*, VIII, 236). В споре с Павлом Петровичем Базаров говорит о темноте, невежестве, суеверии, пьянстве народа, о варварстве в его семейном быту, иронически высказывается об общине и т. д., так что Павел Петрович обвиняет его в незнании народа и презрении к нему, причем Базаров отвечает: «Что ж, коли он заслуживает презрения!» (там же, с. 244). Самое намерение Базарова разрушить все основания старого общества[14] и «сладить с целым народом» Павел Петрович расценивает как «гордость почти сатанинскую» и «глумление» (там же, с. 247). Для Базарова народная жизнь — то же «темное царство», а подобная формула в применении к народу для Достоевского неприемлема, хотя он и сочувствует конечной цели «отрицателей» — освободить народ от темноты, невежества, «рабства внешнего и внутреннего».

Таким образом, в начале 1860-х годов отношение Достоевского к нигилизму и нигилистам (после выхода в свет романа «Отцы и дети» он принимает тургеневский термин) не было непримиримо отрицательным. Очевидно, Достоевский, как и Тургенев, признает закономерность и даже полезность в определенных границах «отрицательного» направления, которое ассоциируется у него также с разночинной демократией круга «Современника» и «Русского слова». В самих «отрицателях» ему дороги такие базаровские черты, как неуспокоенность, сомнения, мучительные поиски истины, дерзость мысли, молодой задор. Достоевский верил в честность и благородство их конечных целей (и в этом сближался с Тургеневым). И хотя видел в «отрицателях» отвлеченных теоретиков, оторванных от реальной жизни и народа, надеялся на их соединение с «почвой».

Характерна в этом отношении одна из записей в черновой тетради Достоевского. «. . .Мы ведь этому, хотя бы нигилистическому или естественнонаучному направлению даже рады. Оно придает некоторую смелость мысли, рутинно-чиновничьей забитости (хотя и омерзительно одностороннюю). Но не беспокойтесь, всё это, перейдя через эту некоторую смелость мысли, придет на

почву и к народным началам. Да и единственный ведь это путь. Нигилисты, стало быть, отстали. Ничего, догонят» (*Д*, XX, 176).

### 3

Достоевский, использовав творческие достижения Тургенева, во второй половине 1860-х—1870-х годах создал свою, оригинальную концепцию нигилизма, выделил его характерные черты и типы, сделал попытку определить истоки нигилизма и наметить пути его преодоления.

Важным этапом в формировании у Достоевского собственной концепции нигилизма явились «Записки из подполья», для которых характерна новая, усложненная трактовка личности, во многом полемичная по отношению к рационалистическим, просветительским представлениям о человеке. К 1863—1865 гг. относится неосуществленный замысел статьи Достоевского о «нигилистических романах».[15] Осмысление опыта «нигилистического романа» 60-х годов, полемика с последователями Чернышевского и Добролюбова — все это представляет существенный интерес для творческой истории «Преступления и наказания» (1866), где Достоевский впервые создает свой художественный тип нигилиста.

Для Достоевского нигилизм — это прежде всего явление нравственно-философского порядка, обозначающее болезнь человеческого духа, лишенного нравственных абсолютов и критериев, запутавшегося в противоречиях ложных умственных теорий, оторванных от национальной «почвы» и «живой жизни».

Нигилизм — нравственный и умственный разброд русской интеллигенции — болезнь переходного времени, имеющая западноевропейские истоки и обусловленная отрывом представителей «культурного слоя» от народных этических представлений о добре и зле в результате петровских преобразований. Особенно широкое распространение нигилизм получил в эпоху буржуазной цивилизации, для которой характерны крайняя разобщенность между людьми, утрата ими веры, смысла и цели жизни.

Достоевский подчеркивает идею преемственности нигилизма от «отцов» к «детям». Нигилистами оказываются не только представители молодого поколения 1870-х годов и прекраснодушные либералы-идеалисты 1840-х, но и «сладострастник» Федор Павлович Карамазов (все они оторваны от родных корней, от народной нравственности). Пути исцеления от нигилизма состоят, по мнению Достоевского, прежде всего в нравственном соединении интеллигенции с народной этической «правдой».

Знаменитый тезис Ивана Карамазова «если бога нет, то всё позволено», а также разъяснение этого тезиса самим писателем показывают, что Достоевский сомневался в возможности создания высокой, подлинно гуманистической нравственности только на научных основаниях, отказавшись от христианских.[16] Вера для Достоевского — это выработанные тысячелетиями общечелове-

ские понятия о добре и зле, утраченные интеллигенцией и еще сохранившиеся в народе. Человек, лишенный веры, т. е. твердого нравственного закона, не способен различать добро и зло. Увлеченный (пусть даже во имя благих целей) ошибочными теориями, он нередко теряет четкие этические ориентиры и критерии.

В записной тетради 1880—1881 гг. содержится следующее интереснейшее высказывание Достоевского, относящееся к «Братьям Карамазовым»: «Ив⟨ан⟩ Ф⟨едорови⟩ч глубок, это не современные атеисты, доказывающие в своем неверии лишь узость своего мировоззрения и тупость тупеньких своих способностей ⟨. . .⟩ Нигилизм явился у нас потому, что мы *все нигилисты*. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого, Федоры Павловичи.) ⟨. . .⟩ Совесть без бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного ⟨. . .⟩ Инквизитор уже тем одним безнравственен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей ⟨. . .⟩ Инквизитор и глава о детях ⟨. . .⟩. И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* прошла. . .» (*Д*, XXVII, 48, 54, 56, 86).[17]

Тургенева пугало отрицание Базаровым таких вечных ценностей, как любовь, дружба, семейные привязанности, природа, искусство. К отрицанию религии он относился терпимо, так как сам отличался религиозным скептицизмом. Как и большинство своих современников (в том числе многие шестидесятники и народники), Тургенев преклонялся перед нравственной красотой Христа, однако он вполне допускал возможность высокой нравственности и для безрелигиозного сознания.

Достоевский гениально предугадал, что может «прорасти» при крайнем развитии таких отрицательных черт «подполья» и нигилизма, как индивидуализм и эгоцентризм: философия вседозволенности. Он не мог не уловить в рассуждениях Базарова опасности нравственного нигилизма, так как понимал всю «шатость» такого критерия, как «ощущения», в подходе к явлениям нравственного мира.

Писаревские разъяснения тургеневского героя в статье «Базаров» (1862), привлекшие позднее внимание Герцена, особенно должны были насторожить Достоевского. Характеризуя утилитарную этику Базарова, руководствующегося в жизни лишь собственными ощущениями, Писарев замечает: «Ни над собой, ни вне себя, ни внутри себя он не признает никакого регулятора, никакого нравственного закона, никакого принципа». Несмотря на это, Базаров «не ворует чужих платков, не вытягивает из родителей денег, усидчиво работает». Что же удерживает Базарова от «подлых поступков», от «нравственного ничтожества», заставляет трудиться? По мнению Писарева, это «непосредственное влечение, личный вкус» (т. е. «ощущения»), с одной стороны, и «расчет» («разумный эгоизм») — с другой.

«Эти люди, — рассуждает Писарев, — могут быть честными и бесчестными, гражданскими деятелями и отъявленными мошенниками, смотря по обстоятельствам и по личным вкусам. *Ничто, кроме личного вкуса, не мешает им убивать и грабить* и ничто, кроме личного вкуса, не побуждает людей подобного закала делать открытия в области науки и общественной жизни. Базаров не украдет платка по тому же самому, почему он не съест кусок тухлой говядины. Если бы Базаров умирал с голоду, то он, вероятно, сделал бы то и другое». Что же касается «расчета», ограждающего Базарова от дурных поступков, то он как умный человек хорошо понимает, что *«быть честным очень выгодно и что всякое преступление, начиная с простой лжи и кончая смертоубийством, — опасно и, следовательно, неудобно»*.[18]

Подобное обоснование нравственного поведения и поступков человека, разумеется, не могло удовлетворить Достоевского.

Писатель настаивает на существовании нравственного закона вне человека и внутри его. Поведение человека определяется не только «средой», но (и это главное) его свободным нравственным выбором между добром и злом.

Критик-марксист В. В. Воровский в статье «Базаров и Санин (Два нигилизма)» блестяще сопоставил две различные формы нигилизма — периодов его расцвета и упадка. Воровский провел убедительные параллели между «разумным эгоизмом» шестидесятников, основанным на принципе общественной пользы (Базаров), и так называемым «естественным эгоизмом» (буржуазным аморализмом) начала XX в. (Санин, герой одноименного романа М. Арцыбашева) с его требованием полного освобождения личности от всяких нравственных запретов и ограничений.

«„И честность — ощущение?“ — спрашивал Аркадий Базарова. „Еще бы!“ — ответил Базаров. То же самое ответил бы и Санин, но дело в том, что Базаров в силу *своих* ощущений мог быть только *честным*, санинские же ощущения не различают честности и бесчестья. Честность в общественных отношениях — это соображение „общей пользы“, а мы знаем, что оно играло решающую роль в утилитарной морали Базарова. Мораль же Санина основывается на личной пользе (вернее, на наслаждении), а перед этим критерием различие между честностью и бесчестием утрачивает всякий смысл. Поэтому Санин вполне последовательно приходит к тому выводу, что „естественным“, то есть свободным от предрассудков человеком, может быть только нравственно или физически невменяемая личность».[19]

Сравнительные характеристики Базарова и Санина дают отчетливое представление о разных формах нигилизма, явившихся художественным открытием Тургенева и Достоевского, причем Достоевский, наряду с другими формами нигилизма, изобразил и буржуазный аморализм.

Писатель поставил в своих произведениях вопрос о границах и критериях отрицания. Идея неограниченной свободы личности приводила к бунту «своеволия», к отрицанию нравственного долга

и морали, к торжеству крайнего индивидуализма. Свободная от всяких моральных запретов «сильная личность» могла обернуться «человекобогом», действующим по принципу «все позволено» и презирающим «толпу», «тварь дрожащую». Достоевский с гуманистических позиций осудил «человекобожество» во всех его теоретических и практических вариантах.

Проблема «Достоевский и нигилизм» научно почти не разработана и нередко трактуется упрощенно. Концепция нигилизма у писателя сложна и противоречива, она имеет сильные и слабые стороны. Идейно-художественное новаторство писателя и его прогрессивная роль в разоблачении крайних форм буржуазного индивидуализма, нравственного релятивизма и аморализма не получили еще должного признания, хотя многие вопросы, затронутые Достоевским, оказались чрезвычайно актуальными в XX в. Правда, в 1970—1980-е годы ученые внесли известные коррективы в одностороннюю трактовку проблемы «Достоевский и нигилизм».[20]

Достоевский показал многообразные формы нигилизма и создал яркие типы нигилистов. Уже в «подпольном парадоксалисте» с его крайним индивидуализмом и своеволием отчетливо выражены черты нигилистического сознания.

Высший тип нигилиста у Достоевского — это тип трагического мыслителя, отрицателя, бунтаря, не только отвергающего современное ему общество, но нередко бунтующего даже против самого бога, творца несовершенного мира, исполненного зла и страданий. Подобным героям Достоевского, мучительно бьющимся над «проклятыми вопросами» человеческого бытия, дано, как справедливо пишет М. Бахтин, используя фразеологию самого писателя, «„горняя мудрствовати и горних искати“, в каждом из них „мысль великая и неразрешенная“, всем им прежде всего „надобно мысль разрешить“».[21] Таковы Раскольников, Ипполит Терентьев, Ставрогин, Шатов, Кириллов, Иван Карамазов. Достоевский признает обоснованность отрицания своих героев, ибо «мир лежит во зле». Однако пути преобразования мира он видит прежде всего в духовном совершенствовании как отдельного человека, так и общества в целом. Бунтари Достоевского — это люди, трагически запутавшиеся в противоречиях книжной теории, преступившие нравственный закон и находящиеся в разладе с «живой жизнью» и «народной правдой». Для них, за редким исключением, не закрыт путь духовного возрождения и преображения.

Среди других типов нигилистов, изображенных Достоевским, отметим тип политического авантюриста и честолюбца (Петр Верховенский); нигилистов со «страстной верой» в социализм («дергачевцы» — долгушинцы); буржуазных аморалистов и циников (Валковский, отчасти Свидригайлов; образ последнего более сложен и даже трагичен и потому не поддается однозначному определению). Откровенный, так сказать «утробный» нигилизм, основанный на неприкрытом, циничном попрании всех нравственных норм и приличий, представляет Федор Павлович Карамазов,

с его неуемной жаждой наслаждений, сознательно «похеривший» всю нравственную сторону. Отвратительный духовный и нравственный нигилизм в его лакейском обличье дан в образе Смердякова.

Широко представлен в романах Достоевского опошленный, сниженный эпигонский нигилизм, так называемая «нигилятина», напоминающая пародию на настоящий нигилизм, его окарикатуренный вариант («идея вышла на улицу»). «Нигилятина» многолика. Здесь и «деловые нигилисты» (Лужин, Бурдовский, племянник Лебедева и др.), откровенно преследующие материальную выгоду («деловые» сознательно опошляют «теорию разумного эгоизма» в корыстных целях); вульгаризаторы нигилизма типа Лебезятникова, мелкие нигилисты в «Бесах», словно обрадовавшиеся «праву на бесчестье»; омерзительный своим цинизмом и аморализмом Ламберт, кратко и выразительно охарактеризованный Достоевским в черновиках словом «мясо», и т. д.

В романе «Отцы и дети» «нигилятина», намеченная образами Ситникова и Кукшиной, оттеняет значительность и незаурядность главного героя. Этот художественный прием Тургенев использует для косвенной психологической характеристики Базарова.

Достоевский ставит перед собой более широкие и глубокие задачи. Он создает целую систему сниженных и опошленных двойников-«спутников» трагических нигилистов, служащих цели компрометации их ложных идей и теорий (ср.: Раскольников—Лужин, Лебезятников; Ипполит Терентьев—Бурдовский и его компания; Николай Ставрогин — Петр Верховенский, мелкие нигилисты из «наших»; Иван Карамазов — Смердяков, Черт).

Образ Базарова — при всей его исторической конкретности — стал для Достоевского воплощением коренных черт глубокого, трагического нигилиста и явился, как уже отмечалось выше, своеобразным литературным прообразом отрицателей и бунтарей Достоевского, которые, начиная с «Преступления и наказания», прочно войдут в романный мир писателя. С другой стороны, к Базарову (точнее, к «базаровщине») в значительной мере восходит также памфлетный ряд сниженных нигилистов (Петр Верховенский и «мелкие бесы»).

Г. А. Бялый убедительно проследил типологическую общность между Базаровым и Раскольниковым, свидетельствующую о близости в идейно-психологической трактовке «нового» человека у Тургенева и Достоевского при всем различии творческих методов писателей. Оба героя требуют разрушения настоящего во имя будущего. Это люди идеи, теории, которая господствует над ними и определяет характерные черты их психологического облика (ощущение своей значимости, незаурядности, отъединенность от людей, сдержанность в проявлениях чувств, «надменная гордость», своеобразный аристократизм и т. п.). Идея становится как бы второй натурой героя, справедливо замечает Г. А. Бялый, «но именно второй, натура первая, первичная, ей не подчиняется, вступает с ней в борьбу».[22] Отсюда — трагическое противоречие

между мировоззрением (теорией) и натурой героя, его постоянная борьба с «натурой», «самоломанность», порождающие в нем чувства острого недовольства собой, страдания и тоски (любовная история Базарова, состояние Раскольникова после убийства, на которое он «словно не своими ногами пришел», «решился, да как с горы упал или с колокольни слетел» — *Д*, VI, 348).

Понятие «натура» у Достоевского наполнено сложным содержанием. В «Записках из подполья» под «натурой» понимаются низменные, отрицательные черты человеческой личности (зло, эгоизм, неблагоразумие, «глупое хотенье», заставляющее человека сопротивляться разумной воле, и т. д.). Достоевский полемизировал с революционными демократами («теория разумного эгоизма» и «среды»), не учитывающих, по мнению писателя, всех «прелестей» натуры. Писатель считал, что «зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты» (*Д*, XXV, 201), с их прекраснодушной верой в человека, и поэтому нельзя коренным образом обновить мир лишь наукой и изменением «среды» (ср. базаровский тезис: «Исправьте общество, и болезней не будет» — *Т*, VIII, 277). Нравственное возрождение, преображение человека является, по мнению писателя, необходимым условием коренного переустройства общества.

В «Преступлении и наказании» под «натурой» подразумевается, напротив, высшая нравственная сущность человека, прежде всего его совесть, вступающая в противоречие с головной теорией и нарушением нравственного закона. Живая натура в данном случае — противоположность мертворожденной теории.

Для Базарова и Раскольникова характерно сложное отношение к народу, массе, толпе, в котором противоречиво переплетаются любовь, сострадание, жалость, злоба, презрение.[23] «Аристократизм» героев проявляется, в частности, в их самонадеянной уверенности в своем праве вершить судьбы людей, навязать им свою (пусть даже добрую) волю.

Тургенев и Достоевский разделяют мнение, что герои, вступившие в борьбу с обществом, побеждены не им, а законами, правдой жизни.[24] Добавим: уже побежденные «живой жизнью», Базаров и Раскольников отказываются признать несостоятельность идеи, теории, а винят в слабости, несостоятельности лишь себя, причем зло и самолюбие являются реакцией на провал теории. «Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает», — говорит Базаров Аркадию (*Т*, VIII, 323). Раскольников скорее согласен признать себя «вошью» и «тварью дрожащей», потому что нравственно оказался не в силах «преступить», чем поставить под сомнение свою теорию.

«Чем, чем, — думал он, — моя мысль была глупее других мыслей и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? 〈...〉 О отрицатели и мудрецы в пятачок серебра, зачем вы останавливаетесь на полдороге! 〈...〉 Вот в чем одном признавал он свое преступление: только в том, что не вынес его и сделал явку с повинною» (*Д*, VI, 417).

Литературоведы (Г. А. Бялый, Г. Б. Курляндская и др.) отмечают различие художественных методов Тургенева и Достоевского. Сущность тургеневского героя как социально-психологического типа, принадлежащего определенной среде и эпохе, раскрывается в обыденном течении жизни, в обычной бытовой обстановке; героя Достоевского — в экстремальных условиях, чрезвычайных обстоятельствах, в момент катастрофы, когда перед человеком неотвратимо встает проблема нравственного выбора.

Базаров — нигилист-теоретик, Раскольников — практик, действующий согласно своей теории. «Дело» — убийство (т. е. преступление против нравственного закона, «натуры» и «живой жизни») должно показать ложность, нежизненность теории героя, какими бы возвышенными аргументами она ни обосновывалась. У Достоевского (и это не случайно) нередко сближаются проблемы нигилизма (в его практическом варианте) и преступления («Преступление и наказание», «Бесы», «Братья Карамазовы»). На примере Раскольникова Достоевский показывает, как честный и совестливый человек, руководствуясь ложной теорией, разрешающей «необыкновенным людям» во имя высших целей «кровь по совести», совершает убийство, а то нравственное наказание, которое его настигает, более страшно, чем гражданская кара.

В творчестве зрелого Достоевского 1860—1870-х годов темы нигилизма и «отцов и детей» занимают ведущее место и получают оригинальную творческую трактовку. Однако уже самый факт обращения Достоевского к этим «тургеневским» темам как бы является подтверждением удивительной чуткости Тургенева к насущным, коренным проблемам своего времени.

[1] Так, например, Ф. Кузнецов возражает против попыток установить некую единую типологическую категорию нигилизма как мирового феномена, так как под этим широким и расплывчатым понятием обычно объединяют «самые различные, часто несоединимые явления человеческой мысли, возросшие в различное время на совершенно различной социальной почве. . .» (*Кузнецов Ф.* Нигилисты? Д. И. Писарев и журнал «Русское слово». 2-е изд., перераб. и доп. М., 1983, с. 551). Пафос исследователя в данном случае направлен в защиту так называемого «русского нигилизма» шестидесятников как нигилизма условного, который в отличие от подлинного нигилизма, пессимистического и антигуманного по своей сущности, был проникнут высоким общественным пафосом и историческим оптимизмом.

[2] *Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30-ти т. М., 1960, т. 19, с. 198. — В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте с обозначением *Герцен* и с указанием тома (римской цифрой) и страницы (арабской).

[3] без строгих правил, ограничений (от лат.: stricto jure).

[4] См., например: *Тюнькин К. И.* Базаров глазами Достоевского. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 108—119; *Батюто А. И.* Признак великого сердца. . . (к истории восприятия Достоевским романа «Отцы и дети»). — Рус. лит., 1977, № 2, с. 21—38.

[5] *Бялый Г. А.* Две школы психологического реализма: (Тургенев и Достоевский). Л., 1973, с. 45.

[6] Тонкий анализ образа Базарова дан в книге Г. А. Бялого: Роман Тургенева «Отцы и дети». М.; Л., 1963; ср. также: *Маркович В. М.* Кто такой Базаров? — В кн.: *Маркович В. М.* И. С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30—50-е годы). Л., 1982, с. 186—202.

[7] В представлении Тургенева Добролюбов был, подобно Базарову, деятелем одиноким, трагически изолированным от народа и вследствие этого обреченным на поражение. Очевидно, таков смысл отклика Тургенева на преждевременную смерть Добролюбова в письме к И. П. Борисову от 11 (23) декабря 1861 г.: «Я пожалел о смерти Добролюбова, хотя и не разделял его воззрений: человек он был даровитый — молодой... Жаль погибшей, напрасно потраченной силы!» (*Т, Письма*, IV, 316). В недавно опубликованных за рубежом новозеландским ученым П. Уоддингтоном черновых подготовительных материалах Тургенева к роману «Отцы и дети» Добролюбов упомянут в качестве реального прототипа Базарова (см.: *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30-ти т. Соч.: В 12-ти т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1986, т. 12, с. 566).

[8] См. письмо Тургенева к Т. Г. Шевченко от марта—апреля 1860 г.: *Т, Письма*, IV, 64.

[9] Подробнее об этом см.: *Бельчиков Н. Ф.* Достоевский в процессе петрашевцев. М., 1971, с. 73—83. См. также: *Д*, XII, 220—222; XVIII, 191—195, 313—317.

[10] Герцен писал о петрашевцах в 1869 г.: «Когда петрашевцы пошли на каторжную работу за то, что хотели ниспровергнуть все божеские и человеческие законы и разрушить основы общества... — они были нигилистами» (*Герцен*, $XX_{I}$, 349—350).

[11] *Страхов Н. Н.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. — В кн.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 235—236. — Отметим попутно, что в статье «Г-н -бов и вопрос об искусстве» Достоевский назвал Тургенева «самым художественным из всех современных русских писателей» (*Д*, XVIII, 80).

[12] Мысль о неизбежности тоски, страдания и боли для мыслящего русского интеллигента, не удовлетворенного окружающей его действительностью, Достоевский повторяет в характеристиках Базарова, Раскольникова, Ивана Карамазова, героя «Призраков» Тургенева.

[13] Намек на статью Добролюбова «Луч света в темном царстве» (1859). В статье «Необходимое объяснение по поводу разных хлебных и нехлебных вопросов» (1863) Добролюбов охарактеризован как «человек глубоко убежденный, проникнутый святою, праведной мыслью и великий боец за правду». «Мы не согласны были с некоторыми уклонениями Добролюбова и с теоретизмом его направления, — добавляет Достоевский. — Он мало уважал народ: он видел в нем одно дурное и не верил в его силы» (*Д*, XX, 58).

[14] Он не может найти «хоть одно постановление в современном нашем быту, в семейном или общественном, которое бы не вызывало полного и беспощадного отрицания» (*Т*, VIII, 247).

[15] См.: *Викторович В. А.* О двух историко-публицистических замыслах Достоевского. — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1985, вып. 6, с. 137—153.

[16] Следует признать, что наука того времени давала повод для подобных сомнений. Речь идет о позитивизме и социальном дарвинизме с их культом естественнонаучных знаний и пренебрежением к этическим ценностям. Об отношении Достоевского к позитивизму см.: *Белопольский И. Н.* Достоевский и позитивизм. Ростов, 1985, *Шкуринов П. С.* Позитивизм в России XIX века. М., 1980. — Идеи вульгарного популяризатора труда Ч. Дарвина «Происхождение видов» французской переводчицы К.-О. Руайе, стремившейся механически распространить биологический закон борьбы за существование на область общественной жизни, отбросив гуманистическую этику, вызвали резкую отповедь Страхова, ближайшего сотрудника Достоевского по журналу «Время». Подробнее об этом см.: *Фридлендер Г. М.* Достоевский и мировая литература. Л., 1985, с. 255—259.

[17] Ср. черновые заметки Достоевского 1870-х годов: «Всякая нравственность выходит из религии, ибо религия есть только формула нравственности» (*Д*, XXIV, 168); ср.: «Нравственность Христа в двух словах: это идея, что счастье личности есть вольное и желательное отрешение ее, лишь бы другим было лучше» (*Д*, XI, 193).

[18] *Писарев Д. И.* Базаров. — В кн.: *Писарев Д. И.* Соч. М., 1955, т. 2, с. 11, 9—10. Курсив мой. — *Н. Б.*

[19] *Воровский В. В.* Базаров и Санин: (Два нигилизма). — В кн.: *Воровский В. В.* Литературно-критические статьи. М., 1956, с. 247.

[20] Плодотворные результаты дает обращение ученых к теме «Достоевский и Ницше». Г. М. Фридлендер на основе анализа выписок Ф. Ницше из романа «Бесы» (1887—1888), сопровождаемых авторской интерпретацией нигилизма, убедительно опроверг распространенную на Западе версию об идейной близости Достоевского и Ницше (см.: *Фридлендер Г. М.* Достоевский и мировая литература, с. 251—289). Ю. Н. Давыдов в статье «Два понимания нигилизма: (Достоевский и Ницше)» отметил диаметральную противоположность позиций Достоевского и Ницше: философскому аморализму немецкого философа он противопоставил нравственную философию русского писателя (Вопр. лит., 1981, № 9, с. 115—160).

[21] *Бахтин М.* Проблемы поэтики Достоевского. 3-е изд. М., 1972, с. 145.

[22] См.: *Бялый Г. А.* Две школы психологического реализма: (Тургенев и Достоевский), с. 40—53, 42.

[23] Базаров говорит, что «хочется с людьми возиться, хоть ругать их, да возиться с ними» (*Т*, VIII, 324). Ср. слова Раскольникова: «Как низки, гадки люди... Нет! сгрести их в руки и потом делать им добро» (*Д*, VII, 83).

[24] *Бялый Г. А.* Две школы психологического реализма: (Тургенев и Достоевский), с. 49.

# ПРОБЛЕМА ПОКОЛЕНИЙ В «БЕСАХ»

Тургенев в «Бесах». При этих словах читателю вспоминается Кармазинов — маленький упитанный старичок, самовлюбленный, тщеславный, по существу ничтожный. Общеизвестно, что это злая пародия на Тургенева, которого Достоевский беспощадно казнит в своем романе. Вопрос о соотношении образа Кармазинова с подлинным Тургеневым, его личностью и творчеством, основательно изучен.[1]

Можно ли считать, однако, что пародийным образом «великого писателя» в романе полностью исчерпывается проблема «Тургенев в „Бесах"»? Ведь, как мы знаем, острейшая полемика не только с нигилистами, но и с теми западниками 40-х годов, к которым причислял себя Тургенев, отчетливо звучит в «Бесах». А многочисленные упоминания о Тургеневе в подготовительных материалах к «Бесам» и в письмах Достоевского 1869—1871 гг. далеко не всегда связаны с Кармазиновым. Они наводят на мысль, что роль Тургенева в творческой истории «Бесов» была более значительной, чем это представляется на первый взгляд.

Попытаемся определить эту роль на основе широкого круга источников, в том числе черновых материалов к «Бесам» и переписки Достоевского.

## 1

Возникновение замысла «Бесов» относится к самому началу 1870 г. Для понимания творческой атмосферы, в которой создавался роман, необходимо учитывать резко отрицательное отношение Достоевского к буржуазной Европе, усилившееся во время его длительного пребывания за границей (1867—1871) и обостренное тоской по России. В свете болезненного неприятия всего европейского в этот период становятся более понятными и выпады Достоевского по адресу русских западников, с которыми он расходился в понимании путей преобразования русского общества и которых обвинял в порождении Нечаевых.

Основная тема писем Достоевского 1868—1870 гг. — Россия и Европа; именно с этой темой неразрывно связаны размышления писателя о самобытном, отличном от европейского, историческом пути развития России, о «русском верхнем слое» и «почве»,

о западниках и славянофилах, о либералах и нигилистах. Уже ко времени работы над романом «Идиот» у Достоевского на основе его почвеннических взглядов сложилась религиозно-философская концепция Востока и Запада с ее главной идеей — идеей особой, мессианской роли православной России, призванной нравственно обновить духовно разлагающуюся Европу. Мысли о самобытном развитии России, о «русском призвании» Достоевский настойчиво развивал и в многочисленных письмах заграничного периода, страстно полемизируя с инакомыслящими. К этому времени относятся наиболее резкие суждения писателя о Грановском, Белинском, Тургеневе и некоторых других западниках.

В 1867 г. идеологические расхождения между Достоевским и Тургеневым чрезвычайно обострились в связи с выходом в свет романа «Дым», в котором западнические симпатии Тургенева были отчетливо заявлены в речах Потугина. «Эту книгу надо сжечь рукою палача», — заявил, если верить мемуаристам, о «Дыме» Достоевский.[2]

Эпизод баденской ссоры Достоевского и Тургенева в 1867 г., в значительной степени вызванный романом «Дым», не раз привлекал внимание исследователей.[3] Мы коснемся здесь этого инцидента лишь в той мере, в какой он представляет интерес для нашей темы. Истоки же знаменитой ссоры следует искать, как это не раз отмечалось, в расхождении идейно-политических воззрений писателей, а также в своеобразной «психологической несовместимости» их натур («он слишком оскорбил меня своими убеждениями», «я и прежде не любил этого человека лично», — признавался Достоевский А. Н. Майкову. — *Д, Письма,* II, 32, 30).

Широко известное письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 16 (28) августа 1867 г. с подробным описанием ссоры существенно не только для понимания образа Кармазинова-Тургенева в «Бесах», но и для идейно-философской концепции романа в целом. Взволнованно-страстное и крайне субъективное восприятие Достоевским неприемлемой для него западнической программы Тургенева, нашедшее отражение в письме к А. Н. Майкову, становится понятным лишь с учетом романа «Дым» и речей Потугина, причем в возбужденном воображении Достоевского сам Тургенев неизменно сближался (а подчас и сливался) с Потугиным.

Обвинения, предъявляемые Достоевским Тургеневу в письме к А. Н. Майкову, — презрение к России, космополитизм («ползание перед немцами»), атеизм, заискивание перед нигилистами. По словам Достоевского, «основное убеждение о России» Тургенева заключалось в следующем: «Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве» (там же, с. 31).

Очевидно, некоторые мысли Тургенева о Европе, его уважение к «началам европейской цивилизации» ассоциировались в сознании Достоевского с высказываниями Потугина. Так, например,

приведенное выше суждение о России восходит, по всей вероятности, к рассказу Потугина о Лондонской Всемирной выставке: «...если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из Хрустального дворца [4] все то, что тот народ выдумал, — наша матушка, Русь православная, провалиться бы могла в тартарары, и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы, родная...» (*Т*, IX, 232—233). Впечатление о крайней научной и технической отсталости полукрепостной России здесь выражено в резкой, полемически заостренной против славянофилов форме. Очевидно, и мысль Достоевского о «ненависти» Тургенева и других «последователей Белинского» к России также навеяна высказываниями Потугина. «Я ее страстно люблю и страстно ее ненавижу, — говорит о России Потугин. — ⟨...⟩ Да-с; я и люблю и ненавижу свою Россию, свою странную, милую, скверную, дорогую родину» (там же, с. 173—174).

«Разница в том, — замечает Достоевский в письме к А. Н. Майкову, — что последователи Чернышевского просто ругают Россию и откровенно желают ей провалиться (преимущественно провалиться!). Эти же, отпрыски Белинского, прибавляют, что они *любят Россию*» (*Д, Письма,* II, 31).

Уже в письме к А. Н. Майкову Достоевский формулирует характерную для него и основополагающую для будущего романа «Бесы» мысль о духовной преемственности и идейном родстве, существующими между русскими западниками 40-х годов и современными нигилистами 1860-х годов.

Западническая программа, заявленная в «Дыме» Потугиным, получила развитие в «Литературных воспоминаниях»[5] (1869) Тургенева. «Воспоминания» носят ярко выраженный полемический характер. Это относится прежде всего к предисловию, а также к очеркам «Воспоминания о Белинском» и «По поводу „Отцов и детей“». В центре очерков — размышления Тургенева о России и Европе, т. е. та же самая проблема, которая волновала в это время и Достоевского, решавшего ее с других идейно-философских позиций.

Тургенев высказывает в «Воспоминаниях» свои мысли о России, историческое развитие и будущее которой он неразрывно связывает с ее европеизацией. Славянофильской концепции самобытного, неевропейского пути развития России писатель противопоставляет программу широкой европеизации страны, необходимости для нее творческого заимствования лучших достижений западной цивилизации.

«Литературные воспоминания», где западнические симпатии были выражены прямо и откровенно уже от лица самого Тургенева, вызвали у Достоевского не меньшее раздражение, чем «Дым». Следы этого раздражения, вылившегося в резкие выпады против Тургенева, Белинского и западников вообще, нетрудно обнаружить в подготовительных материалах к «Бесам», а отчасти и в окончательном тексте романа.

В «Воспоминаниях» Тургенева внимание Достоевского-читателя могли привлечь — наряду с программными декларациями западнического характера — некоторые частности, еще более укреплявшие сложившееся у него со времени «Дыма» представление о Тургеневе как о западнике («немце») и нигилисте. Приведем некоторые примеры.

В предисловии к «Воспоминаниям» Тургенев, характеризуя свое отношение к Западу, вспоминает и годы учения в берлинском университете: «Я бросился вниз головою в „немецкое море“, долженствовавшее очистить и возродить меня, и когда я наконец вынырнул из его волн — я все-таки очутился „западником“ и остался им навсегда» (*Т*, XIV, 9).[6]

Эту черту — уважение к классической немецкой культуре Достоевский позднее ядовито обыграет в «Бесах». Он наградит ею Кармазинова («я сделался за немца и вменяю это себе в честь»; ср. замечание Кармазинова о карлсруйской водосточной трубе) и отчасти Верховенского-отца (см. в гл. I части I «Бесов» рассуждение Степана Трофимовича о немцах как о «двухсотлетних учителях наших», о русских, обучающихся в немецкой «петершуле», и др.).

Многочисленные отклики в печати вызвал очерк «По поводу „Отцов и детей“», где Тургенев еще раз напомнил о своем романе. Авторские суждения о Базарове порождали споры. К числу их принадлежало следующее признание Тургенева: «. . .вероятно, многие из моих читателей удивятся, если я скажу им, что, за исключением воззрений Базарова на художества, — я разделяю почти все его убеждения» (там же, с. 100—102). Далее писатель приводит слова «одной остроумной дамы», назвавшей его «нигилистом», и добавляет: «Не берусь возражать; быть может, эта дама и правду сказала» (там же, с. 103).

«Еще бы не удивиться! Еще бы не прийти в крайнее изумление! — восклицает по этому поводу Н. Н. Страхов. — Тургенев — нигилист! Тургенев разделяет убеждения Базарова! Да что же может быть удивительнее подобной новости?».[7] По словам Н. Н. Страхова, вся цель «Воспоминаний» заключалась в том, чтобы доказать, что их автор «есть искренний нигилист».[8]

Приведенное признание Тургенева неоднократно ядовито пародируется в подготовительных материалах к «Бесам». Вот некоторые характерные записи 1870 г.: «Гр⟨ановски⟩й [9] соглашается наконец быть нигилистом и говорит: „Я нигилист“ ⟨. . .⟩ Слухи о том, что Тургенев нигилист, и Княгиня еще больше закружилась». «Великий писатель [10] был у Губернатора, но не поехал к Княгине сперва, чем довел ее до лихорадки. ⟨. . .⟩ Наконец приехал на вечер к Княгине. Просит прощения у Ст⟨удента⟩ и заявляет ему, что он всегда был нигилистом». «Великий поэт: „Я нигилист“» (*Д*, XI, 102, 113, 114).

Для Достоевского, как и для Н. Н. Страхова, в высшей степени знаменательно уже само признание западника Тургенева в симпатиях к нигилизму: оно было для них доказательством того, что

русские западники и русские нигилисты имеют общие истоки, что нигилизм — явление для России чужеродное, не имеющее корней в национальной почве. «Свидетельство Тургенева, объявляющего себя в одно время и западником и нигилистом, есть важное доказательство того, что наш русский нигилизм нашел себе главную пищу, главную поддержку в учениях наших давнишних наставников — немцев», — пишет Н. Н. Страхов.[11]

Возможно, что некоторые отзывы о Белинском в черновиках и окончательной редакции «Бесов» полемически направлены против той оценки, которую дает Белинскому Тургенев в своих «Воспоминаниях».[12] Программа Белинского, как ее излагает Тургенев в своем очерке, для Достоевского по существу мало чем отличается от потугинской. В представлении Тургенева Белинский — «центральная натура» России 1840-х годов, передовой русский деятель, кровно связанный с народом («он всем существом своим стоял близко к сердцевине своего народа. . .» — *Т*, XIV, 30), чутко уловивший требования эпохи. Для Достоевского же Белинский, как и другие представители «поколения 40-х годов», — это «западник» и «нигилист», оторванный от родной почвы и презирающий народные верования и предания.[13]

## 2

Задумав свой роман как политический памфлет на современных нигилистов, решая для себя вопросы о причинах и истоках русского нигилизма, о взаимоотношениях между представителями различных поколений России, Достоевский неизбежно должен был обратиться к опыту своих литературных предшественников в этой области, и в первую очередь к творчеству Тургенева, писателя, который, по меткому выражению Н. Н. Страхова, «дал имя и образ»[14] нигилистам в романе «Отцы и дети».

Мнение о влиянии на автора «Бесов» романа «Отцы и дети» высказывалось исследователями. Однако конкретная роль, которую роман Тургенева сыграл в творческой истории «Бесов», до сих пор не раскрыта. Очевидно, чтобы установить эту роль, прежде всего следует обратиться к черновым материалам романа, позволяющим проследить эволюцию художественной мысли Достоевского.

Ориентация на роман «Отцы и дети» особенно заметна на ранней стадии работы писателя над «Бесами». Поколение «отцов» представляет в романе Грановский, либерал-идеалист 40-х годов, поколение «детей» — сын Грановского — Студент-нигилист (он же Нечаев). В февральских записях 1870 г. уже подробно обрисовывается конфликт между отцом и сыном, причем Достоевский в какой-то мере использует сюжетно-композиционную схему тургеневского романа и художественные приемы Тургенева.

В записях первой половины февраля 1870 г. будущие «Бесы» даже сюжетно напоминают роман «Отцы и дети» (приезд ниги-

листа в дворянское имение, его общение и споры с местными «аристократишками», поездка в губернский город, роман со светской женщиной, Красавицей). Подобно автору «Отцов и детей», Достоевский стремится раскрыть своих героев прежде всего в идейных спорах и полемике; поэтому целые сцены проектируются в виде диалогов, излагающих идеологические столкновения неославянофила и «почвенника» Шатова с западником Грановским и нигилистом Студентом. Приведем пример.

«*Является Ст⟨удент⟩* (для фальш⟨ивых⟩ бумажек, прокламаций и троек). Обрадовал Ш⟨атова⟩. Смущает отца нигилизмом, насмешками, противоречиями. Прост, прям. Перестроить мир ⟨...⟩ Ст⟨удент⟩ в городе и в обществе (*Базаров*)» (*Д*, XI, 66—67; курсив мой. — *Н. Б.*).

Первая схватка Базарова со «старенькими романтиками» Кирсановыми происходит за вечерним чаем, когда обнаруживается теоретическая программа тургеневского нигилиста.

Достоевский несколько раз обращается в черновиках к сцене обеда у Княгини (будущей Варвары Петровны Ставрогиной), во время которого должен проявиться в полной мере нигилизм Студента.

«Княгиня слыхала о нигилистах и видала (Писарев), но ей хотелось Базарова, и не для того, чтоб спорить или обращать того, а для того, чтоб из его же уст послушать его суждений (об искусстве, о дружбе) и поглядеть, как он будет ломаться à la Базаров. Ст⟨удент⟩ удирает, напротив, такую штуку, что выявляется самою равнодушною, спокойною и неподымчивою посредственностью» (там же, с. 71).

В этой и последующих сценах, в идеологических спорах с отцом и Шатовым вырисовываются нравственно-психологический облик Студента и его общественно-политическое credo. Подобно тому как Грановский был в представлении Страхова и Достоевского «чистым» западником по сравнению со своими «нечистыми» последователями, Базаров по сравнению со Студентом — своеобразный «чистый» нигилист: он разрушает только в теории. Студент же обращает нигилистическую теорию 1860-х годов в беспощадную практику всеобщего разрушения и уничтожения.

«С этого (с разрушения), естественно, всякое дело должно начаться, — заявляет Студент, — я это знаю, а потому и начинаю. До конца мне дела нет, а знаю, что начинать нужно с этого, а прочее всё болтовня, и только растлевает и время берет ⟨. . .⟩. Чем скорее — тем лучше, чем раньше начинать — тем лучше. (Прежде всего бога, родственность, семейство и проч.) Нужно всё разрушить, чтоб поставить новое здание, а подпирать подпорками старое здание — одно безобразие» (там же, с. 78, ср. с. 103—105).

Студент освобождает себя, как от ненужного хлама, не только от нравственных принципов и критериев, но также от норм внешнего приличия. Он жесток, бесцеремонен и груб по отношению к отцу, полностью отрицает родственные чувства, цинически

отзывается о матери, бесцеремонно вторгается в личную жизнь отца, издевается над старинной дружбой Степана Трофимовича с Варварой Петровной, третирует отца как видного деятеля минувшей эпохи и т. д. (Студент в глаза называет отца «гражданской плаксивой бабой», «приживальщиком», «мумией, которая переродиться не может» — там же, с. 71, 72). В беседах с Аркадием Базаров именует Кирсановых «аристократишками» и «старенькими романтиками», Павла Петровича — «идиотом», о Николае Петровиче говорит, что «песенка его спета». При личном общении с ними он резок и подчеркнуто сух. Боязнью «рассыропиться» можно объяснить сдержанную сухость Базарова по отношению к приятелю Аркадию, к которому он несомненно привязан. Под внешней фамильярно-грубоватой формой обращения Базарова с родителями скрываются, однако, подлинная любовь и уважение к ним.

«Ст⟨удент⟩ неглуп, — разъясняет Хроникер, — но мешают ему, главное, презрение и высокомерие нигилистическое к людям. Знать действительности он не хочет ⟨. . .⟩. Вопроса же о благородстве и подлости он и не ставит, как прочие нигилисты. Не до того ему и не до тонкостей. Дескать, надо действовать, и не понимая, что и деятель должен прежде всего, по крайней мере, хоть осмотреться» (там же, с. 97—98).

Итак, Студент ранних набросков к «Бесам» — нигилист самой грубой формации, из-под вульгарной маски которого как бы проступают отдельные черты Базарова, точнее базаровщины, резко заостренные и окарикатуренные. Да и сама программа нигилистического отрицания у Студента приобретает карикатурные формы, чего не было в «Отцах и детях» (идеи разрушения семей, общих жен и т. д.).

Рисуя своего нигилиста, Достоевский своеобразно сочетает в нем черты базаровщины и хлестаковщины, благодаря чему образ снижается, предстает в пародийно-комическом плане. Особенно Достоевский упорен в намерении изобразить первоначальное «хлестаковское» появление Студента в городе. В летних записях 1870 г. читаем: «. . .NB. Приезд сына Ст⟨епана⟩ Т⟨рофимови⟩ча (вроде Хлестакова — какие-нибудь гадкие, мелкие и смешные истории в городе)» (там же, с. 200). Или: «Между тем в городе, вроде Хлестакова, сын Ст⟨епана⟩ Т⟨рофимови⟩ча. Мизерно, пошло и гадко ⟨. . .⟩ Он расстраивает брак Ст⟨епана⟩ Т⟨рофимови⟩ча, способствует клевете, маленькие комические скандальчики ⟨. . .⟩ всё по-прежнему, только выход хлестаковский» (там же, с. 202).

Этот первый, «хлестаковский» выход Петра Верховенского сохранен в окончательном тексте «Бесов» (сцена «конклава» в гостиной у Варвары Петровны — часть I, гл. V. «Премудрый змий»). В портрете младшего Верховенского, в его неожиданном появлении перед собранием, в манере держаться, в его вдохновенно-лживой импровизации о Ставрогине и Хромоножке — несомненно много хлестаковского. В дальнейшем Петр Верховен-

ский часто пользуется маской наивного, грубовато-простодушного и болтливого человека, неизвестно откуда появляющегося («как с луны свалился»), чтобы одурачивать окружающих в своих целях.

На первый взгляд сопоставление Петра Верховенского с Базаровым может показаться надуманным.

Действительно: величественную и суровую фигуру тургеневского героя как-то трудно представить себе рядом с ничтожным Петром Верховенским. Умница Базаров, не способный на компромиссы, сумевший умереть как герой, — и вертлявая «обезьяна нигилизма» Верховенский, мелкий, подлый, бездушный, лишенный элементарной человеческой порядочности.

И тем не менее мы полагаем, что Петр Верховенский — своеобразный сниженный двойник Базарова. В личности Базарова — разные грани. И если одними он соприкасается с Раскольниковым, то другими — с Петром Верховенским. Петр Верховенский воплощает лишь односторонне развитые и заостренные отрицательные черты базаровского типа, то, что обычно называют базаровщиной.

Разумеется, Базаров — лишь одна из составляющих среди сложного комплекса разнообразных жизненных и литературных впечатлений, преломленных в образе Петра Верховенского. Обратимся к сохранившимся отзывам Достоевского о Базарове и выясним, как относился писатель к тургеневскому герою в период создания романа «Бесы».

Высказывания о Базарове в окончательном тексте «Бесов» и в подготовительных материалах к роману имеют вполне определенную и характерную направленность. Достоевский ставит вопрос о том, *насколько Базаров как тип нигилиста имеет реальное соответствие в современных представителях этого типа.*

Степан Трофимович, стремясь лучше понять сына, обращается к Базарову, этому прославленному литературному воплощению нигилизма. «Я не понимаю Тургенева, — рассуждает Степан Трофимович. — У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не существующее вовсе; они же (нигилисты. — *Н. Б.*) первые и отвергли его тогда, как ни на что не похожее. *Этот Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном,*[15] c'est le mot.[16] Посмотрите на них внимательно: они кувыркаются и визжат от радости, как щенки на солнце, они счастливы, они победители! Какой тут Байрон!.. И притом какие будни! Какая кухарочная раздражительность самолюбия, какая пошленькая жаждишка faire du bruit autour de son nom,[17] не замечая, что son nom ... О карикатура! Помилуй, кричу ему, да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?» (*Д*, X, 171).[18]

В подготовительных материалах к «Бесам» есть и еще одно интересное высказывание о Базарове: «Базаров написан человеком сороковых годов и без ломания, а стало быть, без нарушения правды человек сороковых годов не мог написать Базарова.

— Чем же он изломан?

— На пьедестал поставлен, тем и изломан» (*Д*, XI, 72).

Смысл этого высказывания таков: «человек 40-х годов», т. е. Тургенев, идеализировал в Базарове тип современного нигилиста, поставив его на высокий пьедестал, что является нарушением художественной правды. Базаров окружен тем трагическим, героическим ореолом, который ассоциируется у Степана Трофимовича с Байроном, тогда как в резкости, грубости и ломании Базарова проглядывает прежде всего Ноздрев.

Возможно, что высказывания о Базарове в черновиках и окончательной редакции романа «Бесы» полемически направлены против авторских разъяснений Базарова в упоминавшемся очерке «По поводу ,,Отцов и детей"», а также некоторых отзывов о нем критиков. Неуспех своего героя у демократической молодежи 1860-х годов Тургенев пытался объяснить, в частности, тем фактом, что он как писатель подошел к новому тогда еще типу нигилиста слишком объективно и беспристрастно, изобразив его без всякой идеализации, со всеми резкостями и угловатостями, присущими этому типу вообще. «На его (Базарова. — *Н. Б.*) долю не пришлось — как на долю Онегина или Печорина — эпохи идеализации, сочувственного превознесения 〈...〉. Базаровский тип имел по крайней мере столько же права на идеализацию, как предшествовавшие ему типы» (*Т*, XIV, 102—103).

М. Н. Катков, отзыв которого Тургенев приводит в своих «Воспоминаниях», напротив, считал, что писатель идеализировал Базарова: «Если и не в апофеозу возведен Базаров, то нельзя не сознаться, что он как-то случайно попал на очень высокий пьедестал. Он действительно подавляет все окружающее. Все перед ним или ветошь или слабо и зелено. Такого ли впечатления нужно было желать?» (там же, с. 104).

Рассуждения о «ломании» и «изломанности» Базарова имеют аналогии в статье Страхова об «Отцах и детях» (1863): «Базаров вышел человеком простым, чуждым всякой изломанности, и вместе крепким, могучим душою и телом». И далее: «Базаров — теоретик; он человек странный, односторонне-резкий; он проповедует необыкновенные вещи; он поступает эксцентрически; он школьник, в котором вместе с глубокой искренностью соединяется самое грубое *ломанье*».[19]

Резкое неприятие современных Базаровых, перешедших от отвлеченного отрицания к нигилистической практике убийств и разрушения, обусловило ту известную переоценку образа Базарова, которая характерна для Достоевского в период работы над «Бесами». Писатель видит в нигилистах-«бесах» вырождение базаровского типа, отвратительную «нигилятину», опошление некогда величественной идеи, попавшей «на улицу».

Изображая своего нигилиста Петра Верховенского, Достоевский лишает его высокого трагического начала, присущего Базарову, — того начала, которое свидетельствует о великом, беспокойном и тоскующем сердце тургеневского героя. Петр

Верховенский — бесконечно сниженный и опошленный Базаров, лишенный его ума и величия.

Базаровские сухость, жесткость, резкость, грубоватая прямота, доведенные до своего логического предела, переходят у Петра Верховенского в открытое хамство, наглость, полную бессердечность; гордость и самолюбие Базарова — в мелкую самовлюбленность и самодовольство Петра Верховенского.

Базаров является тем естественным центром, вокруг которого движется все действие романа «Отцы и дети». Петр Верховенский оказался слишком ничтожным для подобной роли. Злодей и убийца, обладающий в избытке базаровщиной и даже хлестаковщиной, он, однако, в отличие от Базарова первоначально был лишен внутренней сложности.

Творческие затруднения Достоевского, на которые он неоднократно жаловался друзьям в письмах 1870 г., в значительной степени были связаны с его мучительными поисками центрального героя.

«Моя фантазия может в высшей степени разниться с бывшей действительностью и мой Петр Верховенский может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству, — писал Достоевский М. Н. Каткову в октябре 1870 г. 〈...〉. — К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что всё это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа. Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо — трагическое...» (*Д, Письма*, II, 288—289).

Политический памфлет и его герой перестают занимать в романе центральное место. «Нечаевское происшествие» теперь лишь «аксессуар и обстановка действий» для Николая Ставрогина. «Бесы» постепенно перерастают в роман-трагедию.

Главным героем романа становится Николай Ставрогин, претерпевший в процессе создания «Бесов» сложную эволюцию. Это один из самых сложных и трагических образов в творчестве Достоевского. Не случайно, создавая его, писатель прибегал к художественной символике. Ставрогин — богато одаренная от природы личность, он мог бы стать «положительно прекрасным человеком». Уже самая фамилия «Ставрогин» (от греческого «ставрос» — крест) намекает, как полагает Вяч. Иванов, на высокое предназначение его носителя. Однако Ставрогин изменил своему предназначению, не реализовал заложенных в нем возможностей. «Изменник перед Христом, он неверен и Сатане. Ему должен он представить себя как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтоб сыграть роль Лже-Царевича — и не находит на это в себе воли. Он изменяет революции, изменяет и России (символы: переход в чужеземное подданство и, в особенности,

отречение от жены своей Хромоножки). Всем и всему изменяет он и вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье».[20]

В Ставрогине нравственный нигилизм достигает крайних пределов. Индивидуалист и «сверхчеловек», сознательно преступающий нравственные законы, Ставрогин трагически бессилен в своих попытках к духовному возрождению.

Причины духовной гибели Ставрогина Достоевский объясняет при помощи апокалиптического текста «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши...». Трагедия Ставрогина в истолковании Достоевского состоит прежде всего в том, что он «не холоден» и «не горяч», а только «тепл», а потому не имеет достаточной воли к духовному возрождению, которое по существу для него не закрыто (ищет «бремени», но не может снести его). В разъяснении Тихона «совершенный атеист», т. е. «холодный», «стоит на предпоследней верхней ступени до совершеннейшей веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха» (*Д* XI, 10).

Достоевский признает в атеисте возможность высокой любви, веры в идеал, и в этом смысле сближает его с глубоко верующим. Интересную мысль высказывает на этот счет Тихон: «Совершенная любовь совпадает с совершенной верой. Это равнодушие только совсем не верует. Атеизм самый полный ближе всех, может быть, к вере стоит» (*Д*, XI, 268).

Безверие Ставрогина равнозначно полной утрате им всякого различия между добром и злом в результате разрыва этого европейтсвующего барича с русской народной религиозно-нравственной традицией.[21]

Распространенное в литературоведении представление о Ставрогине как революционере противоречит не только тексту романа,[22] но и логике самого образа: только «теплый», т. е. равнодушный, Ставрогин не способен к самоотверженному служению идее. Ставрогину присуща не только нравственная, но и идейная раздвоенность. Он увлекает Шатова концепцией русского «народа-богоносца» и обновления Европы православной идеей, а одновременно развращает Кириллова проповедью крайнего индивидуализма «человекобога» («сверхчеловека»).

В индивидуальной судьбе Ставрогина, вся «великая сила» которого ушла «нарочито в мерзость» (слова Тихона — см.: *Д*, XI, 25), преломляется трагедия русской интеллигенции, утратившей связи с родной землей и народом. Не случайно Шатов советует Ставрогину «добыть бога» (т. е. нравственные ценности, способность различать добро и зло) мужицким трудом, указывая ему путь сближения с народом и его «правдой».

Существенную творческую эволюцию претерпел также образ Петра Верховенского, который приобрел черты не свойственной ему ранее внутренней усложненности.

Элементы базаровщины и хлестаковщины причудливо соединяются в Петре Верховенском с нечаевщиной. Влияние материалов

нечаевского процесса на эволюцию образа Верховенского особенно ощутимо во второй и третьей частях романа. Любопытно, что адвокат В. Д. Спасович воспринял Нечаева как личность легендарную, демоническую, сравнивал его с Протеем, дьяволом (*Д*, XII, 204).

Р. Назиров не относит Петра Верховенского к фанатикам идеи. По мнению ученого, фанатизм Петра Верховенского порожден «чисто эстетической ориентацией в мире, при которой политические идеи не играют существенной роли».[23] Так ли это? Не упрощает ли подобная трактовка этот зловещий образ?

Петр Верховенский также принадлежит к числу героев-идеологов Достоевского. Ставрогин называет Верховенского «человеком упорным» и «энтузиастом». «Есть такая точка, — говорит о Петре Степановиче Ставрогин, — где он перестает быть шутом и обращается в... полупомешанного» (*Д*, X, 193). Действительно, страшная сущность этого невзрачного с виду и болтливого человека неожиданно раскрывается в главе «Иван Царевич», когда Петр Верховенский сбрасывает с себя шутовскую личину и предстает в качестве полубезумного фанатика.

У него есть своя собственная, выношенная и взлелеянная в мечтах идея, есть и план общественного устройства, главные роли в реализации которого он предназначает Ставрогину и себе. Верховенский — фанатик идеи неслыханного разрушения, смуты, «раскачки», от которой «затуманится Русь».

В условиях всеобщего разрушения, разложения и утраты идеалов, когда «заплачет земля по старым богам», и должен появиться Иван-Царевич, т. е. самозванец (на эту роль Верховенский предназначает Ставрогина), чтобы обманным путем поработить народ, лишив его свободы. Самозванец — это такой же «мошенник, а не социалист», как и сам Петр Верховенский, по его собственному циничному признанию.[24]

Себя самого как «практика», как изобретателя «первого шага», долженствующего привести к «вселенской раскачке», Петр Верховенский ставит даже выше «гениального теоретика» Шигалева. «. . .я выдумал первый шаг, — в исступлении бормочет Петр Верховенский. — Никогда Шигалеву не выдумать первый шаг. Много Шигалевых! Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я» (там же, с. 324). Однако свою роль он этим не ограничивает. Верховенский претендует и на роль строителя будущего общественного здания («. . .подумаем, как бы поставить строение каменное») после того, как «рухнет балаган». «Строить *мы* будем, мы, одни мы!» — шепчет он Ставрогину в упоении (там же, с. 326). В принципе Петр Верховенский не отказывается и от шигалевского проекта общественного устройства, для него это «ювелирская вещь» и «идеал» в будущем.

Как видим, аппетит у Петруши «волчий» (его собственное выражение в применении к Ставрогину). Вся его авантюристическая деятельность порождена не «чисто эстетической ориента-

цией», а имеет конкретные и далеко идущие политические цели.

Трижды повторенная в романе характеристика Петра Верховенского — «мошенник, а не социалист» — очень знаменательна. Она кладет четко разграничивающий водораздел между этим политическим авантюристом и истинными социалистами.[25]

Петр Верховенский не представлял характерный тип русского революционера XIX в., как не являлся таковым и его реальный прототип — С. Г. Нечаев. Нечаевщина, в основу которой был положен аморальный иезуитский принцип «цель оправдывает средства», была осуждена русским и международным рабочим движением, и прежде всего Марксом и Энгельсом, давшими глубокий анализ причин и уроков того уродливого явления.

Как тип нигилиста Верховенский противопоставлен в романе трагическим нигилистам (Ставрогин, Кириллов, Шатов), в душе которых происходит мучительная борьба между добром и злом.

В подготовительных материалах к «Бесам» (а позднее и в самом романе) ведущей становится проблема поколений, нашедшая свое выражение в тщательной разработке Достоевским сцен, раскрывающих идеологические столкновения западника-идеалиста 40-х годов Степана Трофимовича Верховенского и его сына-нигилиста.

Тургеневский конфликт между «отцами» и «детьми» у Достоевского углубляется. Конфликт этот приобретает резкие драматические формы еще и потому, что Степан Трофимович — отец Петра Верховенского как бы вдвойне: и по кровной и по духовной связи. К тому же «отцов» в «Бесах» представляют не провинциальные помещики и не уездный лекарь, но характерные деятели эпохи 40-х годов (С. Т. Верховенский, Кармазинов). Сознавая идейное родство своего поколения с «детьми» — нигилистами 1860-х годов, Степан Трофимович в то же время ужасается, в какие безобразные формы вылился современный нигилизм, и в конце концов порывает с последним.

Обрабатывая в планах мотив нечаевского убийства, Достоевский задумывается над ролью, которую будет играть в романе Грановский (будущий Степан Трофимович).

«Но при чем же Гр⟨ано⟩вский в этой истории? Он для встречи *двух поколений всё одних и тех же западников, чистых*[26] и нигилистов, а Ш⟨атов⟩ новый человек» (*Д*, XI, 68).

В набросках, относящихся к лету 1870 г., Достоевский в соответствии со своим первоначальным художественным заданием следующим образом определит место старшего Верховенского в идейно-философской концепции романа: «Без подробностей — *сущность* Степана Трофимовича в том, что он хоть и пошел на соглашение сначала с новыми идеями, но порвал в негодовании (пошел с котомкой) и *один* не поддался новым идеям и остался верен старому идеальному сумбуру (Европе,

«Вестник Европы», Корш). В Степане Трофимовиче выразить невозможность поворота назад к Белинскому и оставаться с одним европейничанием. „Прими все последствия, ибо неестественный для русского европеизм ведет к тому" — он же не понимает и хнычет» (там же, с. 176).

Не только идейная рознь и взаимное непонимание, но и духовная преемственность, существующие между западниками «чистыми» (т. е. поколением «либералов-идеалистов» 40-х годов) и «нечистыми» (т. е. современными Нечаевыми), моральная ответственность первых за грехи последних; западничество с характерным для него отрывом от русской «почвы», народа, от коренных русских верований и традиций как основная причина появления нигилизма — таков комплекс идей, при помощи которых Достоевский в духе почвенничества своеобразно переосмысливает тургеневскую концепцию «отцов» и «детей».

Исследователи не раз отмечали, что Степан Трофимович Верховенский, являясь обобщенным портретом либерального западника 40-х годов, соединяет в себе черты многих представителей этого поколения (Т. Н. Грановский, А. И. Герцен, Б. Н. Чичерин, В. Ф. Корш и др.). Вопрос о Тургеневе как возможном прототипе Степана Трофимовича Верховенского затронут М. С. Альтманом в его статье «Этюды по Достоевскому».[27] Как считает М. С. Альтман, Тургенев изображен в «Бесах» не только в лице Кармазинова, но «некоторыми чертами отчасти — также и в Степане Трофимовиче», так как оба они, Кармазинов и С. Т. Верховенский, «вариации на один мотив — русский либерализм 1840-х годов».[28] Известную аналогию исследователи не раз усматривали между отношениями Степана Трофимовича — Варвары Петровны, с одной стороны, и Тургенева — Полины Виардо — с другой.[29]

Каковы же черты, роднящие, по мнению Достоевского, Тургенева и Степана Трофимовича? Очевидно, помимо некоторого сходства характеров к числу этих черт относятся «любовь к немцам» (которой Достоевский наделяет всех западников вообще) и к искусству; безверие; компромиссно-половинчатое отношение к молодому поколению и, как следствие этого, взаимное непонимание: Тургенев, называющий себя «нигилистом» и согласный уступить нигилистам все, кроме искусства, в то же время не понят молодым поколением (мотив, варьирующийся в Кармазинове и в Степане Трофимовиче).

В подготовительных материалах к «Бесам» (и в окончательном тексте романа) широко обыграна любовь Тургенева к искусству, столь характерная для «поколения 40-х годов» в отличие от последователей Базарова. Этот момент играет существенную роль в полемике Кармазинова и Степана Трофимовича Верховенского с нигилистами. Верный рыцарь красоты и поэзии, Степан Трофимович, во многом пошедший на уступки нигилистам, в этом пункте оказывается непреклонным. «Он бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова „отечество"; согласился

и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина, и даже гораздо» (*Д*, X, 23). Последний бой с нигилистами за искусство, за вечную идею красоты Степан Трофимович выдержал на литературном чтении.[30]

Образы Степана Трофимовича и Кармазинова на протяжении длительной творческой истории «Бесов» не претерпевают заметной эволюции. Однако Кармазинов выдержан до конца в резко пародийном, памфлетном плане. Отношение же Достоевского к Степану Трофимовичу постепенно меняется, становится все более теплым и сочувственным, хотя ирония по отношению к нему сохраняется. Глава, описывающая «последнее странствование» Степана Трофимовича и его смерть, исполнена глубокой патетики. Именно Степан Трофимович, прозревший в последние часы своей жизни истину и осознавший трагическую оторванность не только «детей», но и своего поколения от народа, является по воле писателя истолкователем евангельского эпиграфа к роману, и смысл этого истолкования близок авторскому.

Из литературных предшественников этого образа следует назвать прежде всего так называемых «лишних людей», в том числе тургеневских.[31]

Основное ядро концепции двух поколений, сложившейся уже на раннем этапе творческой истории романа, а позднее расширенной и облеченной Достоевским в религиозно-философскую символику евангельских бесов, сохранилось до конца в неизменном виде, хотя прямая аналогия с романом «Отцы и дети», весьма ощутимая в февральских черновых записях, постепенно ослабевает.

Проблема поколений раскрывается в «Бесах» прежде всего в истории исполненных острого драматизма взаимоотношений отца и сына Верховенских, хотя к поколению «отцов» принадлежат также Кармазинов и фон-Лембке, а к поколению «детей» — Николай Ставрогин и члены кружка нигилистов. Степан Трофимович Верховенский несет нравственную ответственность не только за своего сына: он воспитатель (т. е. духовный наставник, «отец») и другого нигилиста — Николая Ставрогина.

Кармазинов, подобно Степану Трофимовичу являющийся представителем «поколения 40-х годов», дан Достоевским в явно карикатурном плане и поэтому не годится для раскрытия драматической коллизии во взаимоотношениях поколений.

Достоевский подробно разъясняет идейно-философскую концепцию «Бесов» в ряде писем к Майкову и Страхову 1870—1872 гг. Особенно отчетливо она выражена Достоевским в его письме 1873 г., посланном наследнику вместе с отдельным изданием «Бесов».

«Это почти исторический этюд, — пишет Достоевский о своем романе, — которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское движение. Взгляд мой состоит в том, что это явление не случайность, не единичное. Оно — прямое последствие великой оторван-

ности всего нашего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению, что совершенно преступно для нас, русских, мечтать о своей самобытности ⟨...⟩. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы нечаевщины.[32] Вот эту родственность и преемственность мысли, развивавшуюся от отцов к детям, я и хотел бы выразить в произведении моем» (*Д, Письма*, III, 49—50).

Итак, Грановские и Белинские, т. е. русские западники 40-х годов (в их числе, конечно, и Тургенев), — прямые «отцы» современных Нечаевых. В этом высказывании Достоевского о «Бесах» содержится явный намек на роман Тургенева (в центре произведения — проблема «отцов и детей») и полемика с ним как с крупнейшим современным представителем «поколения 40-х годов».

В статье «Одна из современных фальшей» («Дневник писателя» за 1873 г.) Достоевский также затрагивает вопрос о причинах появления Нечаевых и особенно нечаевцев среди развитой и образованной молодежи. К этому времени отношение писателя к нечаевцам (не к Нечаеву!) заметно смягчается: он понимает, что нередко чистые сердцем и доверчивые люди могут стать жертвами обмана со стороны Нечаевых и пойти за ними во имя «общего и великого дела». Не случайно Достоевский признал, что в свое время он мог бы «сделаться ⟨...⟩ *нечаевцем*», «*в случае если б так обернулось дело*» (*Д*, XXI, 129).

Причины умственной и нравственной незрелости современной молодежи Достоевский видит в неправильном воспитании в семье, где нередко встречаются «недовольство, нетерпение, грубость невежества (несмотря на интеллигентность классов)», «настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса», «материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей», «дети воспитываются без почвы, вне естественной правды, в неуважении или равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к народу» (там же, с. 132).

«Вот где начало зла, — заключает Достоевский: — в предании, в преемственности идей, в вековом национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сане европейца под непременным условием неуважения к самому себе как к русскому человеку!» (там же).

Разрыв с народом, характерный, по мысли Достоевского, для современной молодежи, «преемствен и наследствен еще с отцов и дедов» (там же, с. 134). Отцы «не лучше, не крепче и не здоровее» убеждениями, чем их дети. С ранних лет дети встречали в своих семействах «один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное ⟨...⟩ отрицание», «презрение или равнодушие» к отечеству (там же, с. 134—135).

Наряду с комплексом идей, характерных для концепции поколений в «Бесах», Достоевский затрагивает здесь новую проблему — воспитания детей в «случайном семействе», которая займет центральное место в романе «Подросток».

### 3

Сущность и причины конфликта, возникшего в конце 1860-х годов между А. И. Герценом и представителями русской «молодой эмиграции» в Женеве, исследованы в специальной исторической литературе,[33] и мы не будем подробно останавливаться на этом. Отметим только, что существенным моментом разногласий являлся вопрос об идейной преемственности и вкладе разных поколений в революционную борьбу с царизмом.

Преувеличивая либеральные ошибки Герцена, представители «молодой эмиграции» явно недооценивали ту выдающуюся роль, которую сыграл Герцен и созданная им за границей Вольная русская печать в истории революционно-освободительного движения России. Это непризнание «детьми» заслуг своих предшественников, «отцов», выражавшееся подчас в резкой и бестактной форме, Герцен болезненно переживал. Оскорбленный пренебрежительным отношением молодых революционеров, он сам порою бывал высокомерно-резким и нетерпимым по отношению к ним. Сказывалось и то, что представители русской революционной эмиграции принадлежали к различной социальной и культурной среде. Герцена с его широким и разносторонним образованием раздражали в молодых разночинцах недостатки образования и воспитания, резкие манеры, бесцеремонность обращения, безапелляционность суждений и т. д.

Как известно, Герцен болезненно переживал свои разногласия с представителями молодой русской эмиграции и стремился найти пути для взаимопонимания и примирения с ними, ибо видел в них «своих», союзников в общей борьбе с самодержавием.

Характерно, что Герцен, размышляя о своих драматических отношениях с «молодой эмиграцией», многократно обращался к роману Тургенева «Отцы и дети» и образу Базарова.

В свое время Герцен не понял значительности образа тургеневского нигилиста и даже упрекнул писателя в том, что тот преувеличил отрицательные, резкие черты, присущие молодому нигилисту, задержав внимание читателя на его «дерзкой, сломанной, желчевой наружности — на плебейско-мещанском обороте» (письмо к Тургеневу от 9 (21) апреля 1892 г. — *Герцен*, $XXVII_1$, 217).

В конце 1860-х годов — под влиянием резко обострившихся (особенно после опубликования брошюры А. А. Серно-Соловьевича «Наши домашние дела») разногласий с «молодой эмиграцией» — отношение Герцена к Базарову заметно меняется. Базаров, сниженный до базаровщины, становится для Герцена

синонимом всего того отрицательного, что он видел в молодых русских эмигрантах.

В статье Д. И. Писарева «Базаров» Герцена привлекает не столько подлинный тургеневский герой, сколько Базаров в интерпретации Писарева. «Верно ли понял Писарев тургеневского Базарова, до этого мне дела нет, — пишет Герцен. — Важно то, что он в Базарове узнал *себя* и *своих* и добавил чего недоставало в книге. ⟨...⟩ В том-то и дело, что это не его личный идеал, а тот идеал, который *до* тургеневского Базарова и *после него* носился в молодом поколении и воплощался не только в разных героев повестей и романов, но в живые лица, старавшиеся принять в основу действий и слов своих базаровщину» (*Герцен*, $XX_1$, 335, статья «Еще раз Базаров»).

Анализируя подробно статью Писарева, Герцен выделяет в писаревской характеристике тургеневского героя те черты базаровщины, которые он ранее признавал мало типичными для радикальной молодежи. К этим чертам относятся черствость, эгоизм, беспричинные резкость и грубость, повышенное самолюбие и самомнение, неуважение к окружающим, непризнание заслуг своих предшественников, поверхностное образование, отрицание искусства, отсутствие высоких нравственных принципов и др. Писаревский Базаров, по мнению Герцена, «в одностороннем смысле, — до некоторой степени предельный тип того, что Тургенев назвал *сыновьями,* в то время как Кирсановы — самые стертые и пошлые представители отцов» (там же, с. 339).[34]

Исследователи Герцена справедливо отмечают, что писаревский Базаров, как предельное и одностороннее воплощение нигилизма, явился для Герцена лишь поводом для его острой полемики с конкретными представителями швейцарской «молодой эмиграции» (*Герцен*, $XX_2$, 789).

Особенно резкие возражения у Герцена вызвали суждения Писарева о генеалогии Базаровых и их отношении к своим литературным предшественникам — Онегиным, Печориным, Бельтовым, Рудиным. Согласно Писареву, усталые и скучающие Онегины и Печорины заменились Рудиными и Бельтовыми, людьми, стремящимися к делу. У Печориных «есть воля без знания, у Рудиных — знание без воли, у Базаровых есть и знание и воля, мысль и дело сливаются в одно твердое целое».[35] По словам Писарева, Базаровы относятся к своим предшественникам недружелюбно, с укором и насмешкой.

Возражение Герцена вызвало стремление Писарева противопоставить современных Базаровых их предшественникам — «лишним людям». В отличие от Писарева Герцен отказался признать общественную бесполезность Рудиных и Бельтовых, тех «отцов», к которым он причислял себя и поколение 40-х годов. Родоначальниками этого поколения были, по мнению Герцена, не Онегины, а декабристы и Чацкий: «Декабристы — наши великие отцы, Базаровы — наши блудные дети» (*Герцен*, $XX_1$, 346).

Герценовский спор о сущности и исторической роли «лишних

людей», об их отношении к современным Базаровым был по существу спором с представителями «молодой эмиграции» об идейной преемственности между различными поколениями передовой русской интеллигенции и их совместном вкладе в дело пробуждения общественного самосознания, в борьбу за прогресс. Именно поэтому Герцена так больно задели слова Писарева о пренебрежительном и ироническом отношении Базаровых к своим идейным предшественникам.

Несмотря на свою антипатию к базаровщине, характерной, как считал Герцен, для ряда молодых русских радикалов-эмигрантов, он все-таки выделял то главное, что объединяло его, герценовское, поколение с передовой русской молодежью: единство общественных идеалов и целей. Интересно в этом отношении следующее высказывание Герцена: «Снимите с Базарова его мундир, заставьте его забыть жаргон, на котором он говорит, дайте ему волю *просто*, без *фразы* (ему, который так ненавидит *фразерство*!) сказать одно слово, дайте ему на минуту забыть свою ежовую обязанность, свой искусственно сухой язык, свою стегающую роль, и мы объяснимся во всем остальном в один час. ⟨...⟩ В сущности, наших юношей приводит в ярость то, что в нашем поколении выражена *наша* потребность деятельности, *наш* протест против существующего *иначе*, чем у них ⟨...⟩ Базаров — не оставляет никого в покое, всех задирает свысока. Каждое слово его — выговор высшего низшему» (там же, с. 343—344). И далее: «Онегины и Печорины прошли. Рудины и Бельтовы проходят. Базаровы пройдут... и даже очень скоро. Это слишком натянутый, школьный, взвинченный тип, чтоб ему долго удержаться ⟨...⟩ И я глубоко убежден, что мы с детьми Базарова встретимся симпатично, и они с нами — „без озлобленья и насмешки“» (там же, с. 340, 343).

В главе III части VII «Былого и дум», посвященной «молодой эмиграции» (1870), Герцен снова выделяет в ее представителях те отрицательные черты, которые уже ранее были осуждены им как проявление базаровщины. Он отмечает в них отсутствие основательного образования, пренебрежительное отношение к искусству, болезненное самолюбие, раздражительность, бесцеремонность и т. д. «На нас они смотрели как на почтенных инвалидов, как на прошедшее и наивно дивились, что мы еще не очень отстали от них», — замечает Герцен (*Герцен*, XI, 343—344).

Наиболее «свирепых», «угловатых» и «шершавых» представителей «молодой эмиграции» Герцен называет *«Собакевичами* и *Ноздревыми нигилизма»*, а также *«дантистами* нигилизма и базаровской беспардонной вольницы» (там же, с. 350, 352).

Попутно Герцен подчеркивает, как и в статье «Еще раз Базаров», что в его словах «нет ни малейшего желания бросить камень ни в молодое поколение, ни в нигилизм»: «Наши Собакевичи нигилизма не составляют сильнейшего выражения их, а представляют их чересчурную крайность ⟨...⟩ Заносчивые юноши, о которых идет речь, заслуживают изучения, потому что и они

выражают временной *тип*, очень определенно вышедший, очень часто повторявшийся, переходную форму болезни нашего развития из прежнего застоя» (там же, с. 350).

Появление подобного типа одностороннего и уродливого развития нигилизма Герцен объясняет двояко: социальными условиями времени и причинами наследственного характера. «С одной стороны, реакция против старого, узкого, давившего мира должна была бросить молодое поколение в антагонизм и всяческое отрицание враждебной среды — тут нечего искать ни меры, ни справедливости. Напротив, тут делается на зло, тут делается в отместку. „Вы лицемеры — мы будем циниками; вы были нравственны на словах — мы будем на словах злодеями; вы были учтивы с высшими и грубы с низшими — мы будем грубы со всеми; вы кланяетесь, не уважая, — мы будем толкаться, не извиняясь; у вас чувство достоинства было в одном приличии и внешней чести — мы за честь себе поставим попрание всех приличий и презрение всех points d'honneur'ов".[36] Но, с другой стороны, эта отрешенная от обыкновенных форм общежительства личность была полна своих наследственных недугов и уродств ⟨. . .⟩ Нагота не скрыла, а раскрыла, кто они. Она раскрыла, что их систематическая неотесанность, их грубая и дерзкая речь не имеет ничего общего с неоскорбительной и простодушной грубостью крестьянина и очень много с приемами подьяческого круга, торгового прилавка и лакейской помещичьего дома» (там же, с. 351).

Мы оставляем в стороне вопрос о том, в какой мере этот резко очерченный Герценом портрет нигилиста соответствует реальным представителям «молодой эмиграции». Скорее всего, в острой полемике Герцен резко сгустил краски и заострил отрицательные черты, которые действительно были присущи некоторым представителям русской революционной молодежи в Женеве. Но для нашей темы важно другое. Нарисованный Герценом тип «базароида» имеет разительное сходство с Петром Степановичем Верховенским, которого без всякого преувеличения можно отнести к «Собакевичам и Ноздревым нигилизма», к «дантистам нигилизма» и к представителям «базаровской беспардонной вольницы».[37]

В свое время Н. Н. Страхов справедливо заметил, что «гораздо лучше быть полным Базаровым, чем быть его уродливым и неполным подобием».[38] Если поставить рядом тургеневского Базарова и его «неполных» двойников — писаревского и герценовского Базаровых, то последний наиболее далек от своего тургеневского прообраза, ибо является отражением уже искаженного двойника — писаревского Базарова. Нетрудно заметить, что Петр Верховенский наиболее близок именно к герценовскому «базароиду».

Случайно ли это сходство? Думаем, что ни в коей мере не случайно. Конфликт между «отцами» и «детьми» русской революционной эмиграции конца 1860-х годов, резкие отзывы

Герцена о ее молодых представителях — все это могло дать Достоевскому богатейший материал для его романа «Бесы», тем более что он был в курсе дела.

Достоевский читал, в частности, упоминавшуюся выше главу о «молодой эмиграции» из «Былого и дум», опубликованную впервые в «Сборнике посмертных произведений» Герцена (Женева, 1870). На этот счет есть прямое указание в самом тексте «Бесов». В главе «Петр Степанович в холопах» (ч. II, гл. VI романа) вскользь говорится об уплывшем на Маркизские острова кадете, «о котором упоминает с таким веселым юмором г. Герцен в одном из своих сочинений» (*Д*, VII, 364). Достоевский имеет в виду рассказ Герцена о П. А. Бахметьеве в главе «Былого и дум», посвященной «молодой эмиграции».

Достоевский, очевидно, был знаком и со статьей Герцена «Еще раз Базаров», напечатанной в «Полярной Звезде на 1869 год».[39] И в образе Петра Верховенского Достоевский не столько повторил черты тургеневского Базарова, сколько дал свою интерпретацию эпигонов этого персонажа, в которых базаровщина получила уродливо однобокое развитие (ср. с образом герценовского «базароида»). Вот почему для понимания той концепции поколений, которая дана в «Бесах» (идейная рознь и идейная преемственность между поколением западников 40-х и нигилистов 60-х годов), представляют несомненный интерес — в широком идеологическом плане — те исполненные острого драматизма отношения, которые сложились в конце 60-х годов между видным западником 40-х годов и признанным вождем нигилистов Герценом, с одной стороны, и молодой русской революционной эмиграцией — с другой; отношения, которые сам Герцен во многом воспринял через призму романа «Отцы и дети».

[1] См.: *Никольский Ю.* Тургенев и Достоевский: (История одной вражды). София, 1921; *Долинин А. С.* Тургенев в «Бесах». — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л.; М., 1924, сб. 2, с. 119—136. — Самая фамилия «Кармазинов», как отметил Ю. Никольский, происходит от «кармазинный» (cramoisi — франц.) — темно-красный и «намекает на сочувствие этого „нувеллиста" красным» (*Никольский Ю.* Тургенев и Достоевский, с. 64.). Ю. Никольский и А. С. Долинин раскрыли содержащиеся в тексте романа пародийные намеки на произведения Тургенева «Дым», «Призраки», «Довольно», «По поводу „Отцов и детей"» и некоторые другие.

[2] *Гаршин Е. М.* Воспоминания об И. С. Тургеневе. — Ист. вестн., 1883, № 11 (цит. по кн.: Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка / Под ред., с введ. и примеч. И. С. Зильберштейна; Предисл. Н. Ф. Бельчикова. Л., 1928, с. 182).

[3] См. упоминавшиеся выше работы Ю. Н. Никольского и А. С. Долинина, а также статью И. С. Зильберштейна в «Переписке» Достоевского и Тургенева.

[4] Хрустальный дворец — главный павильон Всемирной выставки.

[5] Так назывались первоначально «Литературные и житейские воспоминания».

[6] Ср.: «Я слишком многим обязан Германии, чтобы не любить и не иметь ее как мое второе отечество» (предисловие к немецкому переводу «Отцов и детей» 1869 г. — *Т*, XV, с. 102).

[7] *Страхов Н. Н.* Еще за Тургенева. — В кн.: *Страхов Н. Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. 3-е изд. СПб., 1895, с. 103.

[8] Там же, с. 117.

[9] Т. е. будущий Степан Трофимович Верховенский. В черновых материалах к «Бесам» Степан Трофимович обычно именуется фамилией своего реального прототипа — Т. Н. Грановского (1813—1855), русского либерального историка, профессора Московского университета.

[10] Иронический термин «великий писатель» в применении к Кармазинову-Тургеневу в черновых материалах и окончательной редакции «Бесов», очевидно, восходит к полемике Достоевского с Щедриным начала 1860-х годов. В заметке «Литературная подпись» (1863) в ироническом тоне так отозвался о Тургеневе Щедрин, что, по объяснению Достоевского, и побудило его начать полемику с публицистом «Современника» (см.: *Борщевский С.* Щедрин и Достоевский: История их идейной вражды. М., 1956, с. 223). Любопытно, что в 1863 г. в полемике с Щедриным Достоевский дважды защитил Тургенева от нападок сатирика. В статье «Опять „молодое перо"» Достоевский писал: «В вашей статье „Литературная подпись" вы упомянули о Тургеневе, что будто бы он недавно объявил в газетах, что он, Тургенев, *так велик*, что другие литераторы видят его во сне. В статье моей „Молодое перо" я изобличил вас и доказал вам, что Тургенев нигде и никогда не упоминал о том, что его видят другие писатели во сне *собственно потому, что он так велик* 〈. . .〉 вы придали ему слова, совершенно выдуманные вами, которых он *никогда не говорил* и никогда и не думал говорить. А следственно, вы придавали ему смешные и презренные черты характера, которые сами в нем выдумали и тем самым умышленно старались повредить ему лично в общем мнении. . .» (*Д*, XX, 91). Характерно, что в «Бесах» Достоевский повторил сатирический прием Щедрина, приписав Тургеневу автохарактеристику «великий писатель».

[11] *Страхов Н. Н.* Последние произведения Тургенева. — В кн.: Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, с. 151.

[12] На знакомство Достоевского с очерком Тургенева «Воспоминания о Белинском» указывает прямая ссылка на них в подготовительных материалах к «Бесам»: «Тургенев правду сказал про него, что он знал очень мало даже и научно, но он понимал лучше их всех» (*Д*, XI, 73; ср.: *Т*, XIV, 29—33).

[13] Уже в середине 1870-х годов Достоевский в значительной мере пересмотрел свое пристрастное отношение к Белинскому, характерное для конца 1860-х—начала 1870-х годов. Так, в записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский причисляет Белинского к разряду «крайне русских», «чисто русских людей», примкнувших «прямо уже к социалистам, отрицавшим уже *весь* порядок Европы», и признает его любовь к народу (*Д*, XXIV, 203—204). В «Дневнике писателя» за 1876 г. Белинский назван «в высшей степени русским» и «самым крайним бойцом за русскую правду, за русскую особь, за русское начало» (*Д*, XXIII, 40). По существу, Достоевский сближает здесь Белинского с Герценом как своеобразного «разочаровавшегося западника», также пришедшего к отрицанию основ европейской жизни.

[14] *Страхов Н. Н.* Последние произведения Тургенева, с. 133.

[15] Курсив мой. — *Н. Б.* Ср.: «Ноздрев с Байроном — суждение несправедливое и завистливое, но, по-моему, не лишенное ума» — в подготовительных материалах к «Бесам» (*Д*, XI, 192). Само пародийное соединение в характеристике Базарова имен Байрона и Ноздрева, очевидно, было навеяно, как справедливо предполагает К. И. Тюнькин, высказываниями о тургеневском герое М. А. Антоновича и М. Е. Салтыкова-Щедрина (см.: *Тюнькин К. И.* Базаров глазами Достоевского. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 111). В статье «Асмодей нашего времени» (Современник, 1862, № 3) Антонович писал: «По-видимому, г. Тургенев хотел изобразить в своем герое, как говорится, демоническую или байроническую натуру, что-то вроде Гамлета; но, с другой стороны, он придал ему черты, по которым и даже эта натура кажется самою дюжинною и даже пошлою, по крайней мере, весьма далекою от демонизма. И от этого в целом выходит не характер, не живая личность, а карикатура 〈...〉 и притом карикатура самая злостная. . .» (*Антонович М. А.* Избр. статьи. Л., 1938, с. 149). С Ноздревым сравнивал Базарова Салтыков-Щедрин в статье «Петербургские театры» (Современник, 1863, № 1—2).

[16] именно так (*франц.*).

[17] поднимать шум вокруг своего имени (*франц.*).

[18] В письме к А. Н. Майкову от 16 (28) августа 1867 г. Достоевский также противопоставляет атеистам Христа как высший нравственный идеал человеческой личности (*Д, Письма*, II, 31).

[19] *Страхов Н. Н.* «Отцы и дети». — В кн.: *Страхов Н. Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, с. 29, с. 35—36.

[20] *Иванов Вяч.* Основной миф в романе «Бесы». — В кн.: *Иванов Вяч.* Борозды и межи. М., 1916, с. 70.

[21] Ср. со словами Шатова: «Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре»; «Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали свой народ узнавать» (*Д*, X, 199, 202).

[22] По собственному признанию Ставрогина, он не являлся членом Общества, организованного Петром Верховенским, «а если и помогал случайно, то только так, как праздный человек» (*Д*, X, 193). Остались безуспешными также попытки Верховенского прельстить Ставрогина ролью «Ивана Царевича», политического авантюриста и самозванца.

[23] См.: *Назиров Р.* Петр Верховенский как эстет. — Вопр. лит., 1979, № 10, с. 241.

[24] Петр Верховенский откровенно противопоставляет себя как политического авантюриста социалистам, в основе учения которых (и Верховенский прекрасно понимает это) лежит забота о народном благе. Верховенский же преследует узколичные, корыстные цели. В основе его тактики — обман как своих ближайших соратников (лозунгами о всеобщем благе), так и — в перспективе — народа (его порабощение и подчинение деспотической воле).

[25] Характерно, что Виргинский, одна из жертв обмана Верховенского, следующим образом охарактеризован в черновых материалах к роману: «Виргинский серьезный социалист. Он говорит: „Я бы умер за это". Он отстраняется от Нечаева и Инженера: „Это не то"» (т. е. убийство Шатова) (*Д*, XI, 243).

[26] Термин «чистый» западник в применении к Степану Трофимовичу Достоевский заимствует, очевидно, у Н. Н. Страхова. В рецензии на книгу А. Станкевича о Грановском Страхов писал об историке: «Это был *чистый* западник, т. е. западник еще совершенно неопределенный, который одинаково сочувственным взглядом обнимал всю историю Европы, все ее жизненные явления 〈...〉 Итак, сочувствие всему прекрасному и великому, где бы и как бы оно ни являлось, есть единственная формула, в которую можно уловить направление Грановского. В этом смысле его нельзя было бы причислить ни к какой определенной партии — и его деятельность следовало бы признать полезной и плодотворной для всех направлений русской мысли» (Заря, 1869, № 7, с. 159, 161). Здесь же Страхов высказывает идеи, созвучные Достоевскому в период работы над «Бесами», о преемственной связи между западничеством и нигилизмом, об истоках современного нигилизма. Для Страхова, — и это существенно, — современный нигилизм — порождение и неизбежное последствие западничества, хотя «чистые» западники и стремятся всеми силами отмежеваться от своих «нечистых» последователей.

[27] Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1963, т. 22, вып. 6, с. 495—498.

[28] Там же, с. 495.

[29] Там же, с. 495—496.

[30] Идеал вечной красоты символизирует для Степана Трофимовича образ «Сикстинской мадонны» Рафаэля. «Я прочту о Мадонне, — заявил он незадолго до выступления на литературном чтении, — но подыму бурю, которая или раздавит их всех, или поразит одного меня! 〈...〉 Таков мой жребий. Я расскажу о том подлом рабе, о том вонючем и развратном лакее, который первый взмостится на лестницу с ножницами в руках и раздерет божественный лик великого идеала, во имя равенства, зависти и . . . пищеварения» (*Д*, X, 265—266). Возможно, что Достоевский пародирует здесь следующее высказывание Тургенева в «Довольно»: «. . .но разве не та же стихийная сила, не сила природы сказались в палице варвара, бессмысленно дробившего лучезарное чело Аполлона, в звериных воплях, с которыми он бросал в огонь картины Апеллеса» (*Т*, IX, 120). «А я объявляю, — в последней степени азарта провизжал Степан Трофимович (во время выступления. — *Н. Б.*), — а я объявляю, что Шекспир и Рафаэль — выше освобождения крестьян, выше народа, выше социализма, выше юного поколения, выше химии, выше почти всего человечества, ибо они уже плод, настоящий плод всего человечества, и, может быть, высший плод, какой только может быть!» (*Д*, X, 372—373). Ср. у Тургенева в «Довольно»: «Венера Милосская, пожалуй, несомненнее римского права или принципов 89-го года» (*Т*, IX, 119).

[31] Сходство Степана Трофимовича с тургеневскими героями отметил А. Н. Май-

ков, и Достоевский с удовлетворением признал справедливость этого наблюдения в письме к последнему от 4 (14) марта 1871 г.: «. . .у Вас, в отзыве Вашем, проскочило одно гениальное выражение: „*Это тургеневские герои в старости*". Это гениально! Пиша я сам грезил о чем-то в этом роде; но Вы тремя словами обозначили все, как формулой» (*Д*, *Письма*, II, 333).

[32] Тургенев был не так далек от истины, когда с возмущением писал М. А. Милютиной 3 (15) декабря 1872 г., что Достоевский представил его под именем Кармазинова, «тайно сочувствующим нечаевской партии» (*Т*, *Письма*, X, 39).

[33] См.: *Козьмин Б. П.* Герцен, Огарев и «молодая эмиграция». — В кн.: *Козьмин Б. П.* Из истории революционной мысли в России. М., 1961, с. 483—577; см. также: *Герцен*, XI, 713—715, $XX_2$, 788—791.

[34] В одном из писем к Н. П. Огареву, относящемся ко времени работы над статьей «Еще раз Базаров», Герцен отмечает, что «Базаров нравственно — выше последующих базароидов» и что он, Герцен, отталкиваясь от тургеневского персонажа, берет лишь «слабую и нагую верность типа» (*Герцен*, $XXIX_1$, 332). В ряде писем Герцена 1868—1869 гг., полных резких выпадов против некоторых молодых эмигрантов, последние неизменно именуются «базаровыми».

[35] Герцен цитирует высказывание Писарева. См.: *Писарев Д. И.* Базаров. — В кн.: *Писарев Д. И.* Соч. М., 1955, т. 2, с. 21.

[36] вопросов чести (*франц.*).

[37] Ср. у Достоевского: «Этот Базаров это какая-то неясная смесь Ноздрева с Байроном», — а также с характеристикой, которую Степан Трофимович дает современным нигилистам (*Д*, X, 171).

[38] *Страхов Н. Н.* «Отцы и дети». — В кн.: *Страхов Н. Н.* Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом, с. 6.

[39] Достоевский читал «Полярную звезду» и другие издания Вольной русской печати. А. С. Долинин высказал предположения о возможных личных встречах Достоевского во время его пребывания в Женеве в 1867—1868 гг. с некоторыми представителями «молодой эмиграции», в частности с Н. И. Утиным (см.: *Д*, *Письма*, II, 401—402).

# ТЕМА «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ» В ПОСЛЕДНИХ РОМАНАХ ДОСТОЕВСКОГО

В «Дневнике писателя» за 1876 г. (январь, глава первая) Достоевский охарактеризовал роман «Подросток» как «первую пробу» реализации давно задуманного им грандиозного замысла написать «своих» «Отцов и детей» (*Д*, XXII, 7). Ориентация на прославленный роман Тургенева и полемика с его автором («мои» «Отцы и дети») заявлена Достоевским открыто.

«Я давно уже поставил себе идеалом написать роман о русских теперешних детях, ну и конечно о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их отношении ⟨...⟩ Я возьму отцов и детей по возможности из всех слоев общества и прослежу за детьми с их самого первого детства» — так разъясняет Достоевский свою творческую задачу (там же).[1]

Этот грандиозный замысел получил свою идейно-художественную реализацию в «Братьях Карамазовых», а определенными вехами на пути к нему явились «Подросток» и «Дневник писателя» за 1876—1877 гг. Образы детей, проблема детского воспитания занимают в «Дневнике писателя» существенное место. Достаточно напомнить такие главки «Дневника», как «Елка в клубе художников», «Мальчик с ручкой», «Мальчик у Христа на елке», «Колония малолетних преступников», рассказ «Сон смешного человека», дела Кронеберга, Джунковских и некоторые другие.

В эпилоге «Подростка», в черновых материалах к этому роману и в «Дневнике писателя» Достоевский сделал попытку разъяснить, в чем состоит оригинальность его подхода к теме «отцы и дети» по сравнению с Тургеневым и особенно с Л. Н. Толстым.

Современное русское семейство, характерное для пореформенной России, Достоевский определяет как «случайное семейство». По всей вероятности, концепция «случайного семейства», как и само это определение, родилась у него в результате раздумий о дворянском родовом быте, изображенном Толстым в его автобиографической трилогии и в «Войне и мире».

Никогда в предшествующие периоды русской истории, считает Достоевский, семейство «не было более расшатано, разложено, более нерассортировано и неоформлено, как теперь» (*Д*, XXV, 173). «Где вы найдете теперь, — восклицает писатель, — такие „Детства и отрочества“, которые бы могли быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил,

например, нам *свою* эпоху и свое семейство граф Лев Толстой, или как в „Войне и мире“ его же? Все эти поэмы теперь *не более лишь как исторические картины давно прошедшего*. О, я вовсе не желаю сказать, что это были такие прекрасные картины, отнюдь я не желаю их повторения в наше время и совсем не про то говорю. Я говорю лишь об их *характере*, о законченности, точности и определенности их характера — качества, благодаря которым и могло появиться такое ясное и отчетливое изображение эпохи, как в обеих поэмах графа Толстого. Ныне этого нет, нет определенности, нет ясности. Современное русское семейство становится всё более и более *случайным* семейством. Именно *случайное семейство* — вот определение современной русской семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла ⟨. . .⟩ а новый. . . в силах ли она будет создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик?» (там же).

«Случайность» современного русского семейства, помимо случайности его возникновения, состоит прежде всего в утрате современными отцами «общей, связующей общество и семейство идеи» (там же, с. 178), в результате чего исчезает духовная и нравственная преемственность между поколениями «отцов» и «детей», между семейством и обществом.

Отсутствие общей связующей идеи приводит к тому, что среди «отцов» нередко наблюдается «поголовное и сплошное отрицание прежнего» и «ничего положительного» (там же, с. 179). Попытки сказать «положительное» носят частный характер и не вырастают в «общее и связующее». Достоевский выделяет особую категорию «ленивых отцов», которые вообще отказываются принимать какое-либо участие в воспитании собственных детей. «Таким образом, в результате — беспорядок, раздробленность и *случайность* русского семейства» (там же).

Дети в «случайном семействе» не сохраняют духовных и нравственных связей с отцами и вступают в жизнь, ничем не связанные с прошлым, с семьей, с детством. Особенно трагично положение детей в бедных семьях, где они предоставлены случайности. «Нужда, забота отцов отражаются в их сердцах с детства мрачными картинами, воспоминаниями иногда самого отравляющего свойства. Дети вспоминают до глубокой старости малодушие отцов, ссоры в семействах, споры, обвинения, горькие попреки и даже проклятия на них, на лишние рты, и, что хуже всего, вспоминают иногда подлость отцов, низкие поступки из-за достижения мест, денег, гадкие интриги и гнусное раболепство» (там же, с. 180).

Ребенок из такой семьи уносит с собой в жизнь «ожесточенное сердце» и «одну лишь грязь воспоминаний». «Без зачатков положительного и прекрасного нельзя выходить человеку в жизнь из детства, без зачатков положительного и прекрасного нельзя пускать поколение в путь ⟨. . .⟩ без связующей, общей, нравственной и гражданской идеи нельзя взрастить поколение и пустить его в жизнь!» — таково убеждение писателя (там же, с. 181).

Образы детей всех возрастов проходят через «Дневник писателя» 1876—1877 гг. Редко это бездумные, веселые и счастливые дети и подростки, чаще — дети обиженные, страдающие, одинокие, обездоленные, лишенные детства. Характерно, что многие свои задушевные мысли о воспитании, о необходимости любовного и бережного отношения к детям родителей, о недопустимости жестокого обращения с ними Достоевский высказал в связи с судебными делами Кронеберга и Джунковских (1876—1877 гг.), когда писатель публично выступил против истязания детей в этих типично «случайных семействах».

Откликнувшись в «Дневнике писателя» за 1876 г. на очередную трагедию в современном «случайном семействе» (убийство мещанки Перовой ее любовником), Достоевский сразу же задумывается о судьбе оставшихся после нее детей, росших в тяжелых и неблагоприятных для их развития условиях: «Вот опять „случайное семейство", опять дети с мрачным впечатлением в юной душе. Мрачная картина останется в их душах навеки и может болезненно надорвать юную гордость ⟨. . .⟩, а из того не по силам задачи, раннее страдание самолюбия, краска ложного стыда за прошлое и глухая замкнувшаяся в себе ненависть к людям, и это, может быть, во весь век» (*Д*, XXII, 8).

Достоевский подчеркивает опасную власть ложной идеи, теории для юноши, выросшего в «случайном семействе», оторванного от народных традиций и преданий, не вооруженного руководящей жизненной идеей.

Тема поколений в творчестве Достоевского 1870-х годов достигла поистине гражданского звучания.

Достоевский с полным правом мог выступить от лица председателя суда с его «фантастической речью», обращенной к «отцам» («Дневник писателя» за 1877 г.): «Я говорю от лица общества, государства, отечества. Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с Россией, если русские отцы будут уклоняться от своего гражданского долга и станут искать ⟨. . .⟩ отъединения, ленивого и цинического, от общества, народа своего и самых первейших к ним обязанностей» (*Д*, XXV, 192).

## 1

В «Подростке» — новая и усложненная трактовка проблемы поколений, во многом полемичная по отношению к Л. Н. Толстому, историографу «среднедворянской» помещичьей семьи,[2] а отчасти и к Тургеневу.

Полемика с Толстым раскрывается прежде всего в противопоставлении двух типов семейств: «среднедворянского», помещичьего, уже уходящего в прошлое, с его устойчивым бытом, наличием родовых преданий и традиций, выработанных понятий о чести и долге — и «случайного», преобладающего, по мнению Достоевского, типа современного семейства, с характерным для него распадом духовных и нравственных связей между

«отцами» и «детьми», отсутствием традиций, руководящей идеи, неустроенным бытом, хаосом, «неблагообразием». Задача современного романиста (а такова и задача автора «Подростка») — установить внутренние, еще не очень ясные тенденции и закономерности развития «случайного семейства», «изобразить душу и всё, что в душе иного юноши нашего времени, из ⟨. . .⟩ случайных людей и определенного типа, без предания и форм, но уже с жаждой благообразия» (*Д*, XVII, 145).

Яркая сравнительная характеристика этих двух типов семейств дана в черновом варианте «Исповеди Версилова».

«У меня, мой милый, — говорит Версилов Аркадию, — есть один любимый русский писатель. Он романист, но для меня он почти историограф нашего дворянства, или, лучше сказать, нашего культурного слоя. . . ⟨...⟩ В этом „историографе нашего дворянства" мне нравится всего больше вот это самое „благообразие", которого мы с тобой ищем, в героях, изображенных им. Он берет дворянина с его детства и юношества, он рисует его в семье, его первые шаги в жизни, его первые радости, слезы, и всё так поэтично, так незыблемо и неоспоримо. Он психолог дворянской души. Но главное в том, что это дано как неоспоримое, и, уж конечно, ты соглашаешься. Соглашаешься и завидуешь. О, сколько завидуют! Есть дети, с детства уже задумывающиеся над своей семьей, с детства оскорбленные неблагообразием отцов своих, отцов и среды своей, а главное, уже в детстве начинающие понимать беспорядочность и случайность основ всей их жизни, отсутствие установившихся форм и родового предания. Эти должны завидовать моему писателю, завидовать его героям и, пожалуй, не любить их. О, это не герои: это милые дети, у которых прекрасные, милые отцы, кушающие в клубе, хлебосольничающие по Москве, старшие дети их в гусарах или студенты в Университете, из имеющих свой экипаж. Писатель выставляет их со всею откровенностью: они лично часто даже смешны и забавны, нередко и ничтожны, но как целое, как сословье, они бесспорно изображают собою нечто законченное. В основах этого высшего слоя русских людей уже лежит что-то незыблемое и неоспоримое. Тут всякий индивидуум может иметь свои слабости и быть очень смешным, но он крепок целым, нажитым в два столетия, а корнями и раньше того ⟨...⟩ Как бы там ни было хорошо всё это или дурно само по себе, но тут уже выжитая и определившаяся форма, тут накопились правила, тут своего рода честь и долг. О, они не в одной Москве и не в одних только клубах, и не всё хлебосольничают: историк раздвигает самую широкую историческую картину культурного слоя. Он ведет его и выставляет в самую славную эпоху отечества. Они умирают за родину, они летят в бой пылкими юношами или ведут в бой все отечество маститыми полководцами. О, историк беспристрастен, реальность картин придает изумительную прелесть описанию, тут рядом с представителями талантов, чести и долга — сколько открыто негодяев, смешных ничтожностей, дураков» (там же, с. 142—143).

Достоевский отмечает эволюцию русской дворянской семьи в пореформенный период, сложные процессы, в ней происходящие. Если в недавние еще времена многие из «случайных» и «завидующих» кончали тем, что «прирастали» к «высшему культурному слою», то с недавнего времени стало происходить «нечто обратное»: «от красивого типа отрываются, с веселою торопливостью, куски и комки и сбиваются в одну кучу с беспорядствующими и завидующими» (*Д*, XIII, 454). Семейство Версилова может служить ярким примером того, как родовые дворянские семейства «с неудержимою силою переходят массами в семейства *случайные* и сливаются с ними в общем беспорядке и хаосе» (там же, с. 455).

Достоевский сознательно противопоставляет «благообразию» толстовского героя «из русского родового дворянства» (а в нем единственно «возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления») неблагообразие «случайного юноши» Аркадия Долгорукого с его «мстительной жаждой благообразия». В характерных для него ранних «порывах безумия» заключена «жажда порядка» и «искания истины» (там же, с. 453).

Типичный представитель «случайного семейства», незаконнорожденный сын дворянина Версилова и крестьянки, носящий, как в насмешку, княжескую фамилию бывшего дворового своего отца, Аркадий Долгорукий с детства воспитывался вне семьи, в пансионе Тушара, где он подвергался нравственным унижениям и оскорблениям вследствие своего положения незаконнорожденного.

Аркадий вступает в жизнь «неготовым человеком», почти не вынесшим из детства светлых воспоминаний, не получившим от своего отца в наследство руководящей жизненной идеи. Он самостоятельно должен найти ответ на вопрос, что добро и что зло.

«Я взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата, раннею ненавистью за ничтожность и „случайность“ свою и тою широкостью, с которою еще целомудренная душа уже допускает сознательно порок в свои мысли, уже лелеет его в сердце своем, любуется им еще в стыдливых, но уже дерзких и бурных мечтах своих, — всё это оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на бога. Всё это выкидыши общества, „случайные“ члены „случайных“ семей» — так характеризует Достоевский своего юного героя в «Дневнике писателя» за 1876 г. (*Д*, XXII, 8).

В «Подростке» Достоевский снова обращается к «уединенному», «подпольному» типу сознания. Наиболее подробно противоречивые черты характера Аркадия раскрыты в черновиках к «Дневнику писателя» за 1876 г. Достоевский подчеркивает, что он выбрал не «серединную», а «уединенную» натуру, с детства страдающую от своего незаконного положения в обществе. Подросток добр, великодушен, но постоянно рисуется своей добротой и своим великодушием. В нем противоречиво соединяются желание мстить людям и страстное желание простить и любить их (там же, с. 174). Сам Аркадий с ужасом сознает «широкость» своей натуры, способность «лелеять в душе своей высочайший

идеал рядом с величайшею подлостью, и всё совершенно искренно» (*Д*, XIII, 307). Он одновременно ощущает в себе «душу паука» (власть над Ахмаковой благодаря владению «документом») и жажду «благообразия».

В одном из черновиков к «Подростку» Достоевский следующим образом формулирует главную идею романа: «. . .Подросток хотя и приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа» (*Д*, XVI, 51).

Самый замысел «воспитательного романа» — показать постепенное идейное и нравственное становление юноши из «случайного семейства», ищущего руководящую идею жизнестроительства, — уже определяет особое значение идеи в этом романе. Ведь «пробная идея» Подростка неизбежно должна пройти определенные испытания не только при столкновении с жизнью, но и с другими идеями.

В «Подростке» богатый мир идей, они живут своей особенной жизнью, среди них есть идеи малые и большие, «великие» и «самые великие». Все основные герои романа одержимы той или иной идеей, она владеет ими, определяя их жизненный путь. Носителями идеи является не только «скиталец» Версилов, главный идеолог романа, представитель «высшей русской культурной мысли» о всепримирении европейских идей и противоречий, но и (стихийно) простой крестьянин Макар Иванович Долгорукий, мечтающий о «едином бесценном рае» на земле, о подлинном человеческом братстве, где не будет «ни сирот, ни нищих» (*Д*, XIII, 311).

У Аркадия — «пробная» «ротшильдовская» идея накопления богатства, при помощи которого он надеется достигнуть личной независимости и могущества. Крафта «съела идея» о второстепенности России, вследствие чего он застрелился. Дергачевцы являются носителями социалистического идеала, во имя которого они осудили современный мир на беспощадное разрушение.

«Великая мысль», «высшая идея» в разъяснении Версилова — «это всегда было то, из чего истекала живая жизнь, то есть не умственная и не сочиненная, а, напротив, нескучная и веселая. . .» (там же, с. 178).[3]

Идеи дергачевцев, Крафта, Аркадия, по мнению Версилова, не вытекают из «живой жизни», имеющей истоки в народной «почве» и народных нравственных идеалах, а носят книжный, теоретический характер.

По одному из первоначальных планов роман «Подросток» предполагалось озаглавить «Беспорядок».

«Вся идея романа, — говорится в этом плане, — это провести, что теперь беспорядок всеобщий, беспорядок везде и всюду, в обществе, в делах его, в руководящих идеях (которых по тому самому нет), в убеждениях (которых по тому же нет), в разложении семейного начала. Если есть убеждения страстные — то только

разрушительные (социализм). Нравственных идей не имеется, вдруг ни одной не осталось, и главное ⟨...⟩ что как будто их никогда и не было ⟨...⟩

— Ты, вот, говорит ОН (Версилов. — *Н. Б.*) Подростку, — выбрал идею о Ротшильде. Этой идеей ты мо⟨же⟩шь тоже свидетельствовать о нравственном беспорядке. Ты хочешь удалиться в *свою* нору от всех и берешь к тому меры.[4] ⟨...⟩ Долгушины — нравственный беспорядок.

— Пусть *они* ошибаются, — говорит Подросток, — но у *них* убеждение чести и долга, след⟨овательно⟩, уже нет беспорядка.

— Убеждение чести и долга ко всеобщему разрушению — хорош порядок; впрочем, я и спорить не хочу, — говорит ОН» (*Д*, XVI, 80—81).

Идея социализма, сведенная Версиловым к проблеме удовлетворения материальных потребностей народа, охарактеризована как «великая», но «второстепенная».

Версилов на просьбу Аркадия указать ему «великую мысль» отвечает:

«— Ну, обратить камни в хлебы — вот великая мысль.

— Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь; скажите же: самая великая?

— Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас же скажет: „Ну вот я наелся, а теперь что делать?“. Вопрос остается вековечно открытым» (*Д*, XIII, 173).[5]

Понятие «благообразие» в «Подростке» восходит к «Войне и миру» и образу Платона Каратаева. Е. И. Семенов справедливо полагает, что внимание Достоевского обратил на это слово Н. Н. Страхов в цикле статей «Литературная деятельность Герцена», где приведена подробная характеристика Платона Каратаева и отмечено его тяготение к «торжественному благообразию». Платон Каратаев, жизнь которого, «как он сам смотрел на нее, не имела смысла как отдельная жизнь. Она имела смысл только как частица целого. . .»,[6] может служить, по мнению Страхова, удачным примером подлинного разрешения противоречий между частным и общим, примером того, как *«эгоистическое, естественное сердце* превратилось в *всех-скорбящее* и даже всех-радующееся».[7]

Известные параллели можно усмотреть не только в понимании «благообразия» у Толстого и Достоевского (оба писателя связывают его прежде всего с отречением личности от узколичного, эгоистического начала и живой сопричастностью ко всему сущему). Знаменательно, что герои-интеллигенты Толстого и Достоевского (Пьер Безухов и Версилов) находят нравственную красоту и «благообразие» в простом русском народе, представителями которого являются Платон Каратаев и Макар Иванович. Характерна в этом отношении черновая заметка Достоевского в записной тетради к «Дневнику писателя» за 1876 г.: «Ибо кто не верит

в красоту народа, тот ничего в нем ⟨не⟩ понимает. Не в сплошную красоту народа, а в то, что он уважает как красоту. К тому же в нем свет и мрак вместе. Свет, положительная сторона его такова, что научит нас и возродит весь мир. Мрак таков, что мы, испорченный народ, необходимо должны прийти с излечением». На полях рядом с этим текстом приписано: «Я Макара. Лев Николаевич Каратаева» (*Д*, XXIV, 145—146).

В понятии «благообразие» в романе «Подросток», объединяющем этический и эстетический моменты, по определению Е. И. Семенова, «заключается, в сущности, утопия нравственной гармонии, предполагающей внутреннюю устремленность каждого из членов человеческого общества к „единой истине". Признание собственной ценности за внеположным человеку предметом, бесконечное желание блага себе подобному, всему человеческому роду (не только живущим, но и будущим поколениям), существование в единстве с природным и общественным целым — вот, по-видимому, условия того, „чтобы мир был самое прекрасное и веселое и всякой радости преисполненное жилище"».[8]

Символ «благообразие», как и «живая жизнь», наполнен у Достоевского богатым нравственно-философским содержанием. Так, например, под «благообразием» уходящих в прошлое дворянских семейств Достоевский подразумевал, как это отмечалось выше, свойственную им красоту и законченность форм, наличие родовых преданий и традиций, выработанные веками понятия о долге, чести и т. д. Один из аспектов полемики Достоевского с Толстым в «Подростке», отмеченный еще А. Л. Бемом, — вопрос о дворянстве.[9]

Признав «благообразие» изображенного Толстым дворянского родового быта, Достоевский, однако, противопоставил ему свое более высокое понимание «благообразия» дворянства: последнее перестанет быть замкнутым сословием и обратится в собрание «лучших людей» нации, примкнуть к которому даст право «всякий подвиг чести, науки и доблести» (*Д*, XIII, 178). Именно в таком смысле является в романе «Подросток» «дворянином» простой крестьянин Макар Иванович Долгорукий, которого писатель намеренно наделил княжеской фамилией. Как лучший представитель своего сословия, он тоже «дворянин».[10]

В идее «духовного дворянства» отразилась мечта писателя-гуманиста об уничтожении в России всех сословных перегородок, о сближении интеллигенции с народом.

Однако представление Достоевского о высшем, подлинном благообразии, свидетельствующем о сопричастности человека к «живой жизни», было связано не с дворянскими, а с народными нравственными идеалами, с «народной правдой». Это истинное «благообразие» Достоевский противопоставляет нравственному беспорядку, хаосу, душевной раздвоенности русской интеллигенции, обусловленным ее отрывом от народных истоков. Не случайно единственным носителем подлинного «благообразия» в романе является крестьянин Макар Иванович.[11]

«Благообразие» Макара Ивановича свидетельствует не только о его сопричастности к «живой жизни», но и о глубинной связи с «землей». «Земля» — один из ключевых религиозно-философских символов у Достоевского, определяющих отношение человека к миру. В истолковании Б. М. Энгельгардта «земля» — это «вся природа, и люди, и звери, и птицы, — тот прекрасный сад, который взрастил господь, взяв семена из миров иных и посеяв на сей земле. Это высшая реальность и одновременно тот мир, где протекает земная жизнь духа, достигшего состояния истинной свободы. . . это третье царство, — царство любви, а потому и полной свободы, царство вечной радости и веселья».[12]

## 2

Основным реальным прототипом Версилова явился, как убедительно показал А. С. Долинин, А. И. Герцен.[13] В интерпретации личности и взглядов Герцена Достоевский периода работы над «Подростком» был близок Н. Н. Страхову, автору литературно-критических статей о Герцене, первоначально публиковавшихся в «Заре» 1870 г., а затем вошедших в его книгу «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1882, кн. 1).

В характеристике Страхова Герцен предстает как глубокий пессимист и скорбный созерцатель заката старого европейского мира, наделенный, если употребить выражения Достоевского, «всемирной отзывчивостью» и способностью «общечеловеческого боления», переживший свое разочарование в Европе как личную драму. Страхов неоднократно подчеркивает то чувство сердечной боли, которое испытывал Герцен при виде крушения старого мира. Сердце Герцена было поражено смертельной скорбью, потому что «мир болен». «По собственной боли Герцен имел немалое право судить о состоянии Запада».[14]

Идейно-нравственная эволюция Версилова, как справедливо отметил А. С. Долинин, — внезапный отъезд за границу «из тоски», когда Версилов «разженился с мамой», скитания по Европе, крушение веры в буржуазную Европу, вновь воскресшая любовь к «маме» — России[15] — все это имеет определенные аналогии в биографии Герцена, закончившего «духовным возвращением на родину». Исторической параллелью к революции 1848 г., поражение которой породило у Герцена глубокий пессимизм, в романе Достоевского служат франко-прусская война, поражение Франции, Парижская Коммуна, сожжение Тюильри. Как «единственный европеец» в тогдашней Европе, Версилов понимал «неотразимость текущей идеи», вследствие чего сожжение Тюильри «хоть и преступление, но всё же логика» (*Д*, XIII, 376). Однако как носитель «высшей русской культурной мысли» о всепримирении идей он со скорбью наблюдал закат старого европейского мира.[16]

Не исключено, что новое обращение Достоевского к сочинениям

Герцена, о котором ему напомнили статьи Страхова, во многом обусловили новую по сравнению с «Бесами» интерпретацию в «Подростке» нигилизма «отцов», поколения передовой либерально-демократической дворянской интеллигенции 1840-х годов, к которому идейно близок Версилов, что в свою очередь определило иную трактовку проблемы поколений в этом романе. Сохраняя определенные отрицательные черты, нигилизм «отцов» наполняется теперь также позитивным содержанием.

«Воззрения Герцена, — пишет Страхов, — можно назвать *нигилизмом*; но 〈...〉 это не была одна из тех многочисленных форм нигилизма, которые стали ходячими и в которых воплотилась всяческая форма глупости. Это был нигилизм в самом чистом своем виде, в наилучшей и наиблагороднейшей своей форме. Это было вольнодумство до того страшное, резкое, сознательное, последовательное, что оно 〈...〉 переходило в воззрения прямо противоположные, почти равнялось отречению от всякого вольнодумства».[17]

Чистоту и бескомпромиссную последовательность нигилизма Герцена Страхов усматривает прежде всего в том, что он, бывши отрицателем у себя на родине, перенес это отрицание и на буржуазную Европу.

Сперва — «в силу естественного идеализма» — «отречение от своего, русского», потом «такое же отречение от чужого в силу тех же напряженных идеалов, в силу их последовательного приложения» — такова была, по Страхову, идейная эволюция Герцена, закончившаяся его духовным возвращением на родину.[18] «Отчаявшийся западник превратился в нигилистического славянофила, а во многих отношениях оказался истинно русским человеком» — таковы, по мнению Страхова, итоги этой эволюции. В Герцене, по словам Страхова, отразилась «чрезвычайная высота народных идеалов, которая проникает собою нашу историю 〈...〉 нигилизм Герцена есть одно из проявлений напряженной идеальности русского ума и сердца».[19]

Характерно, что Страхов признал известное прогрессивное историческое значение истинного нигилизма, ярким представителем которого в его глазах был Герцен. «Как последовательное развитие западничества, нигилизм нужно считать прогрессом в нашем умственном движении. В чистом виде, то есть так, как он явился у Герцена, нигилизм — глубокое и искреннее усилие мысли и потому не представляет тех отвратительных черт, в которых он является на своих низших степенях и в своих обыкновенных уклонениях».[20]

В черновых подготовительных материалах к «Подростку» нередки суждения о нигилизме и нигилистах.

Версилов, отнесший себя к числу «старых людей» (в «Дневнике писателя» за 1873 г. так названы виднейшие представители «поколения 40-х годов» Белинский и Герцен — см.: *Д*, XXI, 8—12), в беседе с Аркадием характеризует старшее и молодое поколение: «Нигилисты — это в сущности были мы, вечные искатели высшей

идеи. Теперь же пошли или равнодушные тупицы, или монахи. Первые — это „деловые", которые очень, впрочем, нередко застреливаются, несмотря на всю свою деловитость. А монахи — это социалисты, верующие до сумасшествия, эти никогда не застреливают⟨ся⟩.

— Полноте, нигилисты ли не застреливаются?

— Это попавшие в нигилизм ошибкой. Нигилизм без социализма — есть только отвратительная нигилятина, а вовсе не нигилизм. Так и называй: „нигилятина". Тут или глупость, или мошенничество, или радость праву на бесчестье, но вовсе не нигилизм. Всего же чаще радость праву на бесчестье. Настоящий нигилизм, истинный и чистокровный, это тот, который стоит на социализме.[21] Тут все — монахи. Чистый монастырь, вера беспредельная, сумасшедшая. Потому-то и отрицается все, что противно социализму, что веруют. Все, что не по вере их, то и отрицается.

*А что не по вере их?* Весь наш мир. Вот наш весь мир и отрицается.

*Подросток*. Что ж, тут все разряды или есть еще?

— Есть еще третий разряд — чистокровные подлецы всех сортов, но эти всегда и везде одинаковы, так что не стоит и говорить ⟨...⟩

⟨...⟩ Настоящий нигилист не может, не должен, не смеет ни с чем из существующего примириться. На сделки он не смеет идти ни под каким видом. Да и знает, что никакая сделка решительно невозможна» (*Д*, XVI, 76—77; ср.: там же, с. 53, 80, 285).

Итак, принадлежность к «истинному», «чистокровному» нигилизму определяется последовательным отрицанием существующей действительности во имя «высшей», «великой» идеи (или неустанных поисков ее).[22] Таким образом, «отцы», представители передовой дворянской интеллигенции 1830—1840-х годов, «вечные искатели высшей идеи», являются «истинными» нигилистами.

Нигилистов, принадлежащих к молодому поколению 1870-х годов, Версилов разделяет на «деловых» (Крафт), «нигилятину», радующуюся «праву на бесчестье» (Ламберт), и «истинных» нигилистов. Последние «стоят на социализме» и ни с чем из существующего примириться не могут. Сочетание беспощадного отрицания с «беспредельной, сумасшедшей верой» в свой идеал, в «великую идею» отчасти сближает их с «отцами», беспокойными и тоскующими искателями «высшей идеи». В романе к подобным нигилистам относятся дергачевцы (долгушинцы), характерными чертами которых являются присущие молодому поколению 1870-х годов честность и «искание правды». Однако, по мысли Достоевского, это теоретики, оторванные от народной «почвы» и «живой жизни» и проповедующие «разрушительные», лишенные «благообразия» идеи.

Обращение к черновым материалам свидетельствует, что роман «Отцы и дети» был в сфере внимания Достоевского в период работы над «Подростком» и сыграл определенную (хотя и не

столь существенную, как упоминавшиеся выше произведения Толстого) роль в формировании концепции поколений в романе.

Тургеневская концепция «отцов» и «детей» получила в «Подростке» сложное преломление.

Размышляя о представителях старшего и молодого поколения и характере их взаимоотношений (речь идет об отце и сыне в прямом значении этого слова), Достоевский своеобразно переосмысливает тургеневскую формулу «Отцы и дети». Об этом свидетельствует запись:

«ИДЕЯ.

ОТЦЫ И ДЕТИ — ДЕТИ И ОТЦЫ. Ибо — сын, намеревающийся быть Ротшильдом, — в сущности *идеалист*, т. е. новое явление как неожиданное следствие нигилизма» (*Д*, XVI, 45).

В романе Тургенева «отцы» — либералы-идеалисты 1840-х годов, «дети» — нигилисты-материалисты (Базаров). Аналогичную расстановку поколений наблюдаем в «Бесах» (Степан Трофимович и Петр Верховенский). Однако в «Бесах», как уже отмечалось выше, Достоевский существенно переосмыслил тургеневскую концепцию поколений. Оказывается, что «отцы», «чистые» западники-идеалисты 1840-х годов, идейно породили нечаевых, унаследовавших от своих «отцов» такие «нигилистические» черты, как неверие в самобытность России, разрыв с родной «почвой» и «народной правдой», атеизм, космополитизм и т. д. В «детях» эти черты лишь получили однобокое, уродливое развитие.

В черновых материалах к «Подростку» представитель поколения «отцов» Версилов, идейно близкий к либералам 40-х годов, сам характеризует себя как истинного, чистокровного «нигилиста», вкладывая в это понятие иное содержание. Под «нигилизмом» в данном случае подразумевается бескомпромиссное (герценовское) отрицание существующей действительности как не соответствующей высшему идеалу. В то же время «дети» (Аркадий), ощущающие насущную потребность в идее жизнестроительства, предстают как своеобразные идеалисты. В отличие от представителей молодого поколения в «Отцах и детях» (Базаров) и «Бесах» (Петр Верховенский) Аркадий Долгорукий не отрицает духовной преемственной связи между поколениями, напротив, он стремится получить руководящую жизненную идею от отца. («Я тогда его засыпа́л вопросами, я бросался на него, как голодный на хлеб», чтобы узнать, «что именно мне делать и как мне жить» — *Д*, XIII, 171, 172). Версилов же не в состоянии передать сыну «твердой мысли» и нравственного благообразия.

В одной из черновых записей к «Подростку» Версилов обращается к сыну с такими словами: «...это плоды банкрутства старого поколения. Мы ничего не передали новому в назидание, ни одной твердой мысли. А сами всю жизнь болели жаждою великих идей. Ну, что бы я, например, тебе передал?» (*Д*, XVI, 282).

Идейная и нравственная несостоятельность «отцов» — причина «неблагообразия» «детей» — таков один из аспектов проблемы поколений в романе.[23]

Однако вечный «скиталец» и «высший нигилист» Версилов, как и Аркадий, страстно жаждет «благообразия». Тем самым в романе как бы намечается определенная идейно-нравственная связь между отцом и сыном.

Таковы те новые закономерности и тенденции развития «случайного семейства», которые улавливает его «историограф» Достоевский. Иной подход Достоевского к проблеме поколений в «Подростке» во многом обусловлен изменившимся, ставшим более мягким и терпимым отношением писателя как к «отцам», представителям передовой дворянской либерально-демократической интеллигенции, так и к «детям», молодому современному поколению различных политических направлений, которым нужна «только правда».

Окончательное становление личности Аркадия остается за пределами романа. Представляется несомненным, однако, что идея духовной и нравственной преемственности между поколениями, необходимости усвоения «детьми» всего лучшего из «наследия» «отцов» получила в романе свое выражение.

Аркадий является наследником духовного опыта двух «отцов», и оба они — лучшие представители своего сословия.

Версилов — дворянин-либерал, учился в русском и германском университетах, в прошлом участвовал в Крымской кампании. Служил мировым посредником первого призыва. Не примкнув к герценовской «пропаганде», скитался за границей как представитель «высшей русской культурной мысли». В «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский не без легкой иронии характеризует Версилова как «одного из русских людей нашего времени, сороковых годов, бывших помещиков-прогрессистов, страстных и благородных мечтателей рядом с самою великорусскою широкостью жизни на практике. Сам этот помещик — тоже без всякой веры и тоже обожает человечество, „как и следует русскому прогрессивному человеку“» (*Д*, XXII, 97; ср. с характеристикой, данной Версилову Николаем Семеновичем в эпилоге романа, — *Д*, XIII, 454).

Макар Иванович Долгорукий воплощает в себе лучшие, исторически сложившиеся черты русского народа: он «дворянин» в том высшем смысле, которое вкладывает в это понятие Версилов.

Несмотря на то, что ни Версилов, ни Макар Иванович не могут указать Аркадию конкретного пути жизнестроительства,[24] их влияние на Аркадия благотворно.

Очевидно, будущая идея Аркадия должна представить синтез идей — «высшей русской культурной мысли» и «народной правды», «благообразия», той нравственной красоты, цельности и гармонии, которая присуща лишь народу в его лучших представителях и свидетельствует о его сопричастности к «живой жизни».[25]

Возврат интеллигента Аркадия к «народному корню», к народным истокам во многом облегчен тем, что его мать — простая крестьянка, наделенная, подобно Макару, лучшими русскими национальными чертами.

Соединение интеллигенции с народом, о чем страстно мечтал Достоевский в 1860—1870-е годы, призваны осуществить «дети», которым «отцы», «трагические скитальцы», оторванные от родной «почвы», оставили в наследство свой нравственный максимализм, неуспокоенность, тоску по высшему идеалу и «благообразию», презрение к буржуазному комфорту и житейской пошлости.[26]

«Народная правда сольется с нашею, и мы пойдем вместе» (*Д*, XVI, 431) — эти слова Версилова в черновиках к «Подростку» выражают сокровенную мечту автора «Дневника писателя» и «Братьев Карамазовых».

## 3

Сохранившийся план к неосуществленному замыслу романа, озаглавленный в черновиках «Отцы и дети» (1876), представляет следующую после «Подростка» попытку Достоевского художественно реализовать давний замысел. Сюжетно он связан с некоторыми черновыми заметками к «Подростку» (*Д*, XVI, 5—6) и «Дневником писателя» за 1876 г. Достоевский снова обращается к теме «случайного семейства», характеристика которого дана в эпилоге «Подростка» и на страницах «Дневника писателя».

В плане романа намечены образы, конфликты, сюжетные ситуации, типичные, по мнению писателя, для «случайного семейства» с его беспорядком, хаосом, раздробленностью. Здесь фигурируют брошенные родителями дети, дети, бежавшие от родителей, дети-сироты, мальчик, сидевший в колонии для малолетних преступников, ребенок, отданный на воспитание в Фребелевскую школу, подростки и гимназисты, дети с различными характерами и наклонностями — испорченные, порочные, изуродованные воспитанием, и дети чистые, искренние, ищущие правды и справедливости.

Одна из сюжетных линий задуманного романа — убийство мужем жены на глазах у девятилетнего сына — по всей вероятности, навеяна газетным сообщением об убийстве мещанки Перовой ее любовником и самоубийстве убийцы. После Перовой остались два малолетних мальчика, которые были очевидцами тяжелых сцен, происходивших между их матерью и ее любовником.

Поведение в неосуществленном замысле романа отца-убийцы, решившего предать себя «для правды и для сына, и для *правды перед сыном»* (*Д*, XVII, 7), имеет определенную аналогию в «Братьях Карамазовых». Одним из мотивов, побудивших Таинственного посетителя сознаться в давно содеянном преступлении, явилось чувство нравственной ответственности перед своими детьми.

Очевидно, Достоевский намеревался использовать в романе материалы дела Кронеберга, истязавшего собственную малолетнюю дочь («Дневник писателя» за 1876 г., февраль, глава вторая). Об этом свидетельствует одна из черновых записей плана.

По справедливому наблюдению Л. М. Розенблюм, «детская тема» в «Братьях Карамазовых» получила предварительную творческую разработку в «Дневнике писателя» 1876—1877 гг. и в записных тетрадях к нему. Первостепенное значение для творческой истории «Братьев Карамазовых» имело дело Кронеберга, определившее в значительной степени две важнейшие темы будущего романа — «случайное семейство» и страдания малолетних детей — и ставшее одним из «романообразующих» впечатлений Достоевского. «У самых ранних истоков „Братьев Карамазовых", — пишет исследовательница, — мы видим образ замученного ребенка. Он получит большое значение не только в идеологии, но и во всем построении уже законченного романа. Кроме Ивана, с темой и судьбой погибающего ребенка (Илюши Снегирева) связаны все братья. Дмитрий, жестоко надругавшийся над отцом мальчика, становится невольной причиной его несчастий (ожесточение, ссора с товарищами, смертельная болезнь после удара камнем). 〈...〉 Как для Ивана страдания детей символизируют все слезы человечества, которыми пропитана земля „от коры до центра", так и для Мити плач голодного крестьянского ребенка олицетворяет судьбу народную. В обоих случаях голос писателя сливается с голосом героя».[27]

Тема поколений получила в последнем романе Достоевского глубокую и разностороннюю разработку — в семейно-бытовом, социально-историческом и нравственно-философском аспектах.

В более узком плане — это тема взаимоотношений между представителями старшего и младшего поколений в «случайном семействе» Карамазовых, для которого характерна почти полная утрата духовных и нравственных связей между ее членами. Эти связи утрачиваются уже в раннем детстве, так как дети Федора Павловича, брошенные им на произвол судьбы, воспитывались на задворках слугой Григорием и были лишены отеческой любви и заботы. Юность их также протекала вне родительского дома.

Конфликт между поколениями, доведенный до крайних пределов, вылился в отцеубийство, совершенное незаконным сыном Федора Павловича Смердяковым. Однако нравственную ответственность за убийство несут, по мысли Достоевского, Иван, идейный учитель Смердякова, развивавший ему идею «вседозволенности» и не предотвративший готовящегося убийства, и Дмитрий, ненавидевший отца на почве ревности и лишь случайно не убивший его («слезы ли чьи, мать ли моя умолила бога, дух ли светлый облобызал меня в то мгновение — не знаю, но черт был побежден» — *Д*, XIV, 425—426).

Достоевский всегда помнил, что из детей и подростков слагаются поколения будущих деятелей русского прогресса. В «Братьях Карамазовых» писатель наконец осуществил свое намерение изобразить детей из «многоразличных слоев общества», показать их формирование и становление, наметить связующую их общую идею (Илюша Снегирев, Коля Красоткин, «мальчики»).

В широком историко-социальном и нравственно-философском

аспектах тема поколений в «Братьях Карамазовых» — это эпическая тема настоящего, прошедшего и будущего России, движущих сил ее исторического прогресса, путей и средств его достижения; это тема нравственного обновления, преображения человека, общества и человечества в целом как необходимого условия частного и общего развития и тесно связанная с ней тема сближения русской интеллигенции с народом, с его нравственными идеалами.

Прошлое — это доживающая свой век помещичье-дворянская Россия, настоящее — пореформенная Россия, для которой характерны хаос, неустроенность, становление нового, горячая жажда «правды» молодым поколением и мучительные поиски ее; будущее — это молодая Россия, уже связанная глубокими корнями с народом и нашедшая в нем свою «правду».[28]

Можно усмотреть известную перекличку между идейно-философской проблематикой последнего романа Достоевского, с одной стороны, и романами Тургенева «Отцы и дети», «Дым» и «Новь» — с другой. Однако по грандиозности замысла, широте постановки проблемы поколений и глубине философских обобщений «Братья Карамазовы» значительно превосходят названные романы Тургенева.

Проблема «отцов и детей» занимает существенное место в размышлениях геров романа (Федора Павловича, его сыновей, Зосимы, Таинственного посетителя). Она является основополагающей в нравственно-философских исканиях Ивана, в его концепции мира и человека.

Согласно логике Ивана, пришедшего к отрицанию «мира божьего» по этическим мотивам, страдания взрослых еще можно как-то объяснить с христианской точки зрения (возмездие за «первородный грех» и последующее зло). Однако страдания ни в чем не повинных детей бессмысленны.

«. . .если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? — спрашивает Иван Алешу. — Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? ⟨...⟩ Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то, уж конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна» (там же, с. 222).

Ответ Ивану на его тезис «Страдания есть ⟨...⟩ виновных нет» (там же) содержится в глубоко прочувствованных словах Мити о всеобщей вине и всеобщей ответственности людей за зло и страдания, царящие в мире.

Митя, который всю жизнь «жаждал благородства ⟨...⟩ а между тем всю жизнь делал одни только пакости» (там же, с. 416), в результате пережитого им нравственного потрясения интуитивно, сердцем постигает истину.

По словам самого писателя, Митя «очищается сердцем и совестью под грозой несчастья и ложного обвинения. Принимает

душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной ошибкой 〈...〉 Нравственное очищение его начинается уже во время нескольких часов предварительного следствия. . .» (*Д, Письма*, IV, 118).

Сон о голодном крестьянском ребенке, плачущем у иссохшей груди матери,[29] впервые заставляет Митю задуматься о горе человеческом и горе народном. «Брат, — говорит он Алеше, — я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром 〈...〉 Зачем мне тогда приснилось „дитё" в такую минуту? „Отчего бедно дитё?" Это пророчество мне было в ту минуту! За „дитё" и пойду. Потому что все за всех виноваты. За всех „дитё", потому что есть малые дети и большие дети. Все — „дитё". За всех и пойду, потому что надобно же кому-нибудь и за всех пойти» (*Д*, XV, 30—31).

Идея всеобщей вины и ответственности за все, происходящее в мире, выражена в романе очень отчетливо. Она получила свое художественное воплощение в судьбах главных и второстепенных героев романа, в поучениях Зосимы, в словах и подвиге Таинственного посетителя. Эта идея противопоставлена тезисам Ивана — «Если бога нет, то всё дозволено»; «Нет преступления, нет и греха».

Каждый за «всех и вся *и за все*» в ответе и потому несет часть общей вины и ответственности за зло и страдания, царящие в мире. Если бы все люди осознали эту истину и оказались способными к нравственному обновлению, на земле наступило бы братство («Были бы братья, будет и братство. . .» — поучает Зосима — *Д*, XIV, 286; ср. слова Таинственного посетителя: «Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит братства» — там же, с. 275).

Такова социально-этическая утопия Достоевского и попытка дать ответ на трагические противоречия человеческого бытия.

Иван, признавший на словах причастность людей (взрослых) злу и их общую ответственность за него, себя в то же время не считает виноватым: он только судит мир, но не берет на себя части общей вины и ответственности. По мысли Достоевского, Иван любит человечество «мечтательной», отвлеченной любовью. Его нравственный нигилизм, безверие, равнодушие и даже неприязнь к своим близким, особенно к отцу и Мите («Один гад съест другую гадину, обоим туда и дорога!»; «Сторож я, что ли, моему брату Дмитрию?» — там же, с. 129, 211), наконец, его антигуманная теория «все позволено» объективно служат злу (нравственная вина за смерть отца, Смердякова, осуждение Мити), следовательно, в широком смысле несут зло и «деткам», горячим защитником которых он выступает, так как «отцы и дети» должны быть связаны друг с другом нерасторжимой связью, узами взаимной любви, уважения и ответственности друг за друга, а страдания одних влекут за собой страдания других (обида, нанесенная

Дмитрием Карамазовым отцу Илюши Снегирева, имела роковые последствия для самого мальчика). Это не только ответ Ивану, но и один из ответов на проблему поколений в романе.

Намерение Мити пострадать за «дитё» и принять на себя часть всеобщей вины и ответственности «за всех и вся» свидетельствует о том, что «глупый» Митя, по мысли Достоевского, ближе к народной нравственной правде, чем премудрый Иван. Именно Митя после пережитого им нравственного переворота остро осознает оторванность своего сословия от народа, стыдится своей прежней праздной пустой жизни, мечтает о мужицком труде. Многие мысли Мити находят подкрепление в суждениях Зосимы, исполненных наивного демократизма и своеобразной народной мудрости.[30]

Проблема поколений является центральной в выступлениях на суде прокурора и защитника.

Несколько утрированная, но по существу меткая характеристика членов семейства Карамазовых дана в речи прокурора, по мнению которого «в картине этой семейки как бы мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества. . .» (*Д*, XV, 125).[31]

Так, характеризуя главу семейства — Федора Павловича, прокурор подчеркивает его типичность («. . .это отец, и один из современных отцов. Обижу ли я общество, сказав, что это один даже из многих современных отцов?» — там же, с. 126). В прошлом приживальщик и шут, Федор Павлович со временем приобретает капитал. Это «насмешливый и злой циник и сладострастник». «Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная» (там же). Ни гражданских, ни отеческих обязанностей Федор Павлович не признает. Нравственный нигилизм старик пытается привить и детям.

Иван Карамазов в представлении прокурора — «один из современных молодых людей с блестящим образованием, с умом довольно сильным, уже ни во что, однако, не верующим, многое, слишком уже многое в жизни отвергшим и похерившим, точь-в-точь как и родитель его». «Раннее растление Ивана», по мнению прокурора, проистекает «от ложно понятого и даром добытого европейского просвещения» (там же, с. 126, 127).

Алеша предстает в освещении прокурора как «юноша, благочестивый и смиренный, в противоположность мрачному растлевающему мировоззрению его брата, ищущий прилепиться, так сказать, к „народным началам“»; он принадлежит к числу тех, кто, «убоясь цинизма и разврата его и ошибочно приписывая всё зло европейскому просвещению, бросаются, как говорят они, к „родной почве“, так сказать, в материнские объятия родной земли ⟨...⟩ и у иссохшей груди расслабленной матери жаждут хотя бы только спокойно заснуть и даже всю жизнь проспать, лишь бы не видеть их пугающих ужасов» (там же, с. 127).

Наконец, Митя «как бы изображает собою Россию непосредственную ⟨...⟩ зло и добро в удивительнейшем смешении. . .» (там же, с. 128).

Итак, характерными представителями двух поколений русской интеллигенции являются бывший помещик из дворян, нравственный циник и сладострастник, живущий по принципу «après moi le deluge»,[32] и его дети: Иван — молодой западник, отрицатель, бунтарь, зараженный безверием и нравственным нигилизмом; Алеша — «почвенник», тяготеющий к «народным началам» и народной вере; Митя, принадлежащий к числу «непосредственной», бездумно живущей русской молодежи (составляющей большинство), способный «вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения» (там же, с. 129).

Достоевский блестяще пародирует в речи защитника Фетюковича «модное», «либеральное» решение проблемы поколений на основе «разума и человеколюбия» в противоположность старым «мистическим» понятиям, которых по традиции придерживается прокурор. Фетюкович, как и прокурор, исходя из теории «среды» и «обстоятельств», убежден в виновности Мити и вообще не в состоянии понять, что происходит в душе его подзащитного, переживающего духовный кризис и жаждущего нравственного обновления.

Односторонне перекладывая вину за преступление на «среду» и «обстоятельства», либеральные адвокаты, по мнению Достоевского, снимали с преступника нравственную вину и ответственность за содеянное. «Прелюбодей мысли» Фетюкович, не верующий в бога, но лицемерно ссылающийся на «человеколюбца Христа» и Евангелие, вольно обращается с евангельскими текстами, извлекая из них то, что ему выгодно. Так, например, напомнив аудитории изречение апостола Павла — «Отцы, не огорчайте детей своих»,[33] Фетюкович намеренно умолчал о другой стороне евангельского учения, предписывающего детям повиноваться своим родителям и почитать их.

Он пытается оправдать Митю на том основании, что «родивший не есть еще отец, а отец есть — родивший и заслуживший». Убийство такого отца, по мнению Фетюковича, «не может быть названо отцеубийством. Такое убийство может быть причтено к отцеубийству лишь по предрассудку!» (там же, с. 170, 172). «О конечно, — иронически восклицает Фетюкович, — есть и другое значение, другое толкование слова „отец“, требующее, чтоб отец мой, хотя бы и изверг, хотя бы и злодей своим детям, оставался бы все-таки моим отцом, потому только, что он родил меня. Но это значение уже, так сказать, мистическое, которое я не понимаю умом. . .» (там же, с. 170).

«Новое», «прогрессивное» решение проблемы поколений, предложенное Фетюковичем, таково: «. . .пусть сын станет пред отцом своим и осмысленно спросит его самого: „Отец, скажи мне, для чего я должен любить тебя? Отец, докажи мне, что я должен любить тебя?“ — и если этот отец в силах и в состоянии будет ответить и доказать ему, — то вот и настоящая нормальная семья,

не на предрассудке лишь мистическом утверждающаяся, а на основаниях разумных, самоотчетных и строго гуманных. В противном случае, если не докажет отец, — конец тотчас же этой семье: он не отец ему, а сын получает свободу и право впредь считать отца своего за чужого себе и даже врагом своим. Наша трибуна, господа присяжные, должна быть школой истины и здравых понятий!» (там же, с. 171).

В речах прокурора и защитника есть и другой аспект проблемы поколений, связанный с грядущими судьбами России, русского прогресса и его деятелей.

Семейство Карамазовых, по мысли прокурора, может служить убедительным примером разложения русской семьи и общества в целом. Образ бешено мчащейся тройки, на которой скачет в Мокрое Митя, ассоциируется не только у прокурора, но и у читателя с тройкой, возникающей в финале «Мертвых душ».

В обоих случаях «тройки» символизируют Россию. Сидящие в них Чичиков и Митя вызывают у прокурора мрачные мысли о будущем России. Эта литературная ассоциация наиболее отчетливо выражена в черновом автографе. «Куда мы едем, куда мы мчимся? — восклицает прокурор. — Великий писатель недавней эпохи в финале величайшего из произведений своих говорит: „Тройка, птица тройка, кто тебя выдумал!“ Тройка у него изображает Россию. И летит, и *сторонятся в почтительном недоумении народы.* Не в ужасе ли, не в недоумении ли сторонятся, напротив, народы? 〈...〉 Если в эту тройку впряжен Чичиков, Собакевич, Ноздрев, Сквозник, то при каком хотите ямщике ни до чего хорошего не доедете [34] 〈...〉 Ну вот, вникнем и мы в нашу тройку, ибо тройка нам предстоящая, если не вся Россия, то *тоже* как бы эмблема и картина ее» (там же, с. 351).

В характерных представителях русской интеллигенции — «тройке» братьев Карамазовых прокурор не усматривает носителей национального прогресса. Ложный европеизм Ивана ведет к безверию, нигилизму, нравственному цинизму. Тяготение Алеши к русской «почве» и народной православной вере может обернуться шовинизмом и мистицизмом. «Непосредственная Россия», представленная Митей, — это хаос, беспорядок, безумие.

Надежды на будущий прогресс России прокурор, несмотря на критику ложного европеизма Ивана, связывает, однако, с Европой. Цивилизованные европейские народы должны своевременно остановить «беспардонную» варварскую тройку — Россию и насильно цивилизовать ее, указав ей путь правильного европейского развития.

Для Фетюковича, либеральные западнические идеи которого ядовито высмеяны Достоевским, Россия тоже варварская страна, так как недостаточно либеральна. Риторический образ России — «величавой колесницы», который защитник противопоставляет «бешено мчащейся тройке» прокурора, отражает мечту Фетюковича о той новой России, которая должна поразить Европу своим либерализмом (наглядной иллюстрацией подобного «либера-

лизма» являются, по мысли Достоевского, русские либеральные адвокаты, требующие почти поголовного оправдания преступников в соответствии с модной теорией «среды» и «обстоятельств»).

Какую позицию занимает в этом вопросе сам автор «Братьев Карамазовых»? С гоголевскими «Мертвыми душами» «Братьев Карамазовых» роднит глубокая вера обоих писателей в грядущее возрождение русского человека и России. Достоевский оптимистически смотрит на будущее своей родины. Не только в представителях юной России — «мальчиках», которых Алеша стремится объединить в своеобразное братство, он видит будущих деятелей русского прогресса, но и в братьях Карамазовых, прошедших через суровые испытания нравственно обновленными, чтобы служить делу деятельного добра.

Страдания, выпавшие на долю Мити, и его последующая судьба, как справедливо пишет В. Е. Ветловская, являются как бы предзнаменованием, что «„непосредственная“ интеллигентная Россия, стоящая за Митей, должна рано или поздно отказаться от индивидуальных, корыстных и эгоистических интересов, вобрать в свою душу чужое горе, горе баб и их детей, пострадать за свою вину перед ними, за свою обособленность, легкомыслие, праздность, барство 〈...〉 и обратиться к трудовой жизни, той, которою всегда жил и живет народ 〈...〉. Таким образом, осознание евангельской истины, являющейся, по мысли Достоевского, и истиной народной, затем участие в народной трудовой жизни (в сущности, слияние с народом) пророчествует „непосредственной“ России конечная цель Митиных исканий».[35] Добавим, однако, что подобный путь нравственного обновления на основе сближения с народом Достоевский пророчествовал не только «непосредственной» интеллигентной России, а интеллигенции в целом, о чем свидетельствуют также Пушкинская речь и публицистика писателя.

## 4

В письме к К. П. Победоносцеву от 19 мая 1879 г. Достоевский отметил разницу между прежними и теперешними «отрицателями». Прежние, по мнению писателя, занимались научным и философским опровержением «бытия божия», теперешние же отрицают «мир божий и *смысл его*» по этическим, гуманистическим соображениям (*Д, Письма*, IV, 56—57).

Это различие между «отрицателями» 1860-х и 1870-х годов наглядно выступает при сравнении Базарова и Ивана Карамазова.

Ивана Карамазова, как и других ведущих героев Достоевского, «бог мучит». «Мысль великая и неразрешенная» о боге и бессмертии в идейных исканиях Ивана связывается с целым комплексом нравственно-философских и социальных проблем, с программой частного и общественного жизнестроительства. Подобные искания характерны, по мысли Достоевского, для молодой мысля-

щей России, которая «только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует» (*Д*, XIV, 212), как два «желторотых мальчика» Иван и Алеша Карамазовы, случайно встретившиеся в провинциальном трактире. «А которые в бога не веруют, — добавляет Иван, — ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, всё те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорях у нас в наше время» (там же, с. 213).[36]

Таким образом, «вечные» и «мировые» вопросы в разговорах русских «желторотых мальчиков» не носят отвлеченного философского характера. Безотлагательная необходимость «мысль разрешить» связана с мечтой молодежи о всемирном братстве, о переделке всего человечества в целом и России в частности «по новому штату», причем необходимость изменения мира ощущает честная молодежь различных убеждений.

Базарова в отличие от героев Достоевского «бог не мучит». Как медик-материалист и атеист он отрицает существование бога. Ему некому «возвращать билет» в царство будущей гармонии. «Лик мира сего» ему, как и героям Достоевского, также не нравится. Однако вину за несовершенство мира и общественного устройства он возлагает на самих людей («Исправьте общество, и болезней не будет» — *Т*, VIII, 277). Он сам относит себя к числу тех, кто призван разрушить старый мир, чтобы на его обломках будущие строители могли воздвигнуть новый.

Г. А. Бялый в упоминавшейся выше статье «Две школы психологического реализма...» на основе сравнительной характеристики Раскольникова и Базарова отметил черты типологической близости между тургеневским героем и бунтарем-отрицателем Достоевского.

Эти характерные типологические черты нигилиста Базарова можно обнаружить и в Иване Карамазове, несмотря на яркую индивидуальность и оригинальность созданных писателями образов.

Иван Карамазов, как и Базаров (согласно классификации Достоевского), относится к числу «истинных», серьезных нигилистов, глубоко осознающих трагизм человеческого бытия.[37]

В письмах Достоевского Иван охарактеризован как «отчаянный отрицатель и атеист» и «современный *отрицатель* из самых ярых» (*Д, Письма*, IV, 58). Действительно, крайность отрицания Ивана доведена до предела и граничит с полным отчаянием. Философский пессимизм Базарова, отмеченный Тургеневым, получил в Иване глубочайшую художественную разработку и вылился в грандиозный богоборческий бунт («И в Европе такой силы атеистических *выражений* нет и *не было*» — так охарактеризовал Достоевский философию своего героя (*Д*, XXVII, 86), — признав серьезность основной мотивировки его бунта — бессмысленность страдания детей).[38]

В черновиках к роману пессимизм Ивана подчеркнут еще сильнее. По словам прокурора, «такие, как Иван Ф⟨едорович⟩, и в Европу не верят. И таких много, и, может быть, они еще больше имеют в таком важном деле влияния на ход событий, чем это множество твердых и прекрасных умов, ждущих обновления от Европы. Крайняя молодежь из этих опасных отрицателей рвется в социализм, но *высшие* из них и в него не верят и пребывают почти в отчаянии. Это отчаяние недалеко до воплощения в образ Федора Павловича: было бы мне хорошо» (*Д*, XV, 354).

Иван Карамазов, подобно Базарову, Раскольникову, Ставрогину, Кириллову, Шатову, — человек идеи, теории, которая владеет им безраздельно. По определению Алеши, «в нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить» (*Д*, XIV, 76).

Нравственный нигилизм Ивана — следствие его нравственного максимализма. Иван потрясен тем, что в мире нет справедливости и возмездия за царящее в нем зло. Неприятие «мира божьего», исполненного горя, страданий и слез, «которыми пропитана вся земля от коры до центра», отказ от царства будущей гармонии, построенной «на неотомщенных слезках» замученного ребенка (там же, с. 222, 224),[39] приводят Ивана к нигилизму отчаяния, к нигилизму крайних выводов, а по существу — к отходу от гуманизма, к проповеди резко выраженного индивидуализма.

Подобный же характер носит и богоборчество Кириллова в «Бесах», который отвергает «прежнего бога» потому, что «мир божий» в действительности не соответствует высоким этическим (христианским) нормам любви, милосердия, добра и справедливости.

Признав исходным тезис: «Если бога (бессмертия) нет, то нет и добродетели», значит «всё позволено», — Иван, потерявший веру в бога, творца несовершенного и страдающего мира, по логике Достоевского, утрачивает также веру в людей, в способность самостоятельного нравственного самоопределения человека, теряет веру в добро, которое, наряду со злом, также есть в мире.

Высокое умственное развитие, обостренное чувство личности, сильно развитое самолюбие, «сатанинская гордость», неприятие мира (или «мира божьего»), трагизм безрелигиозного сознания, своеобразное сочетание любви и презрения к людям (народу), желание навязать им свою волю — эти и некоторые другие черты роднят Ивана Карамазова с Базаровым (как его понимал Достоевский) и Раскольниковым.

Уже в первой части романа (сцена «конклава» членов «семейки» Карамазовых в монастыре) приводится следующее суждение Ивана, являющееся итогом его философских обобщений и вытекающее из его сочинений — поэм «Геологический переворот», «Великий Инквизитор» и статьи о церковно-общественном суде.

Иван Федорович «торжественно заявил в споре, что на всей земле нет решительно ничего такого, что бы заставило людей

любить себе подобных, что такого закона природы: чтобы человек любил человечество — не существует вовсе, и что если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие ⟨...⟩ так что уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнет не только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. Мало того: тогда ничего уже не будет безнравственного, всё будет позволено, даже антропофагия. Но и этого мало, он закончил утверждением, что для каждого частного лица, например как бы мы теперь, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое, нравственный закон природы должен немедленно измениться в полную противоположность прежнему, религиозному, и что эгоизм даже до злодейства не только должен быть дозволен человеку, но даже признан необходимым, самым разумным и чуть ли не благороднейшим исходом в его положении ⟨...⟩ Нет добродетели, если нет бессмертия» (там же, с. 64—65).

Зосима, разделяющий мнение Ивана, что «нет добродетели, если нет бессмертия», понимает, как опасно подобное убеждение при отсутствии веры. Он благословляет Ивана как мученика высшей идеи, способного «горняя мудрствовати и горних искати...» (там же, с. 65—66),[40] как бы предрекая ему возможность будущего нравственного возрождения.[41]

В юношеской «поэмке» Ивана Карамазова «Геологический переворот» рассматривается вопрос об общественном устройстве без бога. Если в далекой перспективе Иван допускает возможность построения человеческого общества без бога, на основе науки и любви к ближнему, то в ближайшем будущем, по его мнению, место бога должен занять «человекобог», крайний индивидуалист, создающий новую мораль и новую нравственность, действующий по принципу «всё позволено».

В поэме «Великий инквизитор» Иван изображает общественное устройство под управлением Великого инквизитора и других «избранных». Великий инквизитор убежден, что человечество в своей основной массе — «слабое, вечно порочное и вечно неблагородное людское племя» (там же, с. 231), которому не под силу высокие нравственные требования Христа и которое всегда предпочтет «хлеб земной» (материальные блага) «хлебу небесному» (духовной свободе). Великий инквизитор и другие «избранные», «подправив» подвиг Христа, «из человеколюбия» устраивают «счастье» этих слабосильных существ обманным путем при помощи «чуда», «тайны» и «авторитета», отвергнутых Христом как недостойное средство. «И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар (свобода нравственного выбора. — *Н. Б.*), принесший им столько муки» (там же, с. 234).

Любовь к человечеству сочетается в Иване с презрением к людям, с представлением о них как о ничтожных, слабых существах, недостойных нравственной свободы и готовых отдать ее

деспоту за «хлебы». Таким образом Иван приходит в своей поэме к апологии Великого инквизитора.[42]

По существу Иван повторяет теорию Раскольникова о двух разрядах людей — сильных («человекобоги»), преступающих нравственный закон и создающих новую нравственность по принципу «всё позволено», и слабых, безвольных («муравейник», «человеческое стадо»), способных сознательно подчиниться деспотической воле.[43]

В «Братьях Карамазовых» Достоевский снова прибегает к характерному для «Преступления и наказания» разрешению конфликта: герой одержим ложной идеей или теорией, которая вступает в противоречие с «натурой» (лучшая нравственная сущность человека, совесть, «божья правда») и побеждается правдой жизни (подобную эволюцию, как об этом говорилось выше, прошел в представлении Достоевского и Базаров).

Иван Карамазов, провозгласивший принцип «всё позволено» для «высших», «избранных», подобно Раскольникову не смог «преступить». Он испытывает мучительные угрызения совести за свою нравственную причастность к смерти отца и к осуждению невиновного Мити.

Теоретически пришедший к отрицанию таких категорий, как «добродетель» и «совесть», Иван идет, побуждаемый угрызениями совести, на суд, чтобы признать свое нравственное соучастие в отцеубийстве. Черт, двойник и оппонент Ивана, дразнит его этим противоречием: «„Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги“ 〈...〉

„Ты идешь совершить подвиг добродетели, а в добродетель-то и не веришь — вот что тебя злит и мучит, вот отчего ты такой мстительный“ 〈...〉 „И добро бы ты, говорит (черт. — *Н. Б.*), в добродетель верил: пусть не поверят мне, для принципа иду. Но ведь ты поросенок, как Федор Павлович, и что тебе добродетель? Для чего же ты туда потащишься, если жертва твоя ни к чему не послужит? А потому что ты сам не знаешь, для чего идешь! 〈...〉 И будто ты решился? Ты еще не решился. Ты всю ночь будешь сидеть и решать: идти или нет? Но ты все-таки пойдешь и знаешь, что пойдешь, сам знаешь, что как бы ты ни решался, а решение уж не от тебя зависит. Пойдешь, потому что не смеешь не пойти. Почему не смеешь, — это уж сам угадай, вот тебе загадка!“ 〈...〉 Он меня трусом назвал, Алеша! 〈...〉 „Не таким орлам воспарять над землей!“ Это он прибавил, это он прибавил! И Смердяков это же говорил!» (*Д*, XV, 87—88).

У Достоевского, как это отмечалось выше, получила дальнейшую гениальную психологическую разработку черта, намеченная Тургеневым в Базарове. Герой, побежденный лучшими сторонами своей натуры (для Достоевского это прежде всего совесть) и правдой жизни, не желает расстаться со своей идеей, теорией, признать ее ложность и нежизненность, а в провале теории винит лишь себя. Иван, подобно Раскольникову, презирает свою «сла-

бость», свое «ничтожество» («тварь дрожащая», «трус», а не «Наполеон», не «орел»), неспособность преступить нравственный закон. У героев Достоевского, как и у Базарова, злоба, раздражение являются реакцией на провал «теории». «О, завтра я пойду, стану перед ними и плюну им всем в глаза!» — бредит Иван перед судом (там же, с. 88). В зале суда Иван видит «. . .все эти р-рожи». Он говорит: «Все желают смерти отца. Один гад съедает другую гадину. . .» (там же, с. 117).

Чтобы убедительнее показать ложность, нежизненность теории Ивана, Достоевский, как и в «Преступлении и наказании», связывает ее с преступлением (теория в действии, ее реализация).

Алеша, явившийся свидетелем душевных мук брата накануне суда, думает о нем: «„Муки гордого решения, глубокая совесть!“ Бог, которому он не верил, и правда его одолевали сердце, всё еще не хотевшее подчиниться» (там же, с. 89).

Отсюда, по логике Алеши и самого писателя, путь постепенного нравственного выздоровления и возрождения Ивана, которое, как и в «Преступлении и наказании», осталось за пределами романа.

[1] Ср. в черновом автографе: «Дети и [современная семья во всех слоях общества по возможности и] отцы их вместе в взаимных соотношениях [этих] слоев общества — вот моя задача ⟨...⟩ Я постараюсь открыть, если возможно [и доказать] взаимную цель [или связь] или хоть бессознательное, но общее во всех группах стремление» (*Д*, XXII, 173).

[2] См. также: *Бем А. Л.* Художественная полемика с Толстым: (К пониманию «Подростка»). — В кн.: О Достоевском. Сб. статей / Под ред. А. Л. Бема. Прага, 1936, вып. 3, с. 194—214; *Бурсов Б. И.* Толстой и Достоевский. — Вопр. лит., 1964, № 7, с. 66—92; *Фридлендер Г. М.* Достоевский и Лев Толстой. — В кн.: *Фридлендер Г. М.* Достоевский и мировая литература. Л., 1985, с. 198—250; комментарий Г. Я. Галаган к «Подростку»: *Д*, XVII, с. 337—343.

[3] Понятие «живая жизнь» в смысле «истинно сущая», не зависимая от субъективных форм логического познания, В. Л. Комарович связывал с традицией старших славянофилов (подробнее об этом см.: *Комарович В. Л.* Роман Достоевского «Подросток» как художественное единство. — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л.; М., 1924, сб. 2, с. 33.

[4] Слова «нора», «скорлупа», нередко встречающиеся в характеристике «идеи Ротшильда», являются синонимами «подполья», самая сущность которого противоположна понятию «живая жизнь». Не случайно символ «живая жизнь» у Достоевского впервые встречается в «Записках из подполья».

[5] Формула «обратить камни в хлебы», восходящая к Евангелию, получила подробное разъяснение в письме Достоевского к В. А. Алексееву от 7 июня 1876 г. Ср. в черновой записи: «Телеги, подвозящие хлеб человечеству. Это — великая идея, но второстепенная и только в данный момент великая. Ведь я знаю, что если я обращу камни в хлебы и накормлю человечество, человек тотчас же спросит: „Ну вот, я наелся; теперь что же делать?“» (*Д*, XVI, 78). Ср. также: «Общество основывается на началах нравственных: на мясе, на экономической идее, на претворении камней в хлебы — ничего не основывается. . .» (там же, с. 431). Подробнее о символе «камни и хлебы» см. далее, с. 108. Образ «телег, подвозящих хлеб человечеству», ассоциировавшийся у Достоевского с материальными благами, восходит к спору А. И. Герцена с В. С. Печериным о роли «материальной цивилизации» и науки в переустройстве общества («Былое и думы», гл. 6, ч. VII. «Pater V. Petcherine»). Образ этот, используемый Достоевским в полемических целях, получил отражение также в «Идиоте» и «Бесах» (см.: *Д*, IX, 393; XII, 189—190).

[6] *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 20-ти т. М., 1963, т. 7, с. 60.

[7] *Страхов Н. Н.* Борьба с Западом в нашей литературе. СПб., 1882, т. 1, с. 29—30.

[8] *Семенов Е. И.* Роман Достоевского «Подросток». Л., 1979, с. 97.

[9] См. упоминавшуюся выше статью А. Л. Бема «Художественная полемика с Толстым: (К пониманию «Подростка»)».

[10] В черновых набросках к «Подростку» Версилов прямо говорит, что Макар Иванович как лучший представитель народа принадлежит к дворянству. «Я обнимал и целовал старика, ты видел, я *в восторге* слушал его, — рассказывает Версилов Аркадию. — Я признаю его дворянином и верую, что недалеко время, когда таким же дворянином, как я, и создателем своей высшей идеи станет весь народ русский» (*Д*, XVII, 151). Ср. в романе беседу Версилова с молодым князем Сокольским о дворянстве (там же, с. 177—179). Об интерпретации дворянства в «Подростке» см. также: *Семенов Е. И.* Роман Достоевского «Подросток», с. 15—35; *Д*, XVII, 262—265.

[11] Характерно, что для Аркадия понятие «бродяга» ассоциируется не со странником Макаром Ивановичем, обладающим внешним и внутренним «благообразием», имеющим твердые нравственные убеждения, а с интеллигенцией, которой присущи идейная и нравственная «шатость», эгоизм и т. д.

«— Уверяю вас, — обратился я (Аркадий. — *Н. Б.*) вдруг к доктору, — что бродяги, — скорее мы с вами, и все, сколько здесь ни есть, а не этот старик, у которого нам с вами еще поучиться, потому что у него есть твердое в жизни, а у нас, сколько нас ни есть, ничего твердого в жизни. . .» (*Д*, XIII, 300—301).

[12] *Энгельгардт Б. М.* Идеологический роман Достоевского. — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Л.; М., 1924, сб. 2, с. 93. — Ср. с трактовкой символа «земля» в статье: *Комарович В.* Генезис романа «Подросток». — В кн.: Литературная мысль. Л., 1925, вып. 3, с. 366—386.

[13] Подробнее об этом см.: *Долинин А. С.* 1) Достоевский и Герцен. — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пб., 1922, сб. 1, с. 275—324; 2) Последние романы Достоевского. М.; Л., 1963, с. 104—112, 215—230.

[14] *Страхов Н. Н.* Борьба с Западом в нашей литературе, т. 1, с. 89. — В предисловии к книге «С того берега» Герцен писал, что он остается в Европе «страдать вдвойне, страдать от своего горя и от его (старого европейского мира. — *Н. Б.*) горя, погибнуть, может быть, при разгроме и разрушении, к которому он несется на всех парах» (*Герцен*, VI, 13).

[15] У Герцена и Достоевского символом России, русского народа является простая русская крестьянка. А. С. Долинин сопоставляет «маму» в «Подростке», «пронзительная любовь» к которой проснулась у Версилова в Европе, с образом «угнетенной матери», простой крестьянки, в некрологе Герцена, посвященном памяти Константина Аксакова (см.: *Долинин А. С.* Последние романы Достоевского, с. 111—112).

[16] В «Письмах из Франции и Италии» Герцен писал: «. . .русский — посторонний, но именно потому, что он вместе с тем и свой». «Русский ⟨...⟩ страстный зритель. Он оскорблен в своей любви, уповании; он чувствует, что обманулся, он ненавидит так, как ненавидят ревнивые, от избытка любви и доверия» (*Герцен*, V, 220).

[17] *Страхов Н. Н.* Борьба с Западом в нашей литературе, т. 1, с. 113.

[18] Статьями «С того берега», — вспоминал Герцен в «Былом и думах», — «я в себе преследовал ⟨...⟩ последние идолы, я иронией мстил им за боль и обман. ⟨...⟩ Утратив веру в слова и знамена, в канонизированное человечество и единую спасающую церковь западной цивилизации, я верил в несколько человек, верил в себя» (*Герцен*, X, 233).

[19] *Страхов Н. Н.* Борьба с Западом в нашей литературе, т. 1, с. 137, 122. — Страхов понимал, что возродившаяся вера Герцена в Россию была связана с его надеждами на осуществление на родине социалистических идеалов. Именно в этом смысле он и назвал Герцена «нигилистическим славянофилом».

[20] Там же, с. 120.

[21] Возможный намек не только на нигилизм «детей», но и на нигилизм «отцов», представителей «поколения сороковых годов» (Герцен). Не исключены и определенные автобиографические ассоциации у Достоевского, также принадлежавшего к «людям сороковых годов», а в «Дневнике писателя» за 1873 г. назвавшего себя «старым нечаевцем» (т. е. петрашевцем, отрицателем). Известно, что молодой Достоевский увлекался в кругу петрашевцев идеями утопического социализма

(подробнее об этом см.: *Комарович В. Л.* 1) Мировая гармония Достоевского. — Атеней, 1924, кн. 1—2, с. 112—142; 2) Юность Достоевского. — Былое, 1924, № 23, с. 3—43).

[22] В одной из черновых записей Версилов утверждает, что «нигилизм есть не что иное, как идеализм, но только в самой высшей и до сих пор еще не слыханной степени. Нигилизм есть последняя степень идеализма» (*Д*, XVI, 284; ср. там же, с. 79; ср. с приведенной выше характеристикой нигилизма, данной Страховым).

[23] Ср. также: *Савченко Н.* К вопросу о сюжетно-композиционном своеобразии романа Ф. М. Достоевского «Бесы». — В кн.: Филологический сборник. Алма-Ата, 1968, с. 16—27.

[24] «Странствия» носителя «высшей русской культурной мысли» Версилова уже закончились к моменту его «исповеди» сыну. Что же касается Макара Ивановича, то, восхищаясь искренне «благообразием» старца, Аркадий в то же время «твердо знал», что не пойдет странствовать вместе с ним.

[25] См. также: *Туниманов В. А.* Достоевский и Некрасов. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 49—50.

[26] Неспособность «отцов», передовых дворянских интеллигентов сороковых годов, соединиться с народной «почвой» символически выражена в конце романа. Версилов — при всем своем уважении к Макару Ивановичу — не в состоянии стать его духовным преемником в силу своей раздвоенности. Он раскалывает пополам завещанный ему старцем старинный образ, снова уходит от «мамы» и возвращается к ней уже совершенно больным и разбитым человеком, навсегда покончившим со «странствиями». О раздвоенности Версилова свидетельствует также его неспособность к цельному чувству и окончательному выбору (любовь-сострадание к «маме» и страсть-«фатум» к Ахмаковой). Нам представляется спорным утверждение В. Я. Кирпотина, что «возврат Версилова к Софье и признание им страннической правды Макара Ивановича обозначает возврат к „народному корню", а для Подростка как бы конец метаний» (*Кирпотин В. Я.* Роман Ф. М. Достоевского «Подросток». — В кн.: *Достоевский Ф. М.* Подросток. М., 1972, с. 579).

[27] *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Ф. М. Достоевского. М., 1981, с. 236—237.

[28] А. И. Белецкий справедливо отметил, что роман «Братья Карамазовы», задуманный в плане большого историко-философского синтеза, призван был «дать в лице разных представителей семьи Карамазовых троякий символический образ России в ее истории, в ее современности и перспективах идеального будущего» (*Белецкий А. И.* Избр. труды по теории литературы. М., 1964, с. 372). См. также: комментарий к «Братьям Карамазовым» в акад. изд. (*Д*, XV); *Ветловская В. Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977.

[29] Образ крестьянского «дитяти» в сновидении Мити навеян впечатлениями Достоевского о голоде в Самарской губернии в результате засухи 1873 г. В рассказе «Мальчик у Христа на елке» («Дневник писателя» за 1876 г.) упоминаются дети, которые «умерли у иссохшей груди своих матерей (во время самарского голода)» (*Д*, XXII, 17). В записной тетради 1875—1876 гг. Достоевский также вспоминает «самарских ребятишек, умерших с голоду у иссохших грудей матерей их» (*Д*, XXIV, 123).

[30] Зосима критикует современную буржуазную цивилизацию за ее бесчеловечность и бездуховность, резко выступает против жестокого отношения к детям, говорит о «тиранстве вещей и привычек», о неправильном понимании свободы как «приумножении и скором утолении потребностей». «Уединение», в котором пребывает человек в период цивилизации, противопоставлено в романе «братству» и «человеколюбивому общению» (*Д*, XIV, 284—285).

[31] Близкую мысль высказал Достоевский в черновом письме к издателю «Русского вестника» от 12 декабря 1879 г.: «Совокупите все эти четыре характера — и вы получите хоть уменьшенное в тысячную долю изображение нашей современной действительности, нашей современной интеллигентной России» (Ф. М. Достоевский. Материалы и исследования. Л., 1935, с. 376).

[32] «после меня хоть потоп» (*франц.*).

[33] Ср.: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Послание к Колоссянам, гл. 3, ст. 21; см. также Послание к Ефесянам, гл. 6, ст. 4).

[34] Ср. в окончательном тексте: «А это только еще прежние кони, которым далеко до нынешних, у нас почище. . .» (*Д*, XV, 125).

[35] *Ветловская В. Е.* Поэтика романа «Братья Карамазовы», с. 161.

[36] «Идеализм» «русских мальчиков», выражающийся в их стремлении к разрешению «вековечных вопросов», как характерная национальная черта ярко выступает также в романе Тургенева «Рудин». Вспоминая свою юность, относящуюся к 1830-м годам, Рудин рассказывает: «Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге и правде, о будущности человечества, о поэзии, говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда! . .» (*Т*, VI, 299).

[37] По определению Зосимы, у Ивана «сердце высшее, способное такою мукой мучиться» (*Д*, XIV, 66). Это определение заставляет нас вспомнить о «великом сердце» «беспокойного и тоскующего Базарова».

[38] «Мой герой берет тему, *по-моему*, неотразимую: бессмыслицу страдания детей и выводит из нее абсурд всей исторической действительности», — писал Достоевский Н. А. Любимову 10 мая 1879 г. (*Д*, *Письма*, IV, 53).

[39] Образ страдающего ребенка, который «бил себя кулачонком в грудь и молился 〈...〉 неискупленными слезками своими к „боженьке“» (*Д*, XIV, 223), в богоборческой концепции Ивана восходит к делу Кронеберга («Дневник писателя» за 1876 г.). Ср.: «Видали ли вы или слыхали ли о мучимых маленьких детях, ну хоть о сиротках в иных чужих злых семьях? Видали ли вы, когда ребенок забьется в угол, чтоб его не видали, и плачет там, ломая ручки (да, ломая руки, я это сам видел) — *и ударяя себя крошечным кулачонком в грудь*, не зная сам, что он делает, не понимая хорошо ни вины своей, ни за что его мучают, но слишком чувствуя, что его не любят» (*Д*, XXII, 69).

[40] Вопросы о боге, бессмертии и вытекающей отсюда проблеме нравственной позиции человека в мире («всё позволено», «нет преступления — нет и греха») решают для себя, кроме Ивана, другие герои романа — Федор Павлович, Митя, Ракитин, Смердяков. «А меня бог мучит. Одно только это и мучит, — говорит Митя Алеше. — А что, как его нет? 〈...〉 Тогда, если его нет, то человек шеф земли, мироздания. Великолепно! Только как он будет добродетелен без бога-то? 〈...〉 Кому благодарен-то будет, кому гимн-то воспоет?» (*Д*, XV, 32). Ср. слова Смердякова: «. . .ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не надобно ее тогда вовсе. Это вы (Иван. — *Н. Б.*) вправду. Так я и рассудил» (*Д*, XV, 67).

[41] Вопрос о боге и бессмертии, по мнению Зосимы, Иваном еще окончательно не решен и «если не может решиться в положительную, то никогда не решится и в отрицательную» сторону (*Д*, XIV, 65).

[42] Достоевский писал Н. А. Любимову 11 июня 1879 г. об Иване Карамазове: «Современный *отрицатель* 〈...〉 прямо объявляет себя за то, что советует дьявол, и утверждает, что это вернее для счастья людей, чем Христос 〈...〉 хлебы, Вавилонская башня 〈...〉 и полное порабощение свободы совести — вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист» (*Д*, *Письма*, IV, 58). В письме к В. А. Алексееву от 7 июня 1876 г. Достоевский разъясняет, что употребляемый им символ «камни и хлебы», восходящий к евангельскому преданию об искушении Христа дьяволом в пустыне (см.: Евангелие от Матфея, от Луки, гл. 4, ст. 3—4), «значит теперешний социальный вопрос, *среда*». По мнению писателя, современный социализм «хлопочет прежде всего о *хлебе*, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно — *нищета*, борьба за существование, „среда заела“» (*Д*, *Письма*, III, 211, 212). Достоевский, стремясь подчеркнуть духовную природу человека, напоминает слова Христа в Евангелии: «Не хлебом одним будет жить человек» (Евангелие от Матфея, гл. 4, ст. 4; от Луки, гл. 4, ст. 4. Ср.: Второзаконие, гл. 8, ст. 3). Сомнения писателя в возможности организации человеческого общества на началах высокой внехристианской нравственности получили отражение в романах «Бесы», «Подросток» («Исповедь Версилова»), «Братья Карамазовы», в «Сне смешного человека», «Дневнике писателя».

[43] Намек на возможность деления людей на два разряда («боги» и «олухи») содержится в реплике Базарова о Ситникове (см.: *Т*, VIII, 304).

# СПОР О РОССИИ И ЗАПАДЕ

Многочисленные записи о Тургеневе, «Дыме» и Потугине в черновых подготовительных материалах к «Дневнику писателя» за 1876 г., опубликованные в полном объеме в академическом издании «Полного собрания сочинений» Достоевского,[1] представляют большой научный интерес для изучения идейно-литературных и личных отношений Достоевского и Тургенева 1860—1870-х годов.

Эти материалы позволяют уяснить суть идеологического спора Достоевского с автором «Дыма», о котором самое общее представление дает упоминавшееся выше письмо Достоевского к А. Н. Майкову от 16 (28) апреля 1867 г. с крайне субъективным описанием баденской ссоры писателей.[2] При первом знакомстве с романом Тургенева патриотическое чувство Достоевского было возмущено рассказом Потугина о посещении им в 1862 г. Всемирной промышленной выставки близ Лондона. Впечатление о крайней научной и технической отсталости полукрепостной России было выражено Потугиным в резкой, полемически заостренной против славянофилов форме. В 1867 г. Достоевский упрекает автора «Дыма» в презрении к России, неверии в возможность ее самобытного развития, в слепом преклонении перед европейской цивилизацией. Достоевский оказался удивительно последовательным в своем неприятии «Дыма», сохранив до конца жизни негативное отношение к этому роману и в особенности к образу Потугина. «Дым» — единственный роман Тургенева, не удовлетворивший Достоевского также в художественном отношении. В черновых материалах Достоевский отмечает, что Тургеневу недостает знания русской жизни, пишет о падении художественности, придуманных характерах и ситуациях в «Дыме» и т. д. (см.: *Д*, XXIV, 76—77, 79 и др.).

Малоизученный вопрос о возможных антипочвеннических тенденциях в «Дыме» затронут тургеневедами И. Винниковой и А. Б. Муратовым[3] в связи с общей антиславянофильской направленностью романа (последняя отмечена самим Тургеневым в письмах 1867—1868 гг.).

«Идеи, в которых признание необходимости западноевропейского влияния на русскую жизнь сочеталось со славянофильской верой в „почву“, в корне расходились с тургеневским пониманием

цивилизации и ее роли в русской жизни, — справедливо пишет А. Б. Муратов. — Не случайно Достоевский отрицательно воспринял образ Потугина, увидев в нем оскорбление национального чувства русских». Запоздалый ответ Достоевского автору «Дыма», как считает исследователь, «не только продолжил их споры 1867 года, но и обнаружил, что тургеневская критика почвенничества была действенной».[4]

Как известно, понятие «славянофильство» употребляется не только для обозначения конкретного направления русской общественной мысли, виднейшими представителями которой явились А. С. Хомяков, И. и П. Киреевские, К. и И. Аксаковы, Ю. Самарин. Под «славянофильством» подразумевают нередко различные течения, которым в разной мере было присуще признание самобытного культурно-исторического пути развития России.[5]

Тургенев в 1860—1870-е годы придерживался обычно расширительного толкования славянофильства, позволявшего ему объединить под этим понятием представителей различных общественно-политических лагерей и групп. Следы ложных, с точки зрения писателя, славянофильских теорий и воззрений он находил у Герцена, Огарева, Бакунина, Фета, Л. Н. Толстого, В. В. Стасова, народников. Разумеется, Тургенев не мог не заметить «славянофильский» элемент у почвенников и Достоевского.[6] Это специфическое и широкое понимание славянофильства, характерное для Тургенева в 1860—1870-е годы, необходимо учитывать при изучении идейно-философского содержания романа «Дым».

А. И. Батюто в статье «Достоевский и Тургенев в 60—70-е годы: (Только ли «История вражды»?)» предпринял попытку пересмотреть прочно утвердившееся в науке мнение, что острые идеологические расхождения между писателями, приведшие к разрыву ранее дружелюбных личных отношений, были вызваны идейно-философской проблематикой романа «Дым». А. И. Батюто не только отрицает антипочвенническую направленность «Дыма», но, напротив, считает, что в своей борьбе со славянофилами автор «Дыма» берет в союзники именно Достоевского, используя «конкретную аргументацию» его публицистики начала 1860-х годов. Работая над романом, «Тургенев вступает в контакт с Достоевским — критиком славянофилов и как бы не замечает усилий Достоевского, направленных на расшатывание идеологических основ западничества. Это значит: до острых разногласий, вспыхнувших после завершения романа, еще далеко».[7]

Свою точку зрения А. И. Батюто аргументирует сопоставлением антиславянофильских выпадов Достоевского-публициста начала 1860-х годов и высказываний Потугина. Как известно, Достоевский, мечтавший дать в почвенничестве синтез лучших сторон западничества и славянофильства, активно полемизировал в начале 1860-х годов с представителями обоих направлений. Вывод об определенной близости писателей в период «Дыма», т. е. в конце 1860-х годов, основан, на наш взгляд, на преувеличенном представлении исследователя о славянофильских «антипатиях»

Достоевского в этот период: уже к середине 1860-х годов писатель все более сближается существеннейшими сторонами своего мировоззрения со старым славянофильством.[8]

Концепция А. И. Батюто не только не проясняет сложного вопроса об идейном и личном конфликте писателей, но еще более его запутывает. Получается, что Достоевский не сумел разглядеть в авторе «Дыма» «потенциального единомышленника» и союзника в общей борьбе со славянофилами, а ссора в Бадене, явившаяся следствием резкого неприятия Достоевским «Дыма», выглядит как печальное недоразумение, во многом обусловленное не относящимися непосредственно к роману обстоятельствами. Необъяснимой становится также злая пародия на Тургенева в «Бесах» и полемика с ним в этом романе как с видным представителем русских западников о путях и судьбах пореформенной России. Наконец, неожиданным и непонятным становится новое обращение Достоевского к «Дыму» в 1876 г. в «Дневнике писателя».

Гневная тирада автора «Дневника писателя» за 1876 г.: «Наши Потугины бесчестят народ наш насмешками, что русские изобрели один самовар. . .», и т. д. — свидетельствует, как полагает А. И. Батюто, об известной переоценке Достоевским «Дыма» в 1870-е годы. По мнению исследователя, рассказ Потугина о Всемирной промышленной выставке не мог задеть Достоевского в 1867 г., так как он, подобно Тургеневу, признавал научно-техническую отсталость России, а в «Зимних заметках о летних впечатлениях» сам иронизировал по поводу «русской изобретательности и науки».[9]

Однако в суждениях Потугина Достоевского оскорбила в 1867 г. вовсе не констатация научной и технической отсталости старой России (писатель и сам сознавал эту отсталость и в 1860-е и в 1870-е годы), а утверждение Потугина, что Россия «ничего своего не выработала»[10] и не внесла в «энциклопедию человечества».

В высказываниях Потугина Достоевский усмотрел, подобно некоторым своим современникам-славянофилам, неверие Тургенева в русский народ и слепое преклонение перед Европой (таков же, кстати, смысл гневной отповеди Потугину в «Дневнике писателя» за 1876 г. — об этом подробно далее).

Характерно, что полемические возражения Потугину, обстоятельно разработанные Достоевским в 1876 г., в своей основе сложились у писателя еще в 1867 г., что само по себе свидетельствует об удивительно последовательном неприятии им «Дыма».

Так, в письме к А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 г. (12 января 1868 г.), т. е. вскоре после публикации «Дыма», он резко возражает всем тем, кто негативно противопоставляет Россию Европе: «У нас даже Ник. Ник. Страхов, человек ума высокого, — и тот не хочет понять правды: „Немцы, говорит, порох выдумали". Да их жизнь так устроилась! А мы в это время великую нацию составляли, Азию навеки остановили,[11] перенесли бесконечность страданий, *сумели* перенести, не потеряли русской мысли, которая

мир обновит, а укрепили ее, наконец, немцев перенесли, и все-таки наш народ безмерно выше, благороднее, честнее, наивнее, способнее и полон другой, высочайшей христианской мысли, которую не понимает Европа. . .» (*Д, Письма*, II, 64).

Древняя Русь «не выдумала пороха» в силу неблагоприятных географических, исторических, политических и т. д. условий, но она решала другие, не менее грандиозные задачи и внесла свой вклад в сокровищницу человечества — таков общий смысл рассуждений Достоевского.[12]

Попытаемся установить антипочвенническую направленность романа «Дым».

## 1

Исследователями «Дыма» установлено, что идеологическая нагрузка романа в значительной степени была предопределена историко-философскими и социально-политическими дискуссиями Тургенева с Герценом и Огаревым в 1860-е годы.[13] Точки зрения Герцена и Тургенева получили отражение в переписке обоих оппонентов 1862—1867 гг., а также в цикле статей Герцена «Концы и начала» (1862—1863), адресованных непосредственно Тургеневу.

Тургенев первоначально собирался ответить на статьи Герцена также в «Колоколе», но не смог осуществить свое намерение по причинам политического характера.

Полемика с Герценом об историческом пути развития России, о ее отношении к Европе, о роли интеллигенции и народа в деле русского прогресса очень показательна для характеристики позитивной программы Тургенева и его взглядов на коренные проблемы пореформенной России. Цель нашего обращения к переписке Тургенева и Герцена 1860-х годов — установить, какие элементы в историко-философских взглядах Герцена и его современников Тургенев расценивал как «славянофильские».

В концепции Герцена, пережившего после поражения революции 1848—1849 гг. в Западной Европе глубокий духовный кризис, для Тургенева была прежде всего неприемлема мысль о том, что прогрессивная роль западной цивилизации, развившейся в современной буржуазной Европе до возможных пределов и выродившейся в мещанство, уже закончилась.

Отрицательно относился Тургенев и к «русскому социализму» Герцена, т. е. к его вере в возможность для России особого, отличного от европейского, исторического пути развития России: через крестьянскую поземельную общину к социализму, минуя капитализм (идею Герцена о некапиталистическом развитии России и о русской поземельной крестьянской общине как ячейке социализма позднее подхватили народники).

«Общинный социализм» Герцена ассоциировался у Тургенева со славянофильскими концепциями самобытного развития России

и ее особой мессианской роли в судьбах нравственно больной Европы. Соглашаясь во многом с герценовской критикой отрицательных сторон европейской буржуазной цивилизации, Тургенев в то же время считал, что Европа с ее буржуазно-демократическими и гражданскими свободами, наукой и культурой во многом еще продолжает оставаться образцом для полукрепостной России и что основная задача «образованного класса» России — приобщать русский народ к лучшим достижениям европейской цивилизации. В пореформенной России Тургенев наблюдал развитие капитализма, расслоение крестьянства и выделение кулачества. Он не верил в революционность русского крестьянства и в якобы присущий ему «социалистический инстинкт».

«Роль *образованного* класса в России, — писал Тургенев Герцену 26 сентября (8 октября) 1862 г., — быть передавателем цивилизации народу, с тем чтобы он сам уже решал, что ему отвергать или принимать, — эта, в сущности, скромная роль — хотя в ней подвизались Петр Великий и Ломоносов, хотя ее приводит в действие революция — эта роль, по-моему, еще не кончена. Вы же, господа, напротив, немецким процессом мышления (как славянофилы), абстрагируя из едва понятой и понятной субстанции народа те принципы, на которых вы предполагаете, что он построит свою жизнь, — кружитесь в тумане — и, что всего важнее, в сущности *отрекаетесь от революции* — потому что народ, перед которым вы преклоняетесь, консерватор par exellence[14] — и даже носит в себе зародыши такой буржуазии в дубленом тулупе ⟨...⟩ что далеко оставит за собою все метко верные черты, которыми ты изобразил западную буржуазию в своих письмах ⟨...⟩ Приходится вам приискивать другую троицу, чем найденную вами: „земство, артель и община" — или сознаться, что тот особый строй, который придается государственным и общественным формам усилиями русского народа, еще не настолько выяснился, чтобы мы, люди рефлексии, подвели его под категории» (*Т. Письма, V*, 51—52).

В письме от 27 октября (8 ноября) 1862 г. Тургенев оспаривает мысль своего оппонента об особом, отличном от европейского пути развития России и упрекает его в мистическом преклонении перед «русским тулупом», т. е. в идеализации русского народа с его исторически сложившимися патриархальными отношениями.

Ссылаясь на данные истории, филологии, статистики и т. д., Тургенев доказывает, что русские принадлежат «и по языку и по породе к европейской семье ⟨...⟩ и, следовательно, по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же дороге» (там же, с. 67).

Тургенев считал, что различные теории самобытного развития России только вредят делу ее последовательной европеизации, т. е. общему прогрессу страны, так как они бьют «по всему, что дорого каждому европейцу», — «по цивилизации, по законности, по самой революции, наконец». Поэтому он предостерегает Герцена об опасном влиянии его «славянофильских» идей на неопыт-

ную молодежь: «. . .и, налив молодые головы вашей еще не перебродившей социально-славянофильской брагой, пускаете их хмельными и отуманенными в мир, где им предстоит споткнуться на первом шаге» (там же, с. 67—68).

Тургенев упрекает Герцена в отходе от западнических идей Белинского, учениками и последователями которого они оба себя считали, и в уступках славянофилам. В письмах 1867 г. Тургенев шутливо называет Герцена «славянофилом и патриотом», «последним славянофилом» и «непоследовательным славянофилом» из-за его «мистической веры» в русский народ и в особый, отличный от европейского, путь развития России. Вера Герцена в «демократически-социальные тенденции» народа (община и артель) — это, по мнению Тургенева, «та же троеручица» (письмо от 13 (25) декабря 1867 г. — *Т, Письма, VII*, 13).

«Что же делать?» — восклицает Тургенев и сам же отвечает: «. . .возьмите науку, цивилизацию — и лечите этой гомеопатией мало-помалу. А то, пожалуй, дойдешь до того, что будешь, как Ив⟨ан⟩ Сер⟨геевич⟩ Аксаков, рекомендовать Европе для совершенного исцеления обратиться в православие. Вера в народность — есть тоже своего рода вера в бога, есть религия — и ты — непоследовательный славянофил — чему я лично, впрочем, очень рад» (там же, с. 14).

Таким образом, Тургенев в 1860-е годы разграничивал западническую и славянофильскую точки зрения в подходе к таким проблемам, как перспективы исторического развития России и ее отношение к Европе; роль интеллигенции и народа в деле русского прогресса; задачи и формы сближения интеллигенции и народа. Различным концепциям особого, самобытного, отличного от европейского пути развития России, опирающимся на идеализацию крестьянской поземельной общины и сближающим, по мнению Тургенева, славянофилов с представителями некоторых других социально-философских направлений русской общественной мысли (Герцен, народники, почвенники и др.), писатель противопоставлял программу дальнейшей последовательной европеизации России во всех областях социальной, общественной и культурной жизни.[15]

Общая антиславянофильская направленность «Дыма», чутко уловленная Достоевским, задевала многие кровные убеждения самого писателя.

Идеологические расхождения между Достоевским и Тургеневым (их крайним выражением явились «Дым», с одной стороны, и «Бесы» — с другой) подготавливались постепенно и имели необходимые предпосылки в мировоззрении и творчестве обоих писателей. Время их наибольшей идейной и личной близости, во многом обусловленной общим просветительским характером западничества Тургенева и раннего почвенничества Достоевского, падает на 1860—1862 гг. Напомним, что идея широкого распространения интеллигенцией грамотности и образования в народе, пропагандировавшаяся на страницах журнала «Время» в качестве

первого, основного шага к сближению образованного сословия с «почвой», встретила искреннее сочувствие у Тургенева, который в начале 1860-х годов сам пытался практически разрешить эту проблему.[16]

Однако уже в Объявлении об издании журнала «Время» на 1863 г. Достоевский в характеристике проблемы сближения интеллигенции с народом на передний план выдвигает идею нравственного соединения «культурного слоя» с народом. Мировоззренческая и творческая эволюция Достоевского 1863—1865 годов, получившая яркое отражение в «Зимних заметках о летних впечатлениях» и «Записках из подполья», разумеется, не могла быть не замечена Тургеневым.

Так, в частности, в упоминавшемся выше Объявлении об издании журнала «Время» на 1863 г. Тургенев должен был расценить как «славянофильские» упования почвенников на народ («. . .спасенье в почве, в народе»); веру, что в народности «заключаются все способы ее развития»; представления о характере сближения интеллигенции с народом («Мы прямо говорили и теперь говорим, что нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче; что надо совершенно слиться с ним и нравственно стать с ним как одна единица»); веру в «русскую будущность», в самобытное развитие России на основе общины («. . .мы не говорили, что всё надо переломить сперва по-немецки и только тогда считать нашу народность за способный материал для будущего вековечного здания»; «при свободе развития мы верим в русскую будущность, мы верим в самобытную возможность ее»; ср.: «Но в его (народа. — *Н. Б*) взглядах на жизнь, в иных его родовых обычаях, в иных уже сложившихся основаниях общества и общины есть столько смысла, столько надежды в будущем, что западные идеалы не могут к нам подойти беззаветно» — *Д*, XX, с. 209—210);[17] наконец, нападки на европейскую цивилизацию.

«Зимние заметки о летних впечатлениях» Тургенев должен был воспринять как произведение, близкое славянофилам по своему духу и идеям. Общая проблема «Россия—Запад» позволяет сблизить «Зимние заметки» с циклом статей Герцена «Концы и начала» и романом Тургенева «Дым». Перспективы исторического развития пореформенной России, ее отношение к Западу и европейской цивилизации; пути русского прогресса; взаимоотношение интеллигенции и народа — вот те основные вопросы, которых в разной мере касаются Герцен, Достоевский и Тургенев.

Об идейном и эстетическом воздействии Герцена на автора «Зимних заметок» уже писали исследователи Достоевского, которые одновременно отметили различие идейно-философских и общественно-политических позиций обоих писателей.[18]

Достоевского сближает с Герценом резкое неприятие европейской буржуазной цивилизации как цивилизации социально несправедливой и антигуманной; уверенность, что ее прогрессивная роль уже исчерпана; вера в самобытный, отличный от европейского путь развития России — на основе поземельной крестьянской

общины, в которой Герцен видел ячейку будущего социалистического общества, а Достоевский — залог возможного лишь в России христианского братства.[19] В отрицательном отношении Достоевского к современному буржуазному Западу получили сложное преломление славянофильская и западническая традиции. Тургенев критически относился к поземельной общине и артели, не усматривал в них наличия «демократически-социальных тенденций» и рассматривал их как формы закабаления народа. «От общины Россия не знает как отчураться, — писал он Герцену 13(25) декабря 1867 г. — ...Не дай бог, чтобы бесчеловечно-эксплуататорские начала, на которых действуют наши „артели" — когда-нибудь применялись в более широких размерах!» (*Т, Письма*, VII, 13). Тургенев считал, что «тот особый строй, который придается государственным и общественным формам усилиями русского народа, еще не настолько выяснился, чтобы мы, люди рефлекции, подвели его под категории» (там же, V, 52).

Тургенев, охарактеризовавший точку зрения Герцена в «Концах и началах» по ряду вопросов, связанных с проблемой «Россия—Запад», как близкую к славянофильской, с еще большим основанием мог бы приложить свой вывод к автору «Зимних заметок о летних впечатлениях».

Сопоставим некоторые тексты в «Зимних заметках» и «Дыме», характеризующие различие во взглядах обоих писателей на одни и те же проблемы России и Запада и наводящие на мысль о возможной полемике.

1. В «Зимних заметках» и в «Дыме» дана характеристика Хрустального дворца (главный павильон Всемирной промышленной выставки близ Лондона). Любопытно, что автор «Зимних заметок» и тургеневский Потугин посетили выставку почти в одно и то же время (весна—лето 1862 г.), но вынесли о ней совершенно противоположное впечатление.

Для автора «Зимних заметок» «кристальный дворец» — это ложный идеал, декорация, фасад европейской цивилизации, еще более подчеркивающий социальные контрасты, нищету и обездоленность народа, бездуховность буржуазного общества в целом и неспособность «западной личности» к братству. Недаром символом выставки, ее ложного величия становятся Ваал и Вавилон. «Вы чувствуете, — пишет Достоевский, — что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующего за свой идеал...» (*Д*, V, 70).

Для Потугина (а в данном случае и для самого Тургенева) Всемирная выставка — «энциклопедия человечества», символ величия и могущества человеческой мысли, мощного прогресса европейской цивилизации, ее высоких научных и технических достижений (см.: *Т*, IX, 232—233).

2. Характеристике взаимоотношений интеллигенции и народа

в «Зимних заметках» можно найти полемическую аналогию в «Дыме». Приведем примеры.

| ДОСТОЕВСКИЙ | ТУРГЕНЕВ |
|---|---|
| «Теперь мы с такою капральскою самоуверенностью, *такими фельдфебелями цивилизации стоим над народом*, что любо-дорого посмотреть: руки в боки, взгляд с задором, смотрим фертом, — смотрим да только поплевываем: „*Чему у тебя, сипа-мужик, нам учиться*, когда вся национальность-то, вся народность-то, в сущности, одно ретроградство да раскладка податей, и ничего больше!“ 〈...〉 К чему же, к чему же таким фертом стоять над народом, руки в боки да поплевывая! . . 〈. . .〉 *Вера это или просто кураж над народом или, наконец, нерассуждающее, рабское преклонение именно перед европейскими формами цивилизации. . .*» (*Д*, V, 60—61; курсив мой. — *Н. Б*). | «Право, если б я был живописцем, вот бы я какую картину написал: Образованный человек стоит перед мужиком и кланяется ему низко: *вылечи, мол, меня, батюшка-мужичок, я пропадаю от болести*; а мужик в свою очередь низко кланяется образованному человеку: *научи, мол, меня, батюшка-барин, я пропадаю от темноты*. — Ну, и разумеется, оба ни с места. *А стоило бы только действительно смириться — не на одних словах — да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас и прежде нас!*» (*Т*, IX, 170—171; курсив мой. — *Н. Б*). |

Достоевский пародийно заостряет в «Зимних заметках» характеристику русских крайних западников, презирающих свой народ и его идеалы, слепо преклоняющихся перед европейской цивилизацией и стремящихся превратить русского мужика в «общечеловека», лишенного национального лица, насильно навязав ему чуждый ему европеизм («фельдфебелями цивилизации стоим над народом»). В подтексте этой характеристики — мысль о необходимости смирения русской интеллигенции перед родной «почвой» и народными началами как исходный момент для сближения между сословиями.

Потугин пародирует характерные для славянофилов и почвенников представления о русском образованном человеке, страдающем от разрыва с родной «почвой», погибающем от нравственной «болести» и смиренно ищущем исцеления у мужика (ср. «Ряд статей о русской литературе»).

В образе мужика, пропадающего от «темноты», Потугин отражает западнические представления о народе, «болезнь» которого (темнота, невежество, забитость и т. д.) могут излечить европейское просвещение и образование.

Фраза Потугина: «А стоило бы только действительно смириться — не на одних словах — да попризанять у старших братьев, что они придумали и лучше нас и прежде нас!» — полемический выпад против славянофилов и почвенников, с их идеей смирения, преклонения перед «народной правдой» (этот мотив отчетливо звучит в творчестве Достоевского 1860-х гг. и особенно усиливается в «Дневнике писателя» за 1876—1877 гг.). Подобное смирение, ассоциировавшееся у Тургенева с идеализацией патриар-

хальной старины и отсталости народа, представлялось писателю ложным.

3. Автор «Зимних заметок» противопоставляет русский народ, в натуре которого якобы самой природой заложено инстинктивное тяготение к братству, к согласию, к общине, «западной личности», не способной к братству вследствие сильно развитого в ней индивидуалистического, эгоистического начала (*Д*, V, 79—81).

Чуждое Тургеневу противопоставление русского национального начала общечеловеческому было осмеяно им в «Дыме». В данном случае Тургенев мог бы непосредственно переадресовать Достоевскому слова, сказанные им Герцену в письме от 27 октября (8 ноября) 1862 г.: «Ты с необыкновенной тонкостью и чуткостью произносишь диагнозу современного человечества — но почему же это непременно западное человечество — а не „bipèdes“ [20] вообще? Ты точно медик, который, разобрав все признаки хронической болезни, объявляет, что вся беда происходит оттого, что пациент — француз» (*Т. Письма*, V, 67).

Несомненно также, что для Тургенева были неприемлемы в «Зимних заметках» резкое отрицание западной цивилизации и вера в особый, отличный от общеевропейского,[21] путь развития России.

Разумеется, автор «Зимних заметок» в его критике «крайних» западников еще не метил непосредственно в Тургенева. Напротив, Достоевский защитил его как создателя «беспокойного и тоскующего Базарова» от нападок М. А. Антоновича и других «прогрессистов». Однако идейные расхождения между обоими писателями в подходе к коренным проблемам русской и европейской действительности уже налицо.

## 2

Н. Ф. Бельчиков справедливо предположил, что внешним поводом к запоздалому, казалось бы, обращению Достоевского к «Дыму» в 1876 г. послужило упоминание имени Потугина в некрологе критика В. Г. Авсеенко, посвященном памяти А. К. Толстого.[22]

Речь идет о следующих строках: «Граф Толстой менее всего напоминал тех почитателей народности, которые, по выражению Потугина в „Дыме“, обращаются к народу словно пустые сосуды: влейся, мол, в нас живая вода. У графа Толстого в его так называемых народных произведениях в характерную народную речь и в народные образы облекалась обыкновенно собственная мысль, собственное чувство».[23]

Скорее всего, однако, в статье В. Г. Авсеенко Достоевского задело не столько упоминание ненавистного ему Потугина, сколько фраза о «пустых сосудах» и «живой воде»,[24] полемически направленная против славянофильских представлений о характере взаимоотношений интеллигенции и народа, которую Достоевский, оче-

видно, воспринял как язвительный намек на его собственные убеждения.

В конце 1875 г. Достоевский специально перечитал «Дым» и, очевидно, пришел к выводу, что роман не утратил своей актуальности. У писателя возникло намерение «дать отпор» идеям Потугина уже в первых выпусках «Дневника писателя» за 1876 г.

Анализ черновых записей, относящихся к «Дыму» в записных тетрадях 1875—1877 гг. и в других подготовительных материалах к «Дневнику писателя», позволяет воссоздать в общих контурах широко задуманную, но лишь частично осуществленную Достоевским полемику с автором «Дыма».

При повторном чтении «Дыма» внимание Достоевского-полемиста привлекли, наряду с рассказом Потугина о Всемирной промышленной выставке (вызвавшим сильное раздражение у Достоевского еще в 1867 г.), рассуждения тургеневского героя на эстетическую тему (см.: *Т*, IX, 236—237) и в особенности потугинская ироническая характеристика русского былинного героя Чурилы Пленковича, которую писатель расценил как клевету на русский народ и его идеалы.

Образ Потугина, по признанию самого Тургенева, вызвал «многоразличные нарекания» и «более всех других» оскорбил «патриотическое чувство публики» (там же, с. 329). В предисловии к отдельному изданию «Дыма» (1868) Тургенев собирался специально разъяснить Потугина и его взгляды, но отказался от этого намерения и ограничился тем, что в отдельном издании романа придал Потугину «несколько новых черт, еще определительнее высказывающих его значение, сущность и смысл» (там же). Тургенев усилил в западнических взглядах своего героя идею *творческого характера* заимствования Россией лучших достижений европейской цивилизации.

Отказавшись от прямой полемики с критиками «Дыма», Тургенев тем не менее в завуалированной форме осуществил свое намерение в «Воспоминаниях о Белинском», вошедших в состав «Литературных воспоминаний».

Обращение Тургенева в 1869 г. к Белинскому не было случайным. Провозгласив себя учеником и последователем Белинского, Тургенев ссылкой на высокий авторитет учителя попытался защитить себя и своего Потугина, скромного рядового западника 1840-х годов, от нападок критиков, обвинявших писателя в оскорблении русского национального чувства, слепом преклонении перед Западом, в незнании России и т. д.

В характеристике западнических убеждений Белинского Тургенев также подчеркнул идею творческого заимствования Россией достижений европейской цивилизации.

«Он был западником не потому только, что признавал превосходство западной науки, западного искусства, западного общественного строя, — пишет о Белинском Тургенев, — но и потому, что был глубоко убежден в необходимости восприятия Россией всего выработанного Западом — для развития собственных ее сил, соб-

ственного ее значения. Он верил, что нам нет другого спасения, как идти по пути, указанному нам Петром Великим, на которого славянофилы бросали тогда свои отборнейшие перуны 〈. . .〉 Белинский был вполне русский человек, даже патриот 〈. . .〉 благо родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, Белинский любил Россию; но он также пламенно любил просвещение и свободу: соединить в одно эти высшие для него интересы — вот в чем состоял весь смысл его деятельности, вот к чему он стремился» (*Т*, XIV, 42—43).

Следует отметить, что в интерпретации Тургенева западничество Белинского носило отвлеченный просветительский характер и было лишено революционного начала.

Не случайно, характеризуя идеал Белинского, во имя которого критик отрицал существующую русскую действительность, Тургенев перечисляет в качестве синонимов такие разнородные понятия, как «наука», «прогресс», «гуманность», «цивилизация», «Запад» и даже «революция», причем слово «революционер» в применении к Белинскому Тургенев употребляет в значении просветитель, новатор, передовой деятель эпохи, чутко уловивший ее требования (там же, с. 42). Как известно, «революционную роль» образованного класса России Тургенев видел в передаче цивилизации народу. Поэтому в представлении писателя были своеобразными «революционерами» Петр Великий и Ломоносов.

В подтексте тургеневской характеристики Белинского заключена мысль, что можно быть одновременно сторонником европейского просвещения и русским патриотом, можно критически относиться к «народным началам», народному творчеству и в то же время горячо любить русский народ, верить в его великое будущее. Такова была своеобразная форма самозащиты, избранная Тургеневым.[25]

Западнические убеждения Белинского, пишет Тургенев, «ни на волос не ослабили в нем его понимания, его чутья всего русского, не изменили той русской струи, которая била во всем его существе». В подтверждение своей мысли Тургенев ссылается на статьи критика «о народных песнях и былинах»,[26] которые «поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества» (там же, с. 43).

Упоминание Тургеневым статей Белинского о народном творчестве и их высокая оценка знаменательны. Очевидно, писатель преследовал скрытую цель подчеркнуть, что он является также последователем фольклористических взглядов Белинского, и тем самым указать источник некоторых высказываний Потугина о народном творчестве.

Действительно, у Белинского можно встретить резкие, парадоксальные суждения о русском фольклоре, полемически направленные против идеологии официальной народности и формировавшегося в 1840-е годы славянофильства.[27] Эти суждения давали повод некоторым критикам и историкам литературы упрекать Белинского в слабом знании и непонимании народного творчества,

высокомерном, презрительном к нему отношении и т. д. Прекрасный знаток и тонкий ценитель русского фольклора, Белинский, однако, подходил к нему без предвзятой идеализации, так как видел в нем отражение исторической жизни народа, сложной и противоречивой по своему характеру.[28] В некоторых произведениях народного эпоса критик отмечал слабо развитый эстетический идеал и художественный вкус, грубое, непоэтическое выражение чувства любви, нерыцарское отношение к женщине.

Народная жизнь допетровской Руси представлялась Белинскому самобытной, оригинальной, но во многом неразвитой, односторонней, замкнутой. Народное творчество, свидетельствующее, по мнению критика, о духовной одаренности и талантливости русского народа, отразило также отрицательные, темные и грубые стороны его исторического быта.

О самобытности русского народа и величии его духа свидетельствует, по мнению Белинского, русская история, в частности свержение монголо-татарского ига, грандиозная личность Петра Великого, наличие героических национальных характеров. Об этом же говорят и произведения народной поэзии, «запечатленной богатством фантазии, силою выражения, бесконечностью чувства, то бешено веселого, размашистого, то грустного, заунывного, но всегда крепкого, могучего, которому тесно и на улице, и на площади, который просит для разгула дремучего леса, раздолья Волги-матушки, широкого поля. . .». «Но такова участь даже и великого народа, — добавляет Белинский, — если враждебная судьба или неблагоприятное историческое развитие лишают его потребной ему сферы и для необъятной силы его духа не дают приличного ей содержания. . .».[29]

Белинский разделял национальные недостатки на «субстанциональные» (т. е. существенные, основные, внутренние) и «прививные» (т. е. полученные извне, приобретенные). Последние явились «следствием несчастного исторического развития и разных внешних и случайных обстоятельств». «. . .наши национальные недостатки, — пишет Белинский, — не могут нас унизить перед благороднейшими нациями в человечестве ⟨. . .⟩ Недостатки нашей народности вышли не из духа и крови нации, но из неблагоприятного исторического развития».[30] Поэтому, согласно просветительским взглядам критика, они должны исчезнуть по мере распространения в народе образования и просвещения.

М. К. Азадовский убедительно показал, что суждение Потугина о русском народном творчестве, о благотворном влиянии европейской цивилизации на народную поэзию, любовь (поэтизация, романтизация любви), на формирование у народа эстетического идеала и вкуса, высказывание об изображении любви и любящих пар в русских былинах, характеристика Василия Буслаева — все это восходит к статьям Белинского 1840-х годов.[31]

Так, например, в основе тезиса Потугина «без цивилизации нет и поэзии» лежит мысль Белинского о необходимости связи между

народным, национальным и общечеловеческим (отождествляемым с европейским).

«...только та литература есть истинно народная, которая в то же время есть общечеловеческая, — писал Белинский, — и только та литература есть истинно человеческая, которая в то же время есть и народная. Одно без другого существовать не должно и не может».[32]

По поводу изображения любви в некоторых русских былинах Белинский заметил: «Любовь до того изгнана у нас из тесного круга народного созерцания жизни, что в самом браке является каким-то чуждым, греховным элементом, враждебным святости союза. освящаемого религиею; вне же брака она — бесовская прелесть, дьявольское наваждение, нечистое вожделение Змея Горынчата, преступная контрабанда жизни. Удивительно ли после этого, что эта любовь является в подобных поэмах так простонародно-неэстетическою, так цинически чувственною, так оскорбительною и возмутительною для чувства, в таких грубых кабацких формах?».[33]

Характерно, что Тургенев прибегает к тем же примерам и цитатам из былин, что и Белинский в цикле статей «Древние российские стихотворения...».[34]

В свете фольклорных статей Белинского становится очевиден просветительский пафос резких суждений Потугина о народном творчестве. Несомненно, что они носят ярко выраженный полемический характер и направлены против идеологов официальной народности и славянофилов 1860-х годов,[35] противников последовательной европеизации России, с которой западники связывали социальный и культурный прогресс России.

Потугин в понимании Тургенева отнюдь не космополит, напротив, он своеобразный патриот. Любовь к родине сочетается в нем в духе «отрицательного» западничества 1840-х годов с ненавистью ко всему тому, что мешает ее прогрессивному развитию по общеевропейскому пути. Он резко критикует некоторые черты русского народа, выходящие, если употребить выражение Белинского, «из невежества и непросвещения», но вместе с тем признает народную самобытность и одаренность. По мысли Потугина, народ вынес коренную ломку многовекового строя и быта, явившуюся следствием петровских преобразований, именно потому, что оказался самобытным и сильным, что у него «крепка натура» (*Т*, IX, 172).[36] О вере Потугина в самобытность русского народа свидетельствует также его убеждение, что «народный желудок» переварит по-своему «пищу добрую» (т. е. лучшие достижения европейской цивилизации), а со временем, «когда организм окрепнет, он даст свой сок» (там же, с. 171). Подобный процесс произошел, по мнению Потугина, с русским языком, который Петр I наводнил тысячами новых иностранных слов. «Сперва — точно вышло нечто чудовищное, — замечает Потугин, — а потом — началось именно то переваривание, о котором я вам докладывал. Понятия привились и усвоились; чужие формы посте-

пенно испарились, язык в собственных недрах нашел чем их заменить. . .» (там же, с. 172).

Потугин не является также, как это представлялось многим критикам, огульным отрицателем народного творчества. Подчеркивая негативные стороны народной культуры, явившиеся следствием неблагоприятного исторического развития русского народа, Потугин выступает как противник патриархальной отсталости и ограниченности, как пропагандист идеи европейского просвещения и образования народа. Именно таков смысл полемического суждения Потугина о русском фольклоре (там же, с. 236—237). Чрезмерное превознесение славянофилами «наивного», «бессознательного» народного творчества и противопоставление его европейской культуре ассоциируется у Потугина с идеализацией патриархальной старины и отсталости.

## 3

Приведем потугинскую характеристику Чурилы Пленковича, вызвавшую у Достоевского сильное раздражение.

«Вот, извольте посмотреть. Идет жёнь-премье; шубоньку сшил он себе кунью, по всем швам строченую, поясок семишелковый под самые мышки подведен, персты закрыты рукавчиками, ворот в шубе сделан выше головы, спереди-то не видать лица румяного, сзади-то не видать шеи беленькой, шапочка сидит на одном ухе, а на ногах сапоги сафьянные, носы шилом, пяты востры — вокруг носика-то носа яйцо кати; под пяту-пяту воробей лети — перепурхивай. И идет молодец частой, мелкой походочкой, той знаменитой „щепливой“ походкой, которою наш Алкивиад, Чурило Пленкович, производил такое изумительное, почти медицинское действие в старых бабах и молодых девках, той самой походкой, которою до нынешнего дня так неподражаемо семенят наши по всем суставчикам развинченные половые, эти сливки, этот цвет русского щегольства, этот nec plus ultra ⟨высшая степень (*лат.*)⟩ русского вкуса. Я это не шутя говорю: мешковатое ухарство — вот наш художественный идеал» (*Т*, IX, 237).

Шаржированный образ Чурилы Пленковича, нарисованный Потугиным для характеристики «поэтического идеала нецивилизованного русского» (т. е. русского человека допетровской эпохи), восходит к былине о Дюке Степановиче в записях П. Н. Рыбникова.[37]

Чурило Пленкович — центральный персонаж двух былин: «Чурило и Князь» и «Чурило и Катерина» (названия этих былин варьируются). Он является также одним из главных действующих лиц былины о Дюке Степановиче, широко распространенной и известной в многочисленных записях.

Чурило неизменно изображается в былинах как молодой красивый щап, т. е. франт, щеголь, пользующийся огромным успехом у женщин.[38]

Былина повествует о состязании в богатстве и щегольстве двух молодых щапов — Дюка Степановича и Чурилы Пленковича, закончившемся полным посрамлением последнего. В былине подробно описываются богатые наряды обоих щапов:

Чурило сын Пленкович
Обул сапожки-то зелен сафьян;
Носы шилом, а пяты востры,
Под пяту хоть соловей лети,
А кругом пяты хоть яйцом кати,
Надел он шубу-то соболькою:
Во пуговках литы добрые молодцы,
Во петельках шиты красные девицы;
И наложил он шапку черну мурманку,
Ушисту, пушисту, завесисту:
Спереди не видно ясных очей,
А сзади не видно шеи белыя.[39]

Характеристики соперников, изощряющихся в хитроумных выдумках, чтобы перещеголять друг друга, пронизаны тонким юмором.

В. Я. Пропп, усмотревший в этой былине злую сатиру на боярских модников XVII в., отметил, что мода того времени могла дать обильную пищу для пародии.

«Одно из главных качеств щапа, — пишет исследователь, — заключается в том, чтобы иметь все самое дорогое, самое лучшее и, главное, такое, какого ни у кого нет, по возможности, заграничное, что трудно достать и чем можно хвастать ⟨. . .⟩ Былина особенно много говорит об обуви и о головных уборах. Принцип описания всегда один: преувеличивается какая-нибудь частность и этим создается впечатление нелепости и карикатурности. Впрочем, преувеличения былины очень близки к истине ⟨. . .⟩ О меховых шапках того времени известно, что они покрывали не только головы, но и половину лба и шеи. Реже и менее ярко описывается кафтан „с прозументами", зато с тем большими подробностями былина останавливается на обуви. Необычайность обуви состоит в чрезвычайно высоких каблуках и в длинных острых носках ⟨. . .⟩ Иногда говорится, что между каблуком может пролететь воробей ⟨. . .⟩ Все это весьма близко к истине и гиперболизация даже не очень сильна ⟨. . .⟩ Менее ярко описывается самая одежда. Упоминается кафтан с позументами, соболиная шуба не русского, а заморского соболя, говорится, что драгоценная одежда вся выстрочена золотом и серебром. . .». «Подробное ознакомление с былиной, — заключает исследователь, — вскрывает ее смысл. Она представляет собой сатиру на московское боярство XVII века. На это указывает вся бытовая обстановка, которая обрисована в этой былине с исключительной яркостью».[40]

Тургенев, если судить по потугинской характеристике Чурилы Пленковича, очевидно, не заметил сатирического характера изображения народным сказителем этого боярского щеголя[41] с его пристрастием ко всему модному, необычному, заморскому,[42] так как счел костюм Чурилы выражением эстетического вкуса

патриархального, отсталого русского народа, еще не тронутого европейской цивилизацией.

Впрочем, в данном случае Тургенева и упрекать трудно: В. Я. Пропп отметил, что даже многочисленные исследователи былины не заметили в ней юмора и сатиры, а вопрос об идейных и политических тенденциях ее вообще не ставился.[43]

Конечно, Чурилу Пленковича никак нельзя счесть народным «поэтическим идеалом», и Достоевский в данном случае более прав, противопоставив в своих записных тетрадях Чуриле Илью Муромца, в образе которого отразилось народное представление о прекрасном.

Следует признать, что полемически шаржированный Потугиным образ Чурилы Пленковича явился не очень удачной художественной иллюстрацией идей о необходимости связи национального с общечеловеческим (отождествляемым в данном случае с европейским), о благотворном влиянии западной культуры на формирование и развитие эстетического идеала и вкуса русского народа.

## 4

Первоначально Достоевский собирался посвятить «Дыму» и полемике с идеями Потугина специальную главку в январско-февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. На это указывает, в частности, черновая заметка в записной тетради Достоевского 1875—1876 гг.: «Статья. 1) Потугин, Тургенев — (красота). Цивилизация» (*Д*, XXIV, 74).

Однако этот замысел не был реализован. Многочисленные заметки в записной тетради 1875—1876 гг. и на отдельных листах связывают тему «Потугин и красота» с главкой «Елка в клубе художников» (январь, глава первая, §3). Приведем наиболее значительные заметки из черновых подготовительных материалов к январскому выпуску «Дневника писателя» за 1876 г. и из записных тетрадей 1870-х годов:

«Потугин. Костюмы. Александр и Карамзин». — «„Дым“ Тургенева». — «Бал. Костюмы. Потугин». — «Костюм, адская штука, чтоб оплевать Россию». — «Пусть Потугин вспомнит хоть себя, когда он был молод (в сороковых годах, что ли)». — «Потугин, что такое костюм. . . (кстати, Потугин). Тут личность, тут как она носит костюм, что она из него делает — рабство». — «Детский бал — (всё так, как в черновой). Потугин, костюмы — и проч. Несколько слов о „Дыме“ и о Тургеневе».

«„*Дым*“, *о красоте*, Потугин, ругательство на Россию,[44] красота Белинского».[45] — «Красота, вспомните лакейские ливреи маркизов и маркиз, падающих на носки (Казанова)».[46] — «В прекрасном народы страшно ошибались. Барельеф Карамзин и Александр Павлович». — «Описание танцев, вертящих польку, костюмы ⟨...⟩ (Потугин. Костюмы, Чурило Пленкович, Александр и Карамзин). Я потому, что перечел „Дым“. Несколько слов

о „Дыме“ (едких)» (*Д*, XXII, 137, 138, 140, 141, 144; XXIV, 73, 74, 91).

Черновые записи (некоторые из них носят развернутый характер) дают возможность воссоздать ход рассуждений Достоевского и установить основные моменты его спора с Потугиным о прекрасном.

Что такое красота (красота внешних европейских форм и красота высшего идеала); идеал прекрасного в современной буржуазной Европе и у русского народа; европейская цивилизация и характер ее влияния на Россию — вот те основные вопросы, навеянные суждениями Потугина, которые, по первоначальному (неосуществленному) плану, Достоевский-полемист, очевидно, намеревался затронуть в главке «Елка в клубе художников».

Тема бала с описанием танцев и современных европейских костюмов давала писателю возможность сделать экскурс в область прекрасного и поспорить с Потугиным.

Достоевский говорит о необходимости разграничить красоту внешнюю, условную, преходящую (костюмы, мода) и красоту истинную, высшую (идеал прекрасного). Мода переменчива: «. . .во что одевался человек, то, быв очаровательным в свое время, в весьма скорое потом становится омерзительным». «Лакейские ливреи» французских маркизов XVIII в. некогда казались прекрасными. «Фалдочки и фраки» времен Империи и Реставрации теперь смешны, в то время как костюмы древних русских князей «и теперь хороши». «Но для нас хороши, — добавляет Достоевский, — а в Афинах, может быть, были бы забракованы и осмеяны» (*Д*, XXIV, 87). Что же касается современного европейского костюма, то он, по мнению писателя, еще более уродлив, чем осмеянный Потугиным костюм Чурилы Пленковича.

Остался «незыблемым (в красоте)», иронизирует Достоевский, лишь «костюм» античных богов Аполлона Бельведерского и Венеры Милосской, да и этот «костюм» «не всегда хорош», доказательством чему может служить, по мнению писателя, памятник Н. М. Карамзину в Симбирске работы скульптора С. И. Гальберга (1845).

«. . .оба в древних костюмах, то есть голые, по крайней мере, на $^{9}/_{10}$», — так характеризует Достоевский изображенные на барельефе памятника фигуры Карамзина и Александра I (там же, с. 68).[47] «Так что и костюм Аполлона Бельведерского не всегда хорош, — заключает Достоевский, — 〈. . .〉 Потугин сказал ложь о России из злобы. Нерассуждающим действительно может показаться: „Как Россия ниже всех стран даже и в красоте костюма“» (там же, с. 88).

Смысл этого высказывания таков: Потугин, осмеявший внешний облик Чурилы Пленковича и представивший его «поэтическим идеалом» русского народа, неправомерно сблизил красоту внешнюю, условную, преходящую (костюм, мода) и красоту истинную, высшую, извечно живущую в душе русского народа как идеал прекрасного (Христос, былинный герой Илья Муромец).

В записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский следующим образом подытожил свой спор с Потугиным о красоте, к сожалению, почти не реализованный в «Дневнике писателя»: «Красота богов и идеала, они являются прямо обнаженные, но не боги и не идеал этого не вынесут. У обыкновенных, текущих людей красота условна. И тогда только очищается чувство, когда соприкасается с красотою высшей, с красотою идеала. Это соприкосновение с красотою идеала есть и в былинах наших, и в сильной степени. Там есть удивительные типы Ильи Муромца [48] и фантастического Святогора и проч. Потугин отлично об этом знал,[49] но ему надо было оплевать народ русский за его безвкусицу, сделать смешным, возбудить к нему презрение и отвращение, и вот он выдернул картину прошедших мод и современной блестящей даме показал, какую глупую шляпку одевала ее маменька в 20-х годах (то есть дело шло про Чурилу, но все равно значение то же). Потугин только забыл взглянуть на себя и на то, как он сам был одет и в чем всю жизнь находил прекрасное» (там же, с. 198).

С темой европейской цивилизации, во многом навеянной суждениями Потугина, Достоевский первоначально намеревался полемически связать целый комплекс социально-политических, нравственно-философских и эстетических проблем. Однако в процессе работы писатель существенно сузил свой замысел: тема современной буржуазной цивилизации Запада и ее отношение к России — одна из ведущих тем в «Дневнике писателя» 1876—1877 гг. В упоминавшейся выше главке «Елка в клубе художников» (январский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г.) отражением этой темы являются авторские рассуждения о наружных, внешних формах европейской цивилизации, усвоенных русским образованным обществом (европейские костюмы, танцы, светский этикет, с одной стороны, пьяные драки и скандалы — с другой).

Прежде всего следует установить, какое содержание вкладывают в понятие «цивилизация» оба писателя.

Тургенев обычно подразумевает под цивилизацией уровень общественного развития и материальной культуры, достигнутый передовыми странами Запада, а также культуру, науку, образование, просвещение, прогресс, гуманность и т. д., которые он также связывает с Западом.

Достоевский очень редко употребляет слово «цивилизация» в тургеневском смысле. В 1860—1870-е годы у него встречается двоякое толкование цивилизации: широкое, наполненное большим историко-философским содержанием, и более узкое, исторически конкретное — современные буржуазные государства Европы.

Первое толкование цивилизации содержится в черновиках неосуществленной статьи Достоевского «Социализм и христианство» (1864). Достоевский выделяет здесь три этапа в поступательном развитии человечества — «первобытные патриархальные общины», «цивилизацию» и «братство».

В первобытных патриархальных общинах человек жил «массами», «непосредственно», подчиняясь высшему авторитету.

Сознание и личное индивидуальное начало в этот период были развиты слабо. Цивилизацию Достоевский характеризует как сложный, исполненный противоречий переходный период в истории человечества, к которому писатель относил и современную ему действительность. По определению Достоевского, «распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное». В Европе «развитие цивилизации дошло до крайних пределов, то есть до крайних пределов развития лица» (*Д*, XX, 192). Отличительные черты личности в период цивилизации: сильное развитие сознания и индивидуального, личного начала, отсутствие «непосредственных ощущений», потеря веры и источника «живой жизни», враждебное отношение к «авторитетному закону масс и *всех*», трагическое разобщение с «почвой», народом.

Конечной целью человечества в его поступательном развитии, как считал Достоевский, является братство, которое писатель понимал утопически как сознательное, добровольное возвращение всесторонне-развитой личности «в массу», в коллектив.

«Достигнуть полного могущества сознания и развития, вполне сознать свое *я* — и отдать это *всё* самовольно *для всех*» (там же) — вот, по Достоевскому, основа истинного братства.[50]

В «Дневнике писателя» 1876—1877 гг. Достоевский-публицист обычно подразумевает под «цивилизацией» современную буржуазную Европу, к которой относится резко критически. Поэтому слова «цивилизация», «цивилизованный», «цивилизатор» в публицистике Достоевского часто имеют иронический смысл.[51]

Автор «Дневника писателя» в полемических целях постоянно использует неоднозначность понятия «цивилизация». Если Тургенев вкладывает в это понятие просветительский смысл, имея в виду лучшие достижения европейской цивилизации в области науки, культуры, буржуазно-демократических свобод, государственных и общественных форм жизни и т. д., то Достоевский, исходивший из убеждения, что прогрессивная роль европейской цивилизации в целом уже исчерпана, противопоставляет отвлеченному, с его точки зрения, тургеневскому пониманию цивилизации конкретные формы буржуазной цивилизации Запада с ее социальным неравенством, властью денег, бездуховностью буржуазного общества и т. д.

Яркая характеристика современной буржуазной цивилизации на Западе дана в главке «Российское общество покровительства животным» (январский выпуск, глава третья, § 1). Достоевский отрицает эту цивилизацию как несправедливую и антинародную по своему существу, основанную на «озверении одной части людей для благосостояния другой части 〈. . .〉 как это везде во всей Европе» (*Д*, XXII, 31). (В черновом варианте она названа «цивилизацией Потугиных» и подвергнута резкой критике, ибо в ней «свет и высшие блага жизни завещаны лишь 10-й доле» — *Д*, XXIV, 127).[52]

Главка «Российское общество покровительства животным» заканчивается замечательными словами, свидетельствующими

о подлинном демократизме Достоевского: «Я никогда не мог понять мысли, что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или там сколько их тогда народится) будут все, когда-нибудь, образованны, очеловечены и счастливы ⟨...⟩ Верую даже, что царство мысли и света способно водвориться у нас, в нашей России, еще скорее, может быть, чем где бы то ни было. . .» (*Д*, XXII, 31).

## 5

Достоевский предполагал вернуться к полемике с Потугиным в февральском выпуске «Дневника писателя». В одном из черновых планов к этому выпуску, наряду с заметками, посвященными делу Кронеберга (писатель узнал о нем из газет в конце января—начале февраля 1876 г.), содержатся записи:

«Потугин и красота».

«Гений чистой красоты».

«Славянофилы и западники» (*Д*, XXIV, 130).

Определение «гений чистой красоты» в применении к Потугину имеет иронический смысл. Потугинскому пониманию красоты как красоты внешних европейских форм Достоевский противопоставляет в черновых материалах красоту высшего нравственного идеала.

Тема «Славянофилы и западники», также задуманная как полемика с западником Потугиным, была осуществлена Достоевским в суженном виде и без упоминания Потугина (см. февральский выпуск, глава первая, § 1, «О том, что все мы хорошие люди. . .»; июнь, глава вторая, §§ 1—2, «Мой парадокс», «Вывод из парадокса»).

Приведем некоторые черновые записи, связывающие тему «славянофилы и западники» с Потугиным:[53]

1. «Славянофилы и западники кончились. По крайней мере Потугин. Теперь народ идет *сказать свое слово*» (*Д*, XXII, 152).

2. «С уничтожением крепостного права кончилась ⟨. . .⟩ реформа Петра и петербургский период ⟨. . .⟩ Народ идет. Вот идеалы которого осмеял Потугин» (*Д*, XXIV, 76).

3. «Потугин. С уничтожением крепостного права кончилась петровская реформа ⟨. . .⟩. Народ идет. Что-то скажет?» (там же, с. 131).

4. «Все ищем общее благо, деремся, но все мы люди хорошие. Славяноф⟨илы⟩ и западник⟨и⟩. Кончился петров⟨ский⟩ период с уничтожением ⟨крепостных⟩ крестьян, и, кажется бы, примириться, так нет же, война продолжается. Вздор! О Потугине и его бреднях. О Тургеневе. Я перечел» (там же, с. 134).

После крестьянской реформы, по мнению Достоевского, создались благоприятные условия для примирения западников и славянофилов, одинаково страдающих от разобщения с народом,[54] так как и те и другие понимают, что народ, освобожденный от крепостной зависимости, выходит на историческую арену и что «теперь нужно всего ожидать от народа ⟨...⟩ что он, и только он один, скажет у нас последнее слово» (*Д*, XXII, 40). Суть разногласий между западниками и славянофилами, согласно Достоевскому, заключается в следующем: *«на каких началах и основаниях воспроизвести вновь соединение с народом»* (*Д*, XXIV, 236). Примирение спорящих сторон не состоялось: «...славянофилы верят в народ, потому что допускают в нем свои собственные, ему свойственные начала, а западники соглашаются верить в народ единственно под тем условием, чтобы у него не было никаких своих собственных начал» (*Д*, XXII, 40). Иными словами, славянофилы стоят за самобытный, а западники — за общеевропейский путь культурно-исторического развития России.

По логике рассуждений Достоевского, Потугин как убежденный, «крайний» западник оказывается противником идеи примирения между обоими направлениями в силу неверия в самобытность русского народа, презрения к народным идеалам и слепого преклонения перед европейской цивилизацией.

Тема «Потугин и красота» в черновиках к февральскому, мартовскому и апрельскому выпускам «Дневника писателя» за 1876 г. связывается с проблемой народа и его нравственных идеалов.

В главках «О любви к народу. Необходимый контракт с народом» Достоевский продолжает скрытую полемику с «потугинскими», т. е. с типично западническими, поверхностными представлениями о народном идеале прекрасного. Достоевский раскрывает здесь свое понимание русского народа, его сущности и характерных черт, высказывает основополагающие для «Дневника писателя» в целом мысли о народе как носителе национального самосознания, обладающем непреходящими нравственными и эстетическими ценностями.

Внешнему, наносному «варварству» русского народа, обусловленному тяжелыми историческими условиями, Достоевский противопоставляет красоту его внутреннего облика и нравственных идеалов. «А идеалы его сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностию и широким всеоткрытым умом, и всё это в самом привлекательном гармоническом соединении» (там же, с. 43).

Близость к народу и его нравственной правде для Достоевского — основной критерий в оценке русской литературы.

Ценность русской литературы XIX в. Достоевский определяет прежде всего тем, что вслед за Пушкиным «она, почти вся целиком, в лучших представителях своих и прежде всей нашей интеллигенции ⟨...⟩ преклонилась перед правдой народной, признала

идеалы народные за действительно прекрасные» (там же, с. 44). «. . .вспомните Обломова, вспомните „Дворянское гнездо“ Тургенева, — пишет Достоевский. — Тут, конечно, не народ, но всё, что в этих типах Гончарова и Тургенева вековечного и прекрасного, — всё это от того, что они в них соприкоснулись с народом, это соприкосновение с народом придало им необычайные силы. Они заимствовали у него его простодушие, чистоту, кротость, широкость ума и незлобие, в противоположность всему изломанному, фальшивому, наносному и рабски заимствованному» (там же).

В черновом автографе главы после заключительных слов приведенного выше текста следовала восторженная оценка образа Лаврецкого и романа «Дворянское гнездо».[55] «Поэтическую мысль» романа Тургенева Достоевский усматривает в трагическом конфликте Лаврецкого, «простодушного, сильного духом и телом, кроткого и тихого человека, честного и целомудренного», «со всем нравственно грязным, изломанным, фальшивым, наносным, заимствованным и оторвавшимся от правды народной» (там же, с. 189).

Историческая заслуга Тургенева-художника, по Достоевскому, состоит в том, что он первый в русской литературе в образе Лаврецкого воплотил мечту «всех поэтов наших и всех страдающих мыслию русских людей» (т. е. интеллигенции, в том числе западников и славянофилов) о слиянии «оторвавшегося общества русского с душою и силой народной» (там же).

Для Достоевского Лаврецкий — это тип того искомого русского образованного человека, самое существование которого в русской жизни как бы является «пророчеством возможности соединения с народом». Именно поэтому «Дворянское гнездо» «есть произведение вечное» и «принадлежит всемирной литературе».

«Уж меня-то не заподозрят в лести г-ну Ив. Тургеневу, — добавляет Достоевский. — Выставил же я это произведение его, потому что считаю эту поэму, из всех поэм всей русской литературы, самым высшим оправданием правды и красоты народной. Выставил же я произведение г-на Тургенева и потому еще, что г-н Ив. Тургенев, сколько известно, один из самых [ярых] односторонних западников по убеждениям своим и представил нам позднее дрянной и глупенький тип — Потугина, с любовью нарисованный, [и представляющий] олицетворяющий собою идеал сороковых годов ненавистника России и народа русского, со всей ограниченностью сороковых годов, разумеется ⟨. . .⟩ Об этом Потугине ⟨. . .⟩ я еще поговорю ⟨. . .⟩ конечно потом. . .» (там же, с. 190).[56]

Эта замечательная характеристика романа «Дворянское гнездо» и его главного героя — высшее признание Достоевским заслуг Тургенева-художника как подлинно народного писателя. С таким высоким пафосом Достоевский говорил лишь о Пушкине. Не случайно он упомянул Тургенева в числе последователей

Пушкина, осуществивших, по завету своего учителя, дальнейший «поворот к народу» русской литературы.

В своей оценке Лаврецкого и «Дворянского гнезда» в целом Достоевский несомненно близок Ап. Григорьеву, который в 1859 г. в статье «И. С. Тургенев и его деятельность. По поводу романа „Дворянское гнездо"» дал почвенническую интерпретацию романа Тургенева.

Именно Ап. Григорьев первым увидел в Лаврецком русского образованного человека, смирившегося перед «народной правдой». Лаврецкого как человека «жизни» и «почвы», русского по своему существу, критик противопоставил Паншину как «человеку теории» (таков же смысл противопоставления Лаврецкого Потугину у Достоевского).

«Смирение перед народной правдою» — эти слова Лаврецкого [57] Ап. Григорьев поставил эпиграфом к статье «После „Грозы" Островского. Письма к Ив. Серг. Тургеневу» (1860), обращаясь к которому критик напоминает: «Это одно, что осталось нам, это именно и есть смирение перед народной правдою, которою так силен ваш разбитый Лаврецкий. Иначе, без смирения перед жизнию, мы станем непризванными учителями жизни, непрошенными начальниками народного благоденствия — и главное, будем поставляемы в постоянно ложные положения перед жизнию». [58]

Победа «почвы», в представлении А. Григорьева и Достоевского, — это победа «живой жизни» над отвлеченными теориями.

Возможно, что именно новому обращению Достоевского к «Дыму» и Потугину мы обязаны появлением в черновой рукописи «Дневника писателя» приведенной выше замечательной характеристики «Дворянского гнезда» и Лаврецкого. Смысл этой характеристики (открытый в черновом автографе и скрытый в законченной редакции главы) — в противопоставлении Лаврецкого как «почвенного» русского интеллигента и патриота Потугину, беспочвенному космополиту-западнику, «ненавистнику России и народа русского». Для Достоевского Лаврецкий с его смирением перед «народной правдой» — свидетельство возможности сближения интеллигенции с народом, в то время как Потугин, презирающий «народные начала» и слепо преклоняющийся перед европейской цивилизацией, — наглядное доказательство крайнего разрыва европеизированной русской интеллигенции с родной «почвой».

Другая цель Достоевского — противопоставить Тургенева как подлинно народного писателя, признавшего прекрасными народные идеалы (автор «Записок охотника» и «Дворянского гнезда»), Тургеневу — «западнику» и «космополиту», «изменившему» «народной правде» (автор «Дыма»). Лаврецкий и Потугин — это как бы два разных лица самого Тургенева. Это двойное противопоставление проходит завуалированно через многие страницы «Дневника писателя».

Свое обещание специально «заняться» Потугиным [59] Достоевский собирался осуществить в мартовском выпуске «Дневника писателя». Один из черновых планов этого выпуска заканчивается записью: «А после всего Потугин. Значение Тургенева» (*Д*, XXIV, 144—145).

Очевидно, Достоевский намеревался вернуться к не осуществленному в февральском выпуске «Дневника писателя» замыслу — дать общую оценку творчества Тургенева на основе анализа «Дворянского гнезда» и провести параллель между Лаврецким и Потугиным.

Тему «Потугин и красота» Достоевский связывает в мартовских записях с проблемой высшего нравственного идеала как идеала прекрасного и его носителей (народ, «лучшие люди» из интеллигенции). Достоевский полемизирует с общепринятыми в 1860—1870-е годы представлениями о положительных героях и деятелях.

«. . .люди успокаиваются не прогрессом ума и необходимости, а нравственным признанием высшей красоты, служащей идеалом для всех, перед которой все бы распростерлись и успокоились: вот, дескать, что есть истина, во имя которой все бы обнялись и пустились действовать, достигая ее (красоту)» (там же, с. 159). Таким высшим идеалом нравственной красоты для Достоевского являлся Христос, а русский народ — хранителем этого идеала. Русская литература сильна тогда, когда она соприкасается с народом и его высшим нравственным идеалом.

«Я сказал, что ждать от народа, от православия, — пишет Достоевский в мартовских черновиках 1876 г., имея в виду февральский выпуск «Дневника писателя». — Я указал на Тургенева и проч. Но это лишь попытки, намеки. ⟨. . .⟩ Потугин. *Взгляните на Потугиных* — вам поневоле придется остановиться на литературе *Дела*. Но у них потому и талантов нет, что дело еще не разъяснено и что оно пока еще лишь *мечта*» (там же).

В приведенном тексте также содержится скрытое противопоставление Лаврецкого как человека «почвы» Потугину как человеку теории. Достоевский ставит Потугина в один ряд с героями «дела», т. е. с не удавшимися в литературе образами деятелей (в применении к Потугину «дело» понимается как проповедь служения отвлеченной «европейской цивилизации»).

Целая серия черновых записей, характеризующих русскую и западноевропейскую литературы в их отношении к эстетическому идеалу, наводит на мысль, что Достоевский собирался писать специальную статью на эту тему.[60]

«Литературе отчаяния» (современная литература, лишенная высоких идеалов) и неудавшейся литературе «дела» (т. е. деятелей и деятельности) Достоевский противопоставляет «литературу красоты», которая «одна лишь спасет».[61] К «литературе красоты», соприкоснувшейся с высшим идеалом прекрасного, Достоевский отнес, наряду с некоторыми произведениями Гюго, Диккенса,

Пушкина, Толстого, Гончарова, также «Дворянское гнездо» Тургенева, подтвердив тем самым чрезвычайно высокую оценку, данную им этому роману в февральском выпуске «Дневника писателя».

## 6

В записной тетради 1875—1876 гг. сохранился следующий план апрельского выпуска «Дневника писателя»:

«Состав апрельского номера:

— Чурила.

— Сборник казанский.

— Иванище.

— Спиритизм.

— Мечтатель.

— Герцеговинцы (I) и Вост⟨очный⟩ вопрос» (*Д*, XXIV, 176).

Очевидно, Достоевский не оставлял надежды вернуться к «Чуриле», т. е. к полемике с Потугиным о красоте и идеале прекрасного, выработанном русским народом и европейской цивилизацией. Однако «злоба дня» на этот раз помешала писателю осуществить свой замысел. Критик В. Авсеенко опубликовал в мартовском номере «Русского вестника» статью «Опять о народности и о культурных типах», в которой была подвергнута критике главка «О любви к народу. Необходимый контракт с народом» (февральский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г.). Достоевский сразу же решил ответить Авсеенко, а в его лице и всем западникам, так как точка зрения Авсеенко на русский народ, на цели и пути сближения с ним интеллигенции, на взаимоотношения России и Запада представлялась писателю типично западнической.[62]

Ориентация на полемику с Потугиным, во многом предопределенная недавним повторным прочтением «Дыма», несомненно укрепилась в результате нового обращения Авсеенко к тургеневской фразе о «пустых сосудах» в целях пародийного осмеяния взгляда автора «Дневника писателя» на характер взаимоотношений интеллигенции и народа.[63]

В серии черновых записей, озаглавленных «Авсеенке» (*Д*, XXIV, 180—186) и намечающих основные моменты полемики Достоевского с Авсеенко о народе, с первых же строк упоминается тургеневская фраза о «пустых сосудах», снова сильно задевшая писателя: «О погружении в народ собственных пустых сосудов ⟨...⟩ „Русскому вестнику“ стыдно бы было писать, в приложении ко мне, о пустопорожних сосудах («Преступл⟨ение⟩ и наказан⟨ие»⟩ и пр.). Я полагал бы, что обо мне можно бы выразиться иначе» (там же, с. 180).

Оппонент Достоевского в его споре о русском народе — это не столько критик Авсеенко, сколько некий обобщенный, собирательный образ убежденного западника, слепого поклонника

европейской цивилизации, не верящего в самобытные силы русского народа. Как известно, воплощением подобного типа западника для автора «Дневника писателя» был Потугин.

«Я вам возражаю еще и потому, — обращается Достоевский к Авсеенко в записной тетради 1876—1877 гг., — что возражаю лицу собирательному, мечтательному, ибо таких, как вы, много еще, даже Потугину, вместе с вами, хотя Потугин перед вами царь по таланту, несмотря на то, что слишком уж наивно невежествен. Потугиным я займусь потом, а вам мимоходом прибавлю, что вы невежественнее и Потугина» (там же, с. 192—193).[64] Эта запись Достоевского очень существенна. Она позволяет выявить в полемике с Авсеенко скрытый, «потугинский» план.

Любопытно, что суждение Потугина о ничтожном будто бы вкладе русской нации в «энциклопедию человечества» Достоевский включает в полемику с Авсеенко как типично западническое, хотя Авсеенко совсем не касается в своей статье этого вопроса. В данном случае Достоевский непосредственно полемизирует с Потугиным и его создателем.

«Наши Потугины бесчестят народ наш насмешками, что русские изобрели один самовар,[65] но вряд ли европейцы примкнут к хору Потугиных, — гневно восклицает автор «Дневника писателя». — Слишком ясно и понятно, что всё делается по известным законам природы и истории и что не скудоумие, не низость способностей русского народа и не позорная лень причиною того, что мы так мало произвели в науке и в промышленности 〈...〉 Тут всё зависит от того, как был поставлен народ природой, обстоятельствами и что ему прежде всего надо было сделать. Тут причины географические, этнографические, политические, тысячи причин, и всё ясных и точных. Никто из здравых умом[66] не станет укорять и стыдить тринадцатилетнего, что ему не двадцать пять лет. „Европа, дескать, деятельнее и остроумнее пассивных русских, оттого и изобрела науку, а они нет“. Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, проявляли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и *сознательно* создали его единство. Они отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу» (*Д*, XXII, 110—111).

Обличая научно-техническую отсталость страны, Потугин не объяснил ее объективными причинами (географического, исторического, социально-экономического, политического и т. д. характера). Заявив, что Россия «ничего своего не выработала», Потугин — так считал Достоевский — унизил русский народ перед другими европейскими народами.[67] В то время, когда Европа имела возможность создавать науку и технику, русские выполняли иные задачи, развив «не менее изумляющую деятельность»: они отбивались от многочисленных врагов и спасли от них Европу, создавали государство и укрепляли его границы, осваивали окраины своей огромной страны и т. д. Характерно, что

основные аргументы полемики с Потугиным по данному вопросу Достоевский набросал в записной тетради уже к началу 1876 г., сразу же после того, как перечитал «Дым».[68]

Сам Достоевский следующим образом формулирует в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. суть своих разногласий с Авсеенко: «Всё, что в статье его (Авсеенко. — *Н. Б.*) касается до меня, написано им на тему, что не мы, культурные люди, должны преклониться перед народом ⟨. . .⟩ а что, напротив, народ должен просветиться от нас, культурных людей, и усвоить нашу мысль и наш образ» (там же, с. 103). В черновом автографе главы первой (§ 1) апрельского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. после слов «народ должен просветиться от нас» было: «и что его (русский народ. — *Н. Б.*) следует, так сказать, „подогнать", как говорит одно типическое лицо у Тургенева в „Дворянском гнезде" про всю Россию» (там же, с. 214).

Эта фраза свидетельствует, что в полемике с Авсеенко—Потугиными присутствует также в качестве незримого оппонента и Тургенев. Достоевский вспоминает спор между Паншиным и Лаврецким о России и Европе. «Россия, — говорил он (Паншин. — *Н. Б.*), — отстала от Европы; нужно подогнать ее. Уверяют, что мы молоды — это вздор; да и притом у нас изобретательности нет ⟨. . .⟩ Следовательно, мы поневоле должны заимствовать у других ⟨. . .⟩ Мы больны ⟨. . .⟩ оттого, что только наполовину сделались европейцами; чем мы ушиблись, тем мы и лечиться должны» (*Т*, VII, 231).

Паншин для Достоевского — смягченный вариант Потугина. Однако Достоевский помнит, что в споре между Лаврецким, отстаивавшим «молодость и самостоятельность России», и западником Паншиным все симпатии Тургенева были на стороне Лаврецкого, в то время как в «Дыме» Тургенев с полным сочувствием относится к западническим идеям Потугина. Поэтому Достоевский пользуется удобным случаем напомнить Тургеневу (в подтексте) об его «измене».

В решении проблемы сближения интеллигенции с народом Авсеенко активную роль предназначал «образованному меньшинству», призванному быть проводником европейского просвещения и цивилизации в народе. Образованное сословие, пишет Авсеенко, должно прийти на помощь народу «и, вместо того, чтобы ждать от народа „мысли и образа",[69] должно само дать ему и мысль, и образ. Вот почему мечтательное чаяние каких-то новых народных идеалов мы считаем в настоящее время чрезвычайно опасным: оно только отодвигает задачу, к которой необходимо подойти как можно скорее, и как можно проще ⟨. . .⟩ Не преклоняться пред народом и не идти за ним, но передать ему элементы европейской культуры — разумеется, ее здоровые элементы — вот что нам нужно».[70]

Подобная точка зрения, отрицавшая необходимость преклонения интеллигенции перед народной нравственной правдой (а для Достоевского это основное условие «соединения» «куль-

турного слоя» с народом), представлялась писателю типично западнической, т. е. «потугинской».

Статья Авсеенко и ориентация на Потугина как на типичного западника заставили Достоевского более точно сформулировать свой взгляд на условия «соединения» интеллигенции с народом, неясно выраженный в февральском выпуске «Дневника писателя». Так, в частности, Достоевский не пояснил, какую же «драгоценность» должен принять русский народ от европейски образованного «культурного слоя».

В записной тетради 1875—1876 гг. Достоевский следующим образом формулирует свою точку зрения: «Что мы несем из Европы? Пред чем народ должен бы был преклониться? Нет, отнюдь не нравственные начала, пред которыми надо преклониться, а, во-первых и главное, образованность, расширение горизонта, умножившееся и усиленное понимание своей идеи через сопоставления с западноевропейским миром 〈. . .〉 Склад же жизни европейской и порядок ее современный нам никак нельзя *копировать*, как требует Потугин (буржуа и разложение Европы). А нравственные начала наши тоже нельзя отдать. Знакомство с древними идеалами и с новейшими вы несете народу через образованность, через расширение горизонта, и найдутся пути новые к новому нашему будущему складу и порядку. В чем эти новые задачи? В всеслужении человечеству. Мы несем образованность во всей широте этого слова, и вот всё, что мы принесли. И это не мало. Это толчок к всемирному значению России» (*Д*, XXIV, 181—182).

В июньском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский (уже без упоминания имени Потугина) уточняет, что «расширение взгляда» — это «не просвещение в собственном смысле слова и не наука, это и не измена тоже народным русским нравственным началам, во имя европейской цивилизации 〈. . .〉 Это, действительно и на самом деле, почти братская любовь наша к другим народам, выжитая нами в полтора века общения с ними; это потребность наша всеслужения человечеству, даже в ущерб иногда собственным и крупным ближайшим интересам. . .» (*Д*, XXIII, 47).

Итак, русское «образованное меньшинство» должно принять от народа его нравственную «правду», т. е. «выработанные понятия добра и зла», а народ у интеллигенции — образованность, «расширение горизонта», заключающееся в осознании русской национальной идеи как идеи всечеловеческого служения (последняя, по мысли писателя, заложена в самой природе русского народа). Достоевский считал, что России не следует копировать формы и строй жизни современных европейских буржуазных государств, а также нравственные идеалы современного Запада (писатель постоянно подчеркивает превосходство русских народных нравственных идеалов перед европейскими).

Если в публицистике Достоевского начала 1860-х годов понятия «образование» и «просвещение» — синонимы, то в «Днев-

нике писателя» 1876—1877 гг. они наполнены различным содержанием. Под «просвещением» Достоевский понимает теперь нравственные идеалы, нравственную «правду», хранителем которых, по убеждению писателя, является русский народ. Именно поэтому Достоевский утверждает вслед за К. Аксаковым в февральском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г., что неграмотный народ «уже просвещен» (эта мысль получит дальнейшее обоснование и развитие в Пушкинской речи).

В последующих выпусках «Дневника писателя» за 1876 г. имя Потугина, сопровождаемое ироническими или язвительными репликами Достоевского, встречается реже. Так, например, в июньском выпуске (глава первая, посвященная Ж. Санд) Достоевский мимоходом задевает Потугина как слепого поклонника европейской цивилизации,[71] причем сознательно (в полемических целях) утрирует его идеи (Потугин, как известно, подчеркивал творческий характер заимствования достижений европейской цивилизации). В главке «Земля и дети» (выпуск за июль—август, глава третья, § 4) Достоевский упоминает Потугиных как отрицателей «народных начал».

Достоевский окончательно отказался от своего первоначального намерения посвятить «Дыму» специальную статью, вероятно, потому, что подробный анализ в «Дневнике писателя» 1876 г. романа, опубликованного впервые почти десять лет тому назад, выглядел бы анахронизмом. Однако «Дым» и в 1870-е годы не утратил злободневности, и потому Достоевский в иной форме реализовал свой замысел. Полемика с Потугиным и Потугиными по актуальнейшим проблемам современной русской и европейской общественной жизни проходит открыто или завуалированно через «Дневник писателя» 1876 и отчасти 1877 г.

Внешне случайное обращение Достоевского к Потугину в 1876 г. в то же время было вполне закономерным. Автору «Дневника писателя» в его споре о России и Европе был необходим «умный оппонент» — крайний западник. Этого же требовала и диалогическая форма «Дневника писателя».

Сильно шаржированный Потугин становится в качестве обобщенного, собирательного образа крайнего западника одним из главных оппонентов Достоевского, в диалоге с которым писатель формулирует и отстаивает свои заветные убеждения.

Чаще всего Достоевский прибегает в «Дневнике писателя» не к открытой, развернутой, а скрытой полемике с Потугиным, а также пользуется неожиданным полемическим выпадом, чтобы уязвить этого заклятого западника. Так, например, в главке «Колония малолетних преступников» (январь, глава вторая, § 3) Достоевский рассказывает о маленьком бедном чиновнике, который откладывал от своего скромного жалованья гроши, лишая свою семью самого необходимого, чтобы на накопленные в течение долгих лет деньги выкупить на волю нескольких крепостных крестьян. «Конечно, какой это герой, — иронизирует Достоевский: — это „идеалист сороковых годов“ и только, даже, может

быть, смешной, неумелый, ибо думал, что одним мельчайшим частным случаем может побороть всю беду; но все-таки можно бы, кажется, нашим Потугиным быть подобрее к России и не бросать в нее за всё про всё грязью» (*Д*, XXII, 25). Неверию Потугина в красоту народных идеалов Достоевский противопоставляет здесь нравственную красоту маленького смешного чиновника с его верой в «единичное добро».

Возникает закономерный вопрос: почему Достоевский избрал в «Дневнике писателя» своеобразную форму полемики с литературным персонажем, а не с его создателем, т. е. с самим Тургеневым? Разумеется, потому, что Достоевский не отождествлял Потугина с Тургеневым.

Последний не годился для роли одностороннего, крайнего западника, необходимого Достоевскому-полемисту.

Примечательно, что в полемике с Авсеенко—Потугиным Достоевский использует тургеневскую критику внешнего европеизма в «Дворянском гнезде». Достоевский напоминает, что у Тургенева в лице отца Лаврецкого «великолепно выведен» тип «окультурившегося в Европе дворянчика», воротившегося к отцу в поместье и женившегося на дворовой девушке «из блажи, из шатости понятий, воли и чувств и из раздраженного самолюбия». «Какая прелесть этот рассказ у Тургенева и какая правда!» — восклицает Достоевский (там же, с. 117). Этот пример убедительно свидетельствует, что Тургенев не был в глазах Достоевского слепым поклонником всего европейского, хотя в пылу полемики Достоевский и упрекал в этом автора «Дыма».

Конечно, нападки на Потугина так или иначе метили и в его создателя. Однако Достоевский никогда не забывал, что Тургенев — автор «Записок охотника» и «Дворянского гнезда», произведений, близких к «народной правде».

Нередко в одной и той же главе резкие полемические выпады против Потугина соседствуют с самой высокой оценкой Тургенева-художника. Имя Тургенева Достоевский неизменно упоминает в числе лучших современных русских писателей. Он признает большое воспитательное значение его произведений, чтение которых считает обязательным для подрастающего поколения. Человек, не читавший Тургенева, представляется Достоевскому крайне невежественным. Так, например, в мартовском выпуске «Дневника писателя», характеризуя современного «литератора-художника» «из новых людей», который «не знает ни европейской литературы, ни своей», Достоевский иронизирует, что тот «не читал Пушкина и Тургенева» (там же, с. 80).

В апрельском выпуске «Дневника писателя» Достоевский высмеивает утверждение критика В. Авсеенко, будто русская литература 40-х годов была «бедна внутренним содержанием». В опровержение этого нелепого утверждения Достоевский напоминает о блестящей плеяде писателей — наследников Пушкина: Гоголе, Тургеневе «с его „Записками охотника“ (и эти бедны

внутренним содержанием?)», Гончарове, Островском (там же, с. 105).

Диалог в «Дневнике писателя» 1876—1877 гг. с автором «Дыма» и «Нови» способствовал окончательному формированию комплекса нравственно-философских, социальных и эстетических идей Достоевского, получивших законченное выражение в Пушкинской речи.

[1] См. тома XXII—XXVI акад. изд. Частично опубликованы: 1) *Бельчиков Н. Ф.* Тургенев и Достоевский: (Критика «Дыма»). — Литература и марксизм, 1928, № 1, с. 63—94; 2) Записные тетради Достоевского. 1875—1877 / Подгот. текстов Л. М. Розенблюм; Коммент. Г. М. Фридлендера и др. — Лит. наследство. М., 1971, т. 83.

[2] Подробно об этом см.: *Зильберштейн И. С.* Встреча Достоевского с Тургеневым в Бадене в 1867 г. — В кн.: Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. Переписка / Под ред., с введ. и примеч. И. С. Зильберштейна; Предисл. Н. Ф. Бельчикова. Л., 1928, с. 143—153.

[3] См.: *Винникова И.* И. С. Тургенев в шестидесятые годы. Саратов, 1965, с. 95—97; *Муратов А. Б.* И. С. Тургенев после «Отцов и детей». Л., 1972, с. 89—94.

[4] *Муратов А. Б.* И. С. Тургенев после «Отцов и детей», с. 89.

[5] См.: *Дмитриев С.* Подход должен быть конкретно-исторический. — Вопр. лит., 1969, № 12, с. 75. — См. также дискуссию о славянофильстве, опубликованную в № 5, 7, 10 и 12 журнала и наглядно показавшую слабую научную изученность этой сложной проблемы. Специального изучения заслуживает и вопрос о соотношении почвеннических идей Достоевского 1860—1870-х годов со славянофильством.

[6] Ср.: *Муратов А. Б.* И. С. Тургенев после «отцов и детей», с. 93—94. — Следует отметить, что Аполлон Григорьев и почвенники в восприятии большинства современников были своеобразными славянофилами.

[7] Рус. лит., 1979, № 1, с. 50—51.

[8] Антиславянофильские выпады Достоевского начала 1860-х годов и его полемика с редактором газеты «День» не могли обмануть И. С. Аксакова, который писал Н. С. Кохановской 20 октября 1861 г.: «Вообще — этот журнал славянофильствует отчаяннейшим образом и при всяком удобном случае нас ругает, говорит, что славянофилы — отживший момент» (Рус. обозрение, 1897, № 4, с. 570).

[9] См.: *Батюто А. И.* Достоевский и Тургенев в 1860—1870-е годы: (Только ли «История вражды»?), с. 46.

[10] Ср. с полемическим суждением Потугина: «В наличности ничего нет, и Русь в целые десять веков ничего своего не выработала, ни в управлении, ни в суде, ни в науке, ни в искусстве, ни даже в ремесле. . .» (*Т*, IX, 170).

[11] Т. е. остановили нашествие монголо-татар.

[12] Ср. подготовительные материалы к роману «Бесы» (1870) и наш комментарий к ним: *Д*, XI, 193; XII, 354—355; см. также: «Дневник писателя», 1876, апрель, гл. первая, § 3; июнь, гл. вторая, § 4.

[13] См.: *Оксман Ю. Г.* Примечания к «Дыму». — В кн.: *Тургенев И. С.* Соч. / Под ред. К. Халабаева и Б. Эйхенбаума. М.; Л., 1930, т. 9, с. 419; *Радек Л. С.* Идейно-эстетическая полемика Герцена и Тургенева в 60-е гг. — В кн.: *Радек Л. С.* Герцен и Тургенев: Литературно-эстетическая полемика. Кишинев, 1984, с. 97—163; см. также упоминавшиеся выше работы И. Винниковой, А. Б. Муратова и комментарий Е. И. Кийко к «Дыму»: *Т*, IX, 507, 525—528.

[14] по преимуществу (*франц.*).

[15] Историко-социологическая концепция определила специфические черты славянофильства как особого направления русской общественной мысли XIX в. «Стержнем ее явилась проблема коренного различия исторических путей России и Запада и доказательство самобытности и исключительности русского народа. Все теоретики славянофильства приходили к единым выводам, хотя каждый из них шел по-своему, используя различные способы доказательства и аргументы» (*Галактионов А. А., Никандров П. Ф.* Славянофильство, его национальные истоки и место

в истории русской мысли. — Вопр. философии, 1966, № 6, с. 126. — Эти же историки сближают почвенничество со славянофильством: «От классиков славянофильства идет линия так называемого неославянофильства и его разновидности — почвенничества (Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев, А. А. Григорьев, Ф. М. Достоевский)» — там же, с. 128).

[16] Летом 1860 г. Тургенев составил проект программы «Общества для распространения грамотности и первоначального образования», которому придавал практическое значение (см.: *Т*, XV, 245—252, 425—427; ср. статью Достоевского «Книжность и грамотность» и примеч. к ней В. А. Туниманова: *Д*, XIX, 5—57; 230—241).

[17] Ср.: «...А община? — глубокомысленно произнес Губарев 〈...〉 Община... Понимаете ли вы? Это великое слово! 〈...〉 Разве вы не видите, к чему это всё ведет? Разве вы не видите, что... мм... что нам... нам нужно теперь слиться с народом, узнать... узнать его мнение?» (*Т*, IX, 161). Широкая антиславянофильская направленность этого высказывания очевидна, и потому нет смысла отыскивать его точного адресата. Однако Достоевский с полным правом мог воспринять подобный полемический выпад очень лично и счесть его направленным против некоторых идей почвенников. Бесконечные славянофильские разглагольствования о великой будущности России Тургенев также высмеял в «Дыме» (см.: там же, с. 163, 170).

[18] См.: *Долинин А. С.* Достоевский и Герцен. — В кн.: Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы / Под ред. А. С. Долинина. Пг., 1922, сб. 1, с. 275—324; *Фридлендер Г. М.* Реализм Достоевского. М.; Л., 1964, с. 25—33; *Кирпотин В. Я.* Достоевский в шестидесятые годы. М., 1966, с. 454—461. Ср.: *Страхов Н. Н.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. — В кн.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 240.

[19] «...почему же народ, самобытно развившийся, при совершенно других условиях, чем западные государства, с иными началами в быте, должен пережить европейские зады, и это — *зная хорошо, к чему они ведут*?» — писал Герцен в «Концах и началах» (*Герцен*, XVI, 198).

[20] двуногие (*франц.*).

[21] Разумеется, нельзя отождествлять полностью точку зрения самого Тургенева и Потугина, западнические убеждения которого писатель намеренно утрировал в полемических целях. Критическое отношение Тургенева к отрицательным сторонам европейской цивилизации получило, в частности, отражение в «Призраках» и «Дыме».

[22] См.: *Бельчиков Н. Ф.* Тургенев и Достоевский: (Критика «Дыма»), с. 66. — Ноябрьский выпуск «Русского вестника» за 1875 г., в котором был опубликован этот некролог, упоминается в записной тетради Достоевского за 1875—1876 гг. (см.: *Д*, XXIV, 67), а вслед за этим упоминанием следует серия записей о Тургеневе, «Дыме» и Потугине.

[23] А. 〈*Авсеенко В. Г.*〉 Граф А. К. Толстой. — Рус. вестн., 1875, № 11, с. 398—399.

[24] В. Г. Авсеенко ошибочно приписал Потугину следующее суждение Шубина об Инсарове (роман «Накануне») : «Он с своею землею связан — не то, что наши пустые сосуды, которые ластятся к народу: влейся, мол, в нас, живая вода! (*Т*, VIII, 60). Достоевский повторил эту ошибку Авсеенко. Запомнившееся ему выражение о «пустых сосудах», ластящихся к народу, и в дальнейшем неизменно ассоциировалось у него с Потугиным (см. полемику с Авсеенко в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г.).

[25] Ср. в предисловии к «Литературным воспоминаниям» («Вместо вступления») : «И я не думаю, чтобы мое западничество лишило меня всякого сочувствия к русской жизни, всякого понимания ее особенностей и нужд. „Записки охотника" 〈...〉 были написаны мною за границей 〈...〉 преданность моя началам, выработанным западною жизнию, не помешала мне живо чувствовать и ревниво оберегать чистоту русской речи. Отечественная критика, взводившая на меня столь многочисленные, столь разнообразные обвинения, помнится, ни разу не укоряла меня в нечистоте и неправильности языка, в подражательности чужому слогу» (*Т*, XIV, 9—10).

[26] Тургенев имел в виду цикл статей (4) Белинского «Древние российские стихотворения...» (1841).

[27] Об отношении Белинского к фольклору см.: *Азадовский М. К.* 1) Белинский и русская народная поэзия; 2) Народная песня в концепциях русских революционных просветителей 40-х годов. — В кн.: *Азадовский М. К.* Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960, с. 260—340. См. также: *Бродский Н. Л.* Белинский и Тургенев. — В кн.: *Бродский Н. Л.* Избр. труды. М., 1964, с. 197—224.

[28] По мысли критика, народное творчество отражает лишь начальный период в литературном развитии народа, его бессознательный «младенческий лепет». Поэтому собственно художественная литература как более развитая форма выше народного творчества. «Художественная поэзия, — писал Белинский, — всегда выше естественной, или собственно народной. Последняя есть только младенческий лепет народа, мир темных предощущений, смутных предчувствий; часто она не находит слова для выражения мысли и прибегает к условным формам — к аллегориям и символам» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1954, т. 5, с. 308, 309). Путь национальной литературы состоит, в представлении Белинского, в слиянии народной стихии с идеалами развитого общества.

[29] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 5, с. 135.

[30] Там же, с. 128.

[31] См.: *Азадовский М. К.* «Певцы» И. С. Тургенева. — В кн.: *Азадовский М. К.* Статьи о литературе и фольклоре, с. 399—401.

[32] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 5, с. 306.

[33] Там же, с. 363. Ср. с суждением Потугина: «Разверните наши былины, наши легенды. Не говорю уже о том, что любовь в них постоянно является как следствие колдовства, приворота, производится питием „забыдущим“ и называется даже присухой, зазнобой. . .» (*Т*, IX, 236).

[34] Белинский, в частности, отметил грубые, нерыцарские формы отношения к женщине («оскорбительные» и «возмутительные» для чувства) в былине о Дунае и Маринке. В качестве примера критик привел следующие строки из былины:

Скочил он, Дунай, с добра коня
И горазд он с девицею дратися,
Ударил он девицу по щеке,
А пнул он девицу под ⟨...⟩
Женский пол от того пухол живет. . .

(*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 5, с. 367). Выражение «Женский пол от того пухол живет» Белинский в различных вариациях повторяет затем в статье в тех случаях, когда стремится подчеркнуть грубые, неразвитые формы отношения полов в допетровской России. Это же выражение произносит в «Дыме» Потугин, характеризуя обращение «святорусского богатыря» со своей суженой-ряженой (*Т*, IX, 237).

[35] Изобразив Белинского как непримиримого врага славянофилов (*Т*, XIV, 53), Тургенев несколько упростил проблему. В действительности отношение критика к славянофильству, как и Герцена, было более сложным. В статьях Белинского 1840-х годов можно встретить также сочувственные оценки некоторых элементов учения славянофилов.

[36] Ср. с высказыванием Белинского: «Если бы русский народ не заключал в духе своем зерна богатой жизни, — реформа Петра только убила бы его насмерть и обессилила, а не оживила и не укрепила бы новою жизнию и новыми силами. Мы уже не говорим о том, что из ничтожного духом народа и не мог бы выйти такой исполин, как Петр. . .» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 5, с. 124).

[37] См.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Народные былины, старины и побывальщины. М.; Петрозаводск; СПб., 1861—1867, ч. 1—4. См. также: *Кийко Е. И.* Роман Тургенева «Дым» и русские былины в записях П. Н. Рыбникова. — В кн.: Тургеневский сборник. Л., 1968, ч. 4, с. 162—165.

[38] Последняя деталь, иронически подчеркнутая в потугинской характеристике Чурилы (см. выше), свидетельствует, что Тургенев был хорошо знаком с былиной о Чуриле в записи П. Н. Рыбникова. На это указывает, в частности, отброшенный писателем вариант чернового автографа: «Вспомните, вспомните описание впечатления, произведенного нашим Алкивиадом Чурилой Пленковичем на молодых девок с их голенищами» (отмечено Е. И. Кийко в упоминавшейся выше статье). Ср.: Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. М., 1861, ч. 1, с. 267.

[39] Песни, собранные П. Н. Рыбниковым. Петрозаводск, 1864, ч. 3, с. 158. Ср. с описанием одежды молодцов из дружины Чурилы:

Сапожки на ножках зелен сафьян,
Носы по нос шилом, пяты востры,
Около носов — носов яйцом покати,
Под пяту — пяту воробышко летит,
Воробышко летит, перепуркивает.

(Там же, ч. 1, с. 263).

[40] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос. 2-е изд., испр. М., 1958, с. 479, 503, 505, 507.

[41] Ироническое отношение сказителя к Чуриле Пленковичу подчеркивает, в частности, и конец былины о Дюке Степановиче: Дюк по просьбе князя Владимира, княгини и киевских женщин милует посрамленного Чурилу («Владимиром упрошенный», «киевскими бабами уплаканный» — Песни, собранные П. Н. Рыбниковым, ч. 1, с. 305) и прогоняет его с напутствием:

Ай ты, Чурило сухоногое!
Поди щапи ты с девками да с бабами,
А не с нами, с добрыми молодцами!

(Там же, ч. 3, с. 163—164).

[42] Ср. в одной из записей былины:

Надевает Чурила платье цветное,
Платье цветное, самосменное.
Шапочку берет он во пятьсот рублей,
Пушисту, ушисту, завесисту,
Чтобы спереди не видно лица белого,
А сзади бы не видно шеи нежноей.
Сапожки на ножки сафьянные,
Этого сафьяну заморского,
Этого покрою немецкого,
Этого шитью было турецкого.

(Там же, с. 127—128).

[43] *Пропп В. Я.* Русский героический эпос, с. 592.

[44] На полях рукописи помета: «Бал».

[45] Возможно, что заметка «красота Белинского» навеяна «Воспоминаниями о Белинском» Тургенева. Из тургеневского описания внешнего облика критика Достоевский мог вынести впечатление об условности самого понятия «красота». Некрасивый Белинский временами совершенно преображался: глаза его, «в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления; в минуты веселости взгляд их принимал пленительное выра́жение приветливой доброты и беспечного счастья» (*Т*, XIV, 26).

[46] В мемуарах Ж. Казановы (отрывок из них в переводе на русский язык был опубликован в № 1 журнала «Время» за 1861 г.) внимание Достоевского привлекло описание причудливого костюма дворянина XVIII в.

[47] Ср. с отзывом Достоевского о скульптурных конных группах П. Клодта на Аничковом мосту: «Правда, есть идеалы изящного, но зато же ведь они и голые, а что не идеал, то непременно надо одеть. На Аничковском мосту 4 голых банщика — почему они режут глаза, потому что их никак нельзя принять за богов; правда, позы эксцентрические, кони взвиваются, кукольные поля, короткие, но ведь казалось же это изящным» (*Д*, XXII, 141).

[48] Достоевский неоднократно обращался к образу Ильи Муромца, любил его и видел в нем воплощение лучших национальных черт русского народа. В записной тетради 1876—1877 гг. Достоевский отметил в Илье Муромце такие народные черты, как широкость натуры, выносливость, «чутье» и назвал его «идеалом» «типа великоруса» (*Д*, XXIV, 309). В мартовском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский охарактеризовал Илью Муромца как «великого, целомудренного и смиренного христианского богатыря», «подвижника за правду, освободи-

теля бедных и слабых, смиренного и непревозносящегося, верного и сердцем чистого» (*Д*, XXV, 69).

[49] Т. е. знал, что эстетический идеал русского народа выразился не в Чуриле Пленковиче, а в образах Ильи Муромца и Святогора. Это упрек не столько Потугину, сколько самому Тургеневу, знатоку народного творчества, раскрывшему в «Записках охотника» нравственную красоту и богатый духовный мир русского крестьянина.

[50] Близкие идеи Достоевский развивает в «Зимних заметках о летних впечатлениях» (см.: *Д*, V, 79—81). См. также: ***Фридлендер Г. М.*** Реализм Достоевского, с. 35—38.

[51] Ср. в «Зимних заметках о летних впечатлениях», где слово «цивилизация» и его производные в применении к представителям русского «культурного слоя» также носят иронический характер. Достоевский высмеивает здесь такие черты русского образованного общества, как внешний, поверхностный европеизм, слепое преклонение «именно перед европейскими формами цивилизации» (*Д*, V, 61), презрение к национальным началам и русскому народу, стремление навязать ему чуждые идеалы и вкусы (ср. выражения «фельдфебеля цивилизации», «европейские самодуры»). Резкое неприятие современной буржуазной Европы сближает «Зимние заметки» с «Дневником писателя».

[52] Ср. с черновой заметкой в записной тетради 1875—1876 гг. (*Д*, XXIV, 116—117). Достоевский использует здесь характерный полемический прием, стремясь уличить своего оппонента в логической ошибке. Ход его рассуждений таков: Тургенев и другие западники пропагандируют достижения европейской цивилизации. Однако сторонниками европеизма являются в России лишь представители привилегированной части общества, т. е. дворяне. Таким образом, западники поддерживают дворянство, хотя и уверяют, что стоят за народ.

[53] На эту тему Достоевский, очевидно, собирался писать уже в январском выпуске «Дневника», о чем свидетельствует запись к одному из черновых планов: «В Потугине (т. е. в разделе о Потугине. -- *Н. Б.*): славянофилы и западники могли бы помириться» (*Д*, XXIV, 119).

[54] В одной из более поздних черновых заметок Достоевский писал, что с 1812 г. в России «начинается забота и тоска о соединении с народом (славянофилы и западники) (NB. Одно и то же соединение, но разные пути.)» (*Д*, XXIV, 237).

[55] См. подготовленные нами варианты чернового автографа этой главы: *Д*, XXII, 189—190.

[56] Ср. заметку в другом месте чернового автографа: «Тургенев. И этот даже может быть больше всех, я именно упираю на Тургенева потому, что он ярый западник и издал своего скверного и глупенького Потугина, которым я намерен заняться. Кажется, меня-то уже не заподозрят в лести г-ну Тургеневу, г-ну Ив. Тургеневу» (*Д*, XXII, 186).

[57] Ср.: «Лаврецкий 〈. . .〉 требовал прежде всего признания народной правды и смирения перед нею — того смирения, без которого и смелость противу лжи невозможна. . .» (*Т*, VII, 232).

[58] ***Григорьев А.*** Литературная критика. М., 1967, с. 379.

[59] Ср. февральскую черновую запись: «А целое есть. Оно уже охвачено. Тихон, Мономах, Илья, но, однако, все это идеалы народные. Недалеко ходить, у Пушкина, Каратаев, Макар Иванов, Обломов, Тургенев (Лаврецкий. — *Н. Б.*), ибо только положительная красота и останется на века. Потугин, Потугиным я займусь. Я имею право: я поставил Тургенева одним из самых первых (в ряду писателей, соприкоснувшихся с «народной правдой». — *Н. Б.*)» (*Д*, XXII, 153).

[60] См. также: ***Розенблюм Л. М.*** Творческие дневники Достоевского. М., 1981, с. 158—161.

[61] Ср. черновую запись: «Прекрасное в идеале недостижимо по чрезвычайной силе и глубине запроса. Отдельными явлениями. Оставайтесь правдивыми. Идеал дал Христос. Литература красоты одна лишь спасет» (*Д*, XXIV, 167).

[62] В другом плане к апрельскому выпуску «Дневника писателя» упомянуты обе темы: «Чурило» и «Авсеенко» (*Д*, XXIV, 179—180). Однако разросшаяся полемика с Авсеенко вскоре заставила Достоевского отказаться от первой темы.

[63] В февральском выпуске «Дневника писателя» Достоевский, по словам Авсеенко, «много говорит о народе и о предстоящей нам необходимости погрузить в него свои пустые сосуды» (Рус. вестн., 1876, № 3, с. 366; ср. с. 364, 370).

Напомним, что фраза о «пустых сосудах», впервые ошибочно приписанная Авсеенко Потугину в некрологе, посвященном А. К. Толстому (Рус. вестн., 1875, № 11), явилась толчком для возникновения замысла полемической статьи против автора «Дыма» в «Дневнике писателя» 1876 г. (см. выше, с. 118—119).

[64] Ср. с заметкой в записной тетради 1875—1876 гг.: «Да я и не с вами совсем говорю. Хоть и обращаюсь к вам, а не с вами говорю» (*Д*, XXIV, 185). Главка «Культурные типики. Повредившиеся люди» (апрельский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г.) в черновом автографе заканчивалась фразой: «Вот на это-то я и отвечу, и вовсе не „Русскому вестнику", вовсе не г-ну Авсеенке, а просто постараюсь разъяснить недосказанное, хотя поневоле, может быть, придется иметь в виду обвинение, сформулированное в „Русском вестнике"» (*Д*, XXII, 221).

[65] Имеются в виду слова Потугина: «...даже самовар, и лапти, и дуга, и кнут — эти наши знаменитые продукты — не нами выдуманы» (*Т*, IX, 233).

[66] В черновом автографе после слов «Никто из здравых умом» было: «кроме Потугиных» (см.: *Д*, XXII, 222).

[67] Разумеется, Тургенев также понимал, что научно-техническая отсталость России порождена объективными причинами, а вовсе не свидетельствует об умственном превосходстве европейских народов перед русским народом. Писатель верил, что дальнейшая последовательная европеизация России, намеченная петровскими преобразованиями, преодолеет многовековую отсталость страны.

[68] Свои возражения Достоевский адресует здесь непосредственно Потугину, упомянув его рассказ о посещении Всемирной промышленной выставки (см. текст: «*Потугин*. Выставка лондонская. Закон народонаселения ⟨...⟩ а мы его выработали раньше ее многими веками» — *Д*, XXIV, 78—79).

[69] Выражение Достоевского. Ср. в февральском выпуске «Дневника писателя»: «...это мы (т. е. образованные люди. — *Н. Б.*) должны преклониться перед народом и ждать от него всего, и мысли, и образа; преклониться пред правдой народной и признать ее за правду даже в том ужасном случае, если она вышла бы отчасти и из Четьи-Минеи» (*Д*, XXII, 45).

[70] Рус. вестн., 1876, № 3, с. 386—387.

[71] См.: «...многое, очень многое из того, что мы взяли из Европы и пересадили к себе, мы не скопировали только, как рабы у господ и как непременно требуют того Потугины, а привили к нашему организму, в нашу плоть и кровь, иное же пережили и даже выстрадали *самостоятельно*, точь-в-точь, как те, там — на Западе, для которых всё это было свое родное» (*Д*, XXIII, 31).

# ПРОДОЛЖЕНИЕ СПОРА: ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И НАРОД

Краткий отзыв Достоевского о романе «Новь», нередко цитирующийся исследователями Тургенева, никогда не рассматривался в связи с общим контекстом «Дневника писателя» за 1877 г. Однако лишь изучение контекста позволяет понять причину неприятия Достоевским «Нови» и выявить скрытую полемику с ее автором на страницах «Дневника писателя».

Достоевский откликнулся на выход первой части «Нови» («Вестник Европы», 1877, № 1) сразу же в январском выпуске своего «Дневника» (см. главку «Русская сатира. „Новь". „Последние песни". Старые воспоминания»): «Прочел „Новь" Тургенева и жду второй части 〈...〉 Об „Нови" я, разумеется, ничего не скажу; все ждут второй части. Да и не мне говорить. Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнения. Замечу лишь одно: на 92 странице романа (см. «Вестник Европы») сверху страницы есть 15 или 20 строк, и в этих строках как бы концентрировалась, по-моему, вся мысль произведения, как бы выразился весь взгляд автора на свой предмет. К сожалению, этот взгляд совершенно ошибочен, и я с ним глубоко не согласен. Это несколько слов, сказанных автором по поводу одного лица романа, Соломина» (*Д*, XXV, 27—28).

Указание Достоевского позволяет точно установить то место первой части «Нови», в котором автор «Дневника писателя» усмотрел «всю мысль», т. е. основной идейный смысл, романа Тургенева. Речь идет о характеристике Соломина: «...Соломин не верил в близость революции в России; но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них — не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо сам был из народа; но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого „ничего ты не поделаешь" и которого долго готовить надо — да и не так и не тому, как *те*. Вот он и держался в стороне — не как хитрец и виляка, а как малый со смыслом, который не хочет даром губить ни себя, ни других. А послушать... отчего не послушать — и даже поучиться, если так придется» (*Т*, XII, 112—113).

С удивительной художественной проницательностью Достоевский связал идейный смысл «Нови» с образом Соломина, в котором

он угадал главного героя романа, — и это лишь по прочтении первой части «Нови», когда образ Соломина еще только начал вырисовываться.

Существенно, что Достоевский признал бесспорное художественное достоинство «Нови». На это указывает не только прямая фраза в отзыве («Художественное достоинство созданий Тургенева вне сомнений»), но и предшествующая отзыву в тексте «Дневника» высокая оценка русской литературы за последние сорок лет (Достоевский оспорил мнение критики об общем упадке и застое русской литературы): «А в сущности в эти сорок лет явились последние произведения Пушкина, начался и кончился Гоголь, был Лермонтов, явились Островский, Тургенев, Гончаров и еще человек десять по крайней мере преталантливых беллетристов. И это только в одной беллетристике! Положительно можно сказать, что почти никогда и ни в какой литературе, в такой короткий срок, не явилось так много талантливых писателей, как у нас, и так сряду, без промежутков» (*Д*, XXV, 27).

Достоевский поставил Тургенева в один ряд с Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Островским и Гончаровым, и он это сделал под непосредственным впечатлением от «Нови».

Отзыв о второй части «Нови» в «Дневнике писателя» так и не появился, и мысль Достоевского об ошибочности основной идеи «Нови», связанной с образом Соломина, не получила прямого авторского раскрытия и разъяснения. Однако Достоевский не только внимательно прочел весь роман Тургенева, но и дал на страницах «Дневника писателя» за 1877 г. недвусмысленный ответ на него, прибегнув к художественному приему скрытой полемики.

Спор Достоевского с автором «Нови» касался ключевых проблем пореформенной России. Пути русского прогресса и его движущие силы; задачи и формы сближения интеллигенции и народа; перспективы развития России и ее отношение к Европе — вот те основные проблемы, которые волновали обоих писателей и которые получили своеобразное отражение в «Дыме» и «Нови», с одной стороны, в «Бесах» и «Дневнике писателя» 1876—1877 гг. — с другой.

## 1

Первый номер «Вестника Европы» с публикацией начала тургеневской «Нови» вышел в свет 1 января, а цензурное разрешение на январский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. помечено 31 января. Достоевский, по всей вероятности, прочитал первую часть «Нови» сразу же после ее опубликования.

Есть основания предположить, что скрытая полемика с Тургеневым содержится уже в начальных главках январского выпуска «Дневника писателя», предшествующих той, откуда выше был приведен отзыв Достоевского о «Нови».

В этих главках, посвященных «текущей действительности», уже встречаются отдельные полемические выпады, относящиеся к автору «Нови» и ведущие к главке «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой», в которой скрытая полемика с Тургеневым получила свое кульминационное развитие.

Попытаемся обнаружить эти скрытые намеки.

Русский солдат Фома Данилов, зверски замученный турками, но не отрекшийся от своей веры (о его героической смерти Достоевский узнал из газет), символизирует для писателя русский народ, его необъятные духовные силы. Это «эмблема России, всей России, всей нашей народной России, подлинный образ ее, вот той самой России, в которой циники и премудрые наши отрицают теперь великий дух и всякую возможность подъема и проявления великой мысли и великого чувства» (главка «Фома Данилов, замученный русский герой» — *Д*, XXV, 14). Нам, добавляет Достоевский, имея в виду русскую интеллигенцию, «вовсе и нечему учить такой народ»: «Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические знания 〈...〉 Нравственное-то, высшее-то что ему передадим, что разъясним и чем осветим эти „темные“ души? 〈...〉 Ну, чему же, наконец, мы научить можем? Мы гнушаемся, до злобы почти, всем тем, что любит и чтит народ наш и к чему рвется его сердце» (там же, с. 16).

Реплику о «циниках» и «премудрых», не верящих в духовные силы народа, Достоевский адресует, возможно, также и Тургеневу, изобразившему в «Нови» спящую непробудным сном народную Россию. В автора «Дыма» метят также излюбленные рассуждения Достоевского о народе как носителе высшей нравственной правды, которую давно утратила увлеченная ложным европеизмом русская интеллигенция и которую ей не заменят высшие достижения европейской цивилизации в области науки и техники.

В главке «Примирительная мечта вне науки» Достоевский выдвигает в качестве «высшей русской национальной идеи», органически присущей русскому народу и способной примирить западников и славянофилов, идею всемирного «общечеловеческого единения».

Необходимое условие для подобного примирения — обретение русской интеллигенцией национального лица, утраченного ею в процессе длительной европеизации России. Каждому необходимо «стать русским, то есть самим собой». «Стать русским значит перестать презирать народ свой 〈...〉 Став самими собой, мы получим наконец облик человеческий, а не обезьяний. Мы получим вид свободного существа, а не раба, не лакея, не Потугина» (там же, с. 23).

В главке «Старина о петрашевцах» Достоевский характеризует деятелей русского революционного движения начиная с декабристов и кончая современными участниками «хождения

в народ» (последних, вероятно, под свежим впечатлением от прочитанной первой части тургеневской «Нови»).

В целом тип русского революционера XIX в., по мнению Достоевского, свидетельствует о крайнем разобщении интеллигенции с народом, причем разобщение это все возрастает. Современный русский революционер (т. е. народник) далек от народа. Оба они «друг друга уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того, чего те хотят, а те до такой степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твердой, блаженной уверенности, что их непременно поймет народ» (там же, с. 26).

Мысль о непонимании народниками идеалов народа, той «почвы», которую они собираются возделывать, о трагической обреченности их дела (при горячей симпатии к личностям молодых революционеров) отчетливо выражена уже в первой части «Нови». Эта мысль тургеневского романа, казалось бы, должна быть близка Достоевскому. Очевидно, оба писателя сходятся на том, что революционеры-народники, оторванные от народа и не понимающие его, — не те люди, которым дано поднять и обновить народную «новь». Однако в отличие от Тургенева Достоевский не признал этого права и за «простым, серым, хитрым, народным» Соломиным. Автор «Дневника писателя» не пожелал отнести его к числу людей, уже понимающих «народ и почву свою» (там же). Это свидетельствует о серьезных расхождениях писателей в представлениях о русских деятелях и характере их деятельности в народе.

Февральский выпуск «Дневника писателя» открывается загадочной главкой «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей».[1] Какой смысл имеют и в кого метят иносказательные сатирические образы в этом заголовке?

Обратимся к тексту главки. Национальный подъем, охвативший Россию в 1876 г., ее готовность защитить южных славян от угнетателей-турок Достоевский расценивает как осознание русским народом своей высокой миссии всечеловеческого служения. Этой готовности России к всечеловеческому служению не заметили «самозванные пророки», сумевшие увидеть современную Россию лишь в кривом зеркале, где она предстала перед ними как некое фантастическое «спящее, гадкое, пьяное существо, протянувшееся от Финских хладных скал до пламенной Колхиды, с колоссальным штофом в руках» (там же, с. 38). Причина незнания России «самозванными пророками» — «„просвещенный" европейский наш взгляд на Россию» (там же).

Гротескный образ России в процитированных выше строках Достоевского представляет собой контаминацию двух образов России — тургеневского (стихотворение «Сон» из «Нови») и пушкинского («Клеветникам России»).[2] Эта контаминация, как уви-

дим далее, отнюдь не случайна, а имеет глубокий символический смысл.

Приведем параллельно выдержки из упомянутых стихотворений Тургенева и Пушкина, выделив курсивом те строки, которые Достоевский использовал в пародийных целях.

Давненько не бывал я в стороне родной...
Но не нашел я в ней заметной перемены.
Все тот же мертвенный, бессмысленный застой,
Строения без крыш, разрушенные стены,
И та же грязь, и вонь, и бедность, и тоска!
И тот же рабский взгляд, то дерзкий, то унылый...
Народ наш вольным стал; и вольная рука
Висит по-прежнему какой-то плеткой хилой,
Всё, всё по-прежнему... И только лишь в одном
Европу, Азию, весь свет мы перегнали...
Нет! Никогда еще таким ужасным сном
Мои любезные соотчичи не спали!
. . . . . . . . . . . . . . . .
Один кабак не спит и не смыкает глаз; [3]
*И, штоф с очищенной всей пятерней сжимая,*
*Лбом в полюс упершись, а пятками в Кавказ,*
*Спит непробудным сном отчизна, Русь святая!*

(*Т*, XII, 230—231)

Иль мало нас? *Или от Перми до Тавриды,*
*От финских хладных скал до пламенной Колхиды,*
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля? [4]

Смысл иносказательного заголовка «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой» — в упреке Тургеневу (а это он, в первую очередь, относится к «самозванным пророкам»), сумевшему увидеть лишь спящую непробудным сном Россию (сон в данном случае символизирует не только повальное пьянство народа, но и его общественную, нравственную пассивность) и проглядевшему другую Россию, воодушевленную великой идеей братского служения. «Видите ли, — продолжает Достоевский свое иносказание: — тут дело в том, что наш европеизм и „просвещенный" европейский наш взгляд на Россию — это всё та же еще луна, которую делает всё тот же самый заезжий хромой бочар в Гороховой, что и прежде делал, и всё так же прескверно делает, что и доказывает поминутно; вот он и на днях доказал: [5] впредь же будет делать еще скабрезнее, — ну и пусть его: немец, да еще хромой, надобно иметь сострадание» (*Д*, XXV, 38).

Расшифруем это загадочное иносказание, также адресованное Тургеневу.

«Луна, которую делает всё тот же самый заезжий хромой бочар в „Гороховой"», восходит к «Запискам сумасшедшего» Гоголя. Безумный Поприщин, с тревогой ожидающий затмения Луны, воображает, что «луна ведь обыкновенно делается в Гам-

бурге; и прескверно делается ⟨...⟩ Делает ее хромой бочар, и видно, что дурак, никакого понятия не имеет о луне». Почему, однако, у Достоевского «луну» делает «заезжий хромой бочар в Гороховой», а не в Гамбурге? Возможно, это контаминация (сознательная или бессознательная) двух гоголевских образов, — оба они плоды больной фантазии безумного Поприщина, — хромого бочара из Гамбурга и близкого ему по смыслу образа «какого-то цирюльника», который «живет в Гороховой» и вместе с турецким султаном «хочет по всему свету распространить магометанство».[6]

Возможно также, что Гороховая — просто топографическая деталь, которая служит Достоевскому для обозначения места действия «заезжего бочара» (Петербург, Россия).

Итак, «прескверно сделанная луна» — это «просвещенный» европейский взгляд на Россию и русский народ заезжего иностранца (немца), т. е. человека, чуждого России, не знающего и не понимающего ее, глядящего на нее сквозь иностранные очки. Таким «заезжим иностранцем» предстает в пародийном освещении Достоевского автор «Дыма» и «Нови».

Достоевский не только не забыл, что «хромой бочар» у Гоголя немец, но подчеркнул эту деталь. Представление о Тургеневе как о «немце» укоренилось у Достоевского со времени их ссоры в Бадене по поводу «Дыма». Достоевский приписал Тургеневу слова: «...я сам считаю себя за немца, а не за русского, и горжусь этим!» (письмо к А. Н. Майкову от 16 (28) августа 1867 — *Д*, *Письма*, II, 32). Любовь к Германии, уважение к ее культуре, о чем Тургенев неоднократно заявлял в печати, Достоевский ядовито обыграл в образе Кармазинова. «Хромота» бочара — это намек не только на реальную подагру Тургенева, но и на «ущербность» его таланта (Достоевский дал отрицательную оценку роману «Дым» и некоторым повестям и рассказам Тургенева конца 1860—1870-х годов, не раз отмечал в письмах, что Тургенев «выдохся», «исписался»).

Скрытый пафос главки «Самозванные пророки и хромые бочары, продолжающие делать луну в Гороховой» — в противопоставлении Пушкина как истинно русского человека и патриота, воплотившего в себе лучшие черты нации, «западнику-космополиту» Тургеневу, что подтверждается и названием главки. Под «одним из неизвестнейших русских великих людей» Достоевский подразумевал Пушкина.

Обращение Достоевского, увлеченного в 1870-е годы «славянским вопросом», к стихотворениям Пушкина «Клеветникам России», «Бородинская годовщина» и циклу «Песни западных славян» глубоко закономерно. Достоевскому импонировали пушкинские идеи могучего русского государства и возглавляемого им всеславянского единения. Строки Пушкина «Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? вот вопрос» Достоевский мог бы поставить эпиграфом к своим высказываниям на славянскую тему.

В этой же главке Достоевский сочувственно цитирует «Песню о битве у Зеницы-Великой» из цикла «Песни западных славян» и говорит о «пророческом и политическом значении этих стихов». «Факт тогдашнего появления у нас этих песен важен: это предчувствие славян русскими, это пророчество русских славянам о будущем братстве и единении» (*Д*, XXV, 39).[7]

«Это был уже русский, настоящий русский, сам, силою своего гения переделавшийся в русского, — пишет Достоевский о Пушкине, — а мы и теперь все еще у хромого бочара (т. е. у западника. — *Н. Б*) учимся». Пушкин, продолжает далее Достоевский, показал, «как должен глядеть русский человек — и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на хромого бочара, и на братьев славян. Гуманнее, выше и трезвее взгляда нет и не было еще у нас ни у кого из русских» (там же, с. 39—40).

## 2

Достоевский достаточно трезво оценивал тяжелое состояние народа в пореформенной России. В публицистических произведениях 1870-х годов он неоднократно писал о нищете, темноте, невежестве и общественной пассивности народа, о засилии в современной русской деревне кулаков и кабаков (см., например, главы «Нечто личное», «Влас», «Мечты и грезы» в «Дневнике писателя» за 1873 г., январский выпуск «Дневника писателя» за 1876 г.; ср. статьи «Пожар в селе Измайлове», «Стена на стену» в «Гражданине» 1873 г.).

Почему же в таком случае Достоевского глубоко возмутила в романе «Новь» картина спящей непробудным сном России?

Объяснение этому следует искать прежде всего в различных взглядах писателей на народ и на характер взаимоотношений с ним интеллигенции.

В статье «Влас» («Дневник писателя» за 1873 г.) Достоевский раскрывает противоречивые черты психологического облика человека из простонародья, присущие, по его мнению, и русскому народу в целом. К этим чертам относятся: «забвение всякой мерки во всем»; «потребность хватить через край», дойти во всем (в любви, ненависти, разгуле, нравственном падении и т. д.) «до последней черты»; потребность отрицания всего, «самой главной святыни сердца своего». «Но зато, — добавляет писатель, — с такою же силою, с такою же стремительностью, с такою же жаждою самосохранения и покаяния русский человек, равно как и весь народ, и спасает себя сам, и обыкновенно, когда дойдет до последней черты, то есть когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчок, толчок восстановления и самоспасения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва — порыва отрицания и саморазрушения ⟨...⟩ в восстановление свое русский человек уходит с самым огромным

и серьезным усилием, а на отрицательное прежнее движение свое смотрит с презрением к самому себе» (*Д*, XXI, 35—36).

Знаменательно, что символом русского народа для Достоевского уже в 1873 г. становится некрасовский Влас, испытавший нравственное преображение.[8]

Каким представлялся Достоевскому «современный Влас», т. е. русский народ, освободившийся от крепостной зависимости?

«Современный Влас быстро изменяется, — пишет Достоевский. — Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. ⟨. . .⟩ Но вспомним „Власа" и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется за дело божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. Себя и нас спасет, ибо опять-таки — свет и спасение воссияют снизу» (там же, с. 41).

Достоевский не усмотрел в романе «Новь» веры автора в духовные силы народа. Тургенев, признавший справедливыми упреки в одностороннем, негативном изображении крестьянской массы в «Нови», дал этому факту следующее объяснение: «Что же касается до изображения крестьян, то тут, с моей стороны, была некоторая преднамеренность. Так как мой роман не мог захватить и их (по двум причинам: во-1-ых) вышло бы слишком широко, и я бы выпустил нити из рук; во-2-х) я не довольно тесно и близко знаю их *теперь* — чтобы быть в состоянии уловить то еще неясное и неопределенное, которое двигается в их внутренностях) — то мне осталось только представить ту жесткую и терпкую сторону, которою они соприкасаются с Неждановыми, Маркеловыми и т. д.» (*Т*, *Письма*, $XI_1$, 39). Нежданов уподобляет народ Джаггернаутовой колеснице, под которую добровольно бросаются народники, совершая трагическую и бесполезную жертву.

Картина спящей непробудным сном народной России в романе «Новь» Достоевского возмутила прежде всего потому, что, по его мнению, Тургенев не сумел увидеть в русском народе ничего, кроме непробудного сна, т. е. повального пьянства, нравственной и общественной спячки («спящее, гадкое, пьяное существо ⟨. . .⟩ с колоссальным штофом в руках», «пьяная баба, со штофом в руках» — *Д*, XXV, 38, 69), и проглядел, что «богатырь проснулся»: горячее сочувствие русского народа угнетенным славянам в 1876—1877 гг. и самоотверженная готовность помочь им для Достоевского — свидетельство нравственного пробуждения народа (Влас очнулся и взялся за «дело божие», т. е. дело защиты обиженных и угнетенных).[9]

Отдельные реплики персонанажей «Нови», характеризующие их негативное отношение к «восточному вопросу», Достоевский мог расценить как непонимание Тургеневым великой нравственной идеи всечеловеческого служения, лежащей в основе народного

движения в защиту славян, т. е. непонимание «всеотзывчивости» русского народа как национальной идеи, угаданной в свое время Пушкиным.

Так, в частности, Нежданов, потерявший веру в «дело» («хождение в народ»), пишет «другу Силину»: «Право, мне кажется, что если бы где-нибудь теперь происходила народная война — я бы отправился туда не для того, чтобы освобождать кого бы то ни было (*освобождать других, когда свои несвободны!!*), но чтобы покончить с собою. . .» (*Т*, XII, 229; курсив мой. — *Н. Б.*). В конце романа Паклин иронизирует над «внезапными исцелителями общественных ран», которым противопоставляет Соломина с его программой медленного, постепенного преобразования русского общества: «Потому ведь мы, русские, какой народ? Мы всё ждем: вот, мол, придет что-нибудь или кто-нибудь — и разом нас излечит, все наши раны заживит, выдернет все наши недуги, как больной зуб. Кто будет этот чародей? Дарвинизм? Деревня? Архип Перепентьев? *Заграничная война*? [10] Что угодно! Только, батюшка, рви зуб!! Это всё — леность, вялость, недомыслие! А Соломин не такой: нет, он зубов не дергает — он молодец!» (там же, с. 295; курсив мой. — *Н. Б.*).

Тургенев, осуждавший официальную политику правящих кругов России на Балканах, в то же время горячо сочувствовал героической национально-освободительной борьбе южных славян, о чем свидетельствуют, в частности, его произведения «Крокет в Виндзоре» и «Памяти Ю. П. Вревской».

## 3

В последующих главках февральского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г. Достоевский продолжает скрытую полемику с Тургеневым.

Суждения Достоевского о русских деятелях и характере их деятельности, встречающиеся в главках, посвященных текущей политике и анализу романа «Анна Каренина», навеяны в значительной степени размышлениями писателя над романом «Новь» и его героями.

В главке «О сдирании кож вообще, разные аберрации в частности» Достоевский пишет об идейной и нравственной «шатости» русского интеллигентного человека, готового, следуя моде, постоянно менять свои убеждения. Недостаточно только найти нравственные правила, отмечает писатель, нужно подготовить себя к их приятию: «осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина» (*Д*, XXV, 47).

Идеал всеобщего счастья, теоретически провозглашенный «мыслителями», по мнению Достоевского, не может осуществиться с «недоделанными людьми».

«Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе

самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин, — рассуждает писатель. — С этой-то великодушной работы над собой и начинать надо, чтоб поднять потом нашу „Новь“, а то незачем выйдет и подымать ее» (там же).

Итак, работе интеллигенции в народе должна предшествовать «великодушная работа над собой».

Достоевский подверг критике и самую идею деятельности «во имя интересов европейской цивилизации» (формула, часто употреблявшаяся Тургеневым), ибо именно интересами европейской цивилизации видные европейские государства объяснили свой отказ поддержать борьбу за свободу славян.

«„Интересы цивилизации“, — иронизирует по этому поводу Достоевский, — это производство, это богатство, это спокойствие, нужное капиталу» (там же, с. 48).

Где же Достоевский находит «лучших», подлинно «новых» людей из среды русской интеллигенции? Какими чертами обладают эти люди и в чем должна заключаться их деятельность? Чрезвычайно интересны в этом отношении главки февральского выпуска «Дневника писателя» за 1877 г., посвященные роману «Анна Каренина».

На переднем плане — анализ идейно-философского содержания и некоторых образов романа «Анна Каренина»; на заднем плане — скрытая полемика с автором «Нови» и завуалированный ответ ему. Оба плана связаны проблемой «лучших людей» и их деятельности на народной ниве, что позволило писателю как-то сблизить оба романа, посвященные «злобе дня», хотя «Новь» прямо не называется.

В двух образах романа, «отжившем цинике» Стиве Облонском и «чистом сердцем» Левине, Достоевский видит два основных типа современного русского общества: Облонский — представитель многочисленного умирающего барства, эпикуреец, лишенный «нравственного кодекса» и живущий по принципу: «après moi le deluge».[11] Левин принадлежит к «обществу новой правды», которое «не может вынести в сердце своем убеждения, что оно виновато, и отдаст всё, чтоб очистить сердце свое от вины своей» (там же, с. 57).

Основная черта «нового человека», по Достоевскому (характерная для русской нации), — это «искание правды» и готовность ради нее на любые жертвы. Разумеется, речь идет о народной нравственной правде, как ее понимал Достоевский. Не случайно писатель с особой симпатией отметил в «чистом сердцем» Левине чувство вины перед народом и поиски им смысла жизни у простого мужика (см. главку «Помещик, добывающий веру в бога от мужика»). Достоевский сравнил Левина с некрасовским Власом, который символизировал для писателя русский народ в его нравственных исканиях и внутренней борьбе.

В желании обрести истину, пишет Достоевский о Левине, он «дойдет до последних столпов, и если надо 〈...〉 он обратится в Власа 〈...〉 который роздал свое имение в припадке великого

умиления и страха. . .». «И если и не на построение храма пойдет сбирать, — добавляет Достоевский, — то сделает что-нибудь в этих же размерах. . .» (там же, с. 56—57, главка «Злоба дня»).

Эта же черта — стремление к правде — объединяет, по мнению Достоевского, многих русских людей «нового корня», принадлежащих к различным социальным слоям и имеющих различные убеждения («. . .за слово истины всякий из них отдаст жизнь свою и все свои преимущества ⟨...⟩ обратится в Власа» — там же).[12]

Русскому «делателю» Достоевский не предлагает никакой конкретной программы деятельности: человек, преисполненный деятельной любви и желающий принести пользу, сам найдет правильный путь. «Надо делать только то, что велит сердце, — советует писатель: — велит отдать имение — отдайте, велит идти работать на всех — идите, но и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: „Дескать, я не барин, я хочу работать как мужик". Тачка опять-таки мундир ⟨...⟩ Не раздача имения обязательна и не надевание зипуна, всё это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь *решимость ваша делать всё ради деятельной любви*, всё, что возможно вам, что сами искренно признаете для себя возможным. Все же эти старания „опроститься" — лишь одно только переряживание, невежливое даже к народу и вас унижающее. Вы слишком „сложны", чтобы опроститься, да и образование ваше не позволит вам стать мужиком. Лучше мужика вознесите до вашей „осложненности". Будьте только искренни и простодушны; это лучше всякого „опрощения"» (там же, с. 61).

Собственно к Левину в приведенном тексте относятся слова о «раздаче имения» крестьянам. Рассуждения же о зипуне, тачке и неудачных попытках интеллигенции сблизиться с народом относятся в большей мере к «Нови», что подтверждается и употреблением Достоевским тургеневского словечка «опроститься».[13]

Далее Достоевский развивает идеи, смысл которых таков: радикальному переустройству общества на новых основаниях должно предшествовать его нравственное перерождение, так как с «не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществятся, а напротив, станут лишь в тягость» (там же, с. 63).

Свои надежды на русский прогресс Достоевский возлагает на «наших будущих и уже начинающихся людей», которые еще «не спелись», «разбиты на кучки и лагери в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего». «Поверьте, — заключает Достоевский, — что если они вступят на путь истинный, найдут его наконец, то увлекут за собою и всех, и не насилием, а свободно. Вот что уже могут сделать единицы на первый случай. И вот тот плуг, которым можно поднять нашу „Новь". Прежде чем проповедовать людям: „как им быть", — покажите это на себе. Исполните на себе сами, и все за вами пойдут. Что тут утопического, что

тут невозможного — не понимаю! 〈...〉 А чистым сердцем один совет: самообладание и самоодоление прежде всякого первого шага. Исполни сам на себе прежде, чем других заставлять, — вот в чем вся тайна первого шага» (там же, главка «Русское решение вопроса»).

Это уже прямой ответ Достоевского на вопрос «что делать?» и «чистым сердцем» Левиным, и тургеневским героям, неудачно пытавшимся поднять народную «новь», и всей молодой России, ищущей живого дела.

Признавая необходимость для народа образования («народ чист сердцем, но ему нужно образование» — там же), Достоевский в то же время настороженно относился к самой идее, что интеллигенция должна будить и воспитывать народ, нести в него идеалы, уже готовые, раз навсегда выработанные европейской цивилизацией. Прежде чем учить других, полагал Достоевский, интеллигенция, нравственно разобщенная с народом, должна сама «выделаться» в истинно русских людей, вернуться на родную «почву», соединиться с «народной правдой».[14] «Невыделанными» людьми, очевидно, были в представлении Достоевского и герои Тургенева (в том числе Соломин), вознамерившиеся поднять «плугом» народную «новь».

Итак, в представлении Достоевского «плуг», который поднимет народную «новь», — это «чистые сердцем» образованные люди, близкие к «народной правде» (или по крайней мере ищущие ее), объединенные идеей деятельной любви. Они увлекут за собою всех, «и не насилием, а свободно».

«Европейскому» («насильственному») решению вопроса о социальной справедливости (а именно этому пути следуют молодые герои-народники «Нови») Достоевский противопоставляет как исходный пункт «русское решение вопроса» — «постановку вопроса нравственную» (там же, с. 60).

## 4

Обратимся теперь к черновым наброскам, посвященным «Нови» в записной тетради 1877 г. В них отразилось первое, самое общее впечатление Достоевского от романа Тургенева, частично реализованное в январском и февральском выпусках «Дневника писателя» за 1877 г. Попытаемся расшифровать эти записи на основе высказанных выше соображений о скрытой полемике Достоевского с автором «Нови» на страницах «Дневника писателя».

Первая запись навеяна размышлениями писателя о современном молодом поколении, изображенном им самим в «Бесах» и Тургеневым в «Нови»: «Повреждения ума, а не сердца. Кирилловы, богочеловек, человекобог, необразованность от ничегонеделания. Непонимание современного человека. „Новь“» (*Д*, XXV, 227).

Любопытна мысль Достоевского о Кириллове как представителе современного молодого поколения: для последнего (очевидно, и для героев «Нови») характерно «повреждение ума, а не сердца», т. е. чистое сердце и умственные заблуждения, «шатания», безверие. «Непонимание современного человека» автором «Нови» — это, возможно, ошибочные, с точки зрения Достоевского, представления Тургенева об искомом национальном деятеле и характере его деятельности.

Наше предположение подтверждается следующей записью:

«NB. Тирада о том, что чем более мы будем национальны, тем более мы будем европейцами (всечеловеками). Тогда-то, может быть, создастся этот тип в первый раз, которого теперь нет и который только в мечтах всех русских даже самых противуположных направлений (славянофилы, националы, красные и проч.). Пора перестать стыдиться своих убеждений, а надо высказать их.

NB. Ошибка ума, а не сердца и проч. ⟨...⟩ NB. Идея. Заразить душу своим влиянием. Влас. Виктор Гюго» (там же, с. 228).

Путь русского прогресса Тургенев связывает с задачей усвоения Россией высших достижений европейской цивилизации, проводниками которой в народе должны явиться лучшие представители демократической интеллигенции типа Соломина. Для Достоевского необходимейшая предпосылка русского прогресса — нравственное воспитание и совершенствование как отдельного человека, так и общества в целом (именно поэтому Достоевский вспоминает своих любимых героев, способных «заразить душу влиянием», — некрасовского Власа и Жана Вальжана В. Гюго).[15]

Высший русский национальный тип, по Достоевскому, — это «всечеловек», носитель идеи всечеловеческого служения и гармонического разрешения европейских противоречий. Этот тип должен возникнуть на основе синтеза лучших европейских и русских национальных начал, и прежде всего — «всечеловечности», отличительной и характерной, по мнению писателя, черты русской нации.[16] «Всечеловека» как подлинно русского, а потому и истинного европейца, Достоевский противопоставляет «общечеловеку», т. е. русскому западнику-космополиту, утратившему свое национальное лицо (подобным «общечеловеком» в представлении писателя был Потугин).

Две последующие записи непосредственно посвящены истолкованию идейного смысла «Нови»:

1) «92-я страница „Нови“. Наша демократия так же древна, как и Россия, а у тех с 89-го года (мысль Мещерского). Ответ автору „Нови“».

2) «Мы свободны с начала русской земли. Европействующие хотят ⟨...⟩ разврата. Но есть уже сильное ядро *сознающих*. Хотя у европействующих литература. Сатира. Подкладки нет. Нечего было бы сказать. *Новь* — вот тайная мысль автора. Вот вам и Потугин! Вот подкладка сатиры Потугина. Нам нечего

волноваться революцией, ибо мы уже 1000 лет как свободны» (там же, с. 229).

Эти записи, объединенные общей идеей, очевидно, относятся ко времени знакомства Достоевского с первой частью «Нови», так как в одной из них, как и в отзыве о «Нови» в январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г., Достоевский связывает основную мысль романа Тургенева с 92-й страницей январской книжки «Вестника Европы» 1877 г. (описание в первой части романа ночной сходки у Маркелова и разговоров о предстоящей революции, в близость которой Соломин не верил, но относился с сочувствием к личностям и целям молодых революционеров, так как «сам был из народа»).

«Европействующим», т. е. русским западникам, Достоевский противопоставляет «сознающих», т. е. русских «почвенников». Сатира в понимании Достоевского необходимо должна содержать хотя бы «в подкладке», т. е. в подтексте, положительный идеал автора. В «подкладке» сатиры «Нови» (критическое изображение Тургеневым современной России и ее правящих классов) Достоевский усмотрел тайное сочувствие автора «Нови» революционному, т. е. «европейскому», насильственному пути преобразования и демократизации России. Представление о русской «исконной» демократии опирается у Достоевского на славянофильскую идеализацию государственного и общественного строя Древней Руси.

Приведенные выше записи 1877 г. свидетельствуют, что Достоевский истолковывал тургеневский символ «новь» двояко: это не только русский народ, который молодые народники трагически безуспешно пытаются поднять на борьбу, но и грядущая революция, та социальная новь, которой Тургенев втайне сочувствует.

Именно таков подтекст возражения Достоевского Тургеневу об «исконной демократии» России.

## 5

Трудно сказать, входила ли в творческие планы Тургенева сознательная полемика в «Нови» с автором «Бесов» и «Дневника писателя» за 1876 г. или же она была неосознанной и явилась следствием различных взглядов писателей на актуальные проблемы русской действительности 1870-х годов. Этот вопрос никогда не затрагивался исследователями, хотя его научная постановка вполне правомерна. Речь идет прежде всего о комплексе проблем, связанных с народом (концепция русского народа, задачи и характер сближения с ним интеллигенции, пути русского прогресса и его движущие силы, перспективы развития пореформенной России и некоторые другие), занимающих видное место в названных произведениях Достоевского и Тургенева.

В «Бесах» Тургенев присутствует не только в качестве Кармазинова, но и как автор романов «Отцы и дети» и «Дым»,

«умный оппонент» Достоевского, видный представитель современных русских западников. Аналогичный случай наблюдаем и в «Дневнике писателя» за 1876 г.: Достоевский ведет открытую полемику с окарикатуренным им Потугиным (собирательным образом крайнего западника-космополита) и скрытую — с его создателем.

Подробные отзывы Тургенева о романе «Бесы» не сохранились. Однако несомненно, что многое в этом романе было писателю идейно чуждо, в том числе его заглавие, евангельский эпиграф, шатовская концепция русского народа-богоносца, изображение революционной молодежи и т. д. В то же время Тургенев не мог не уловить в «Бесах» серьезной полемики с русскими западниками.

Как известно, писатель возлагал на «Новь» особые надежды, так как намеревался завершить этим романом свою «литературную карьеру», рассеять «недоразумения», возникшие между ним и читающей Россией со времен «Отцов и детей» и «Дыма» (см. письмо к М. Е. Салтыкову-Щедрину от 3 (15) января 1876 г. — *Т, Письма*, XI, 190).

В письме к М. М. Стасюлевичу от 22 декабря 1876 г. (3 января 1877 г.) Тургенев изложил те «соображения», которыми он руководствовался при сочинении «Нови».

«Молодое поколение, — писал Тургенев, — было до сих пор представлено в нашей литературе либо как сброд жуликов и мошенников — что, во-первых, несправедливо, — а во-вторых, могло только оскорбить читателей-юношей как клевета и ложь; либо это поколение было, по мере возможности, возведено в идеал, что опять несправедливо — и, сверх того, вредно. Я решился выбрать среднюю дорогу — стать ближе к правде; взять молодых людей, большею частью хороших и честных — и показать, что, несмотря на их честность, самое дело их так ложно и нежизненно, что не может не привести их к полному фиаско» (*Т, Письма*, $XII_1$, 43—44).

Не возводить молодое поколение в идеал, не оскорблять его наименованием «бесы», а помочь ему выбрать правильный путь служения России, делу русского прогресса — так мог формулировать автор «Нови» свою задачу.

Сопоставление эпиграфов к «Бесам» (в данном случае речь идет об евангельском, а не пушкинском эпиграфе) и к «Нови» наводит на мысль о сознательной полемике Тургенева с Достоевским.

В обоих случаях емкие смысловые заглавия романов символичны, эпиграфы служат своеобразным ключом для расшифровки заглавий, причем эпиграфы представляют собой аллегории, раскрывающиеся путем дополнительного авторского истолкования.

Источником первого (и основного) эпиграфа к роману «Бесы», повествующего об исцелении Христом бесноватого, послужило Евангелие от Луки. Оттуда же возникло и заглавие романа. Смысл символа «бесы» и евангельского эпиграфа к роману был

раскрыт Достоевским в ряде писем (наиболее подробно в письме к А. Н. Майкову от 9 (21) октября — см.: *Д, Письма*, II, 291).

Если источником эпиграфа к роману «Новь» действительно явились, как указывал сам Тургенев, «Записки хозяина-агронома», т. е. какой-то сельскохозяйственный справочник, то, разумеется, оттуда же возникло и заглавие «Новь».[17]

Тургенев, как и автор «Бесов», чрезвычайно дорожил найденными им заглавием и эпиграфом к роману, так как они отчетливо раскрывали авторский замысел произведения в целом (разъяснения эпиграфа содержатся в письмах Тургенева к М. М. Стасюлевичу от 26 июля (7 августа) 1876 г. и 22 декабря 1876 (3 января 1877 г.) — *Т, Письма*, XI, 299; $XII_1$, 43—44).

Следует обратить особое внимание на тот факт, что «Новь» — единственный роман Тургенева, снабженный эпиграфом [18] (предшествующие «Бесам» романы Достоевского также не имеют эпиграфов). Тургенев, избегавший в своем творчестве прямых авторских деклараций, в данном случае отступил от этого правила, так как считал эпиграф необходимым ключом для раскрытия идейного содержания романа.

Наиболее распространенный смысл понятия «новь» в истолковании словарей русского языка — никогда не паханная земля, целина («новь» означает также хлеб нового урожая, а в переносном значении — что-либо новое, вновь появляющееся, возникающее).

«. . .Новь, — разъясняет В. Даль, — не́пашь, залог, целина». «Подымать или ломать нови, новину — пахать целину». «Новь также хлеб новинный, местами овощ, слетье, вообще что впервые на году появилось».[19]

Тургенев выбрал первый, наиболее употребительный смысл понятия «новь», а именно — невозделанная земля, еще не паханная целина, доказательством чему служит эпиграф к роману, разъясняющий, как следует пахать новь.

Под «новью», непочатой целиной, которую необходимо возделывать глубоко забирающим плугом, чтобы она дала хороший урожай, Тургенев подразумевает русский народ.

«Почва» — синоним понятий «земля» и «целина». Тургенев охотно использует излюбленный символ славянофилов и почвенников, уподоблявших народ почве, тому верхнему слою земли, в котором развивается органическая жизнь, необходимый источник всего сущего. И для Тургенева народ — это почва, основа, фундамент общественного здания, необходимое условие социального прогресса и процветания России в целом. Однако для него это прежде всего невозделанная почва, которую необходимо длительно и тщательно возделывать, чтобы получить богатый урожай.

Эпиграфы к обоим романам (в применении к «Бесам» речь идет об евангельском эпиграфе) содержат указания на пути возрождения и преобразования России, причем эпиграф к «Нови» полемичен по отношению к эпиграфу «Бесов».

Идее исцеления и обновления России народной христианской этической правдой, выраженной в эпиграфе романа «Бесы», в эпиграфе «Нови» противопоставлена идея европейского просвещения народа, осуществляемого демократической интеллигенцией; Евангелию от Луки противостоят «Записки хозяина-агронома».

Тургеневу был глубоко чужд образ народа-богоносца, призванного нравственно излечить больную европеизмом русскую интеллигенцию. Достоевскому было не менее чуждо тургеневское представление о спящем непробудным сном народе, о той невозделанной почве, которую интеллигенция призвана вспахать «глубоко забирающим плугом» европейской цивилизации (по собственному разъяснению Тургенева, «плуг» в эпиграфе «не значит революция — а просвещение» — *Т, Письма*, XI, 299).

«Мелко скользящая соха» — не только пропаганда революционных народнических идей в народе; это в то же время различные ложные, с точки зрения Тургенева, «славянофильские» представления о народе и о характере взаимоотношения с ним интеллигенции.

Тургенев расценивал как «славянофильские» всякие чрезмерные «упования» на народ: как революционные (идеализация крестьянской общины Герценом и народниками, рассматривавшими ее как ячейку социализма), так и мирные (надежды славянофилов и Достоевского на исцеление русской интеллигенции народной православной правдой).

«Положим, я не славянофил, — писал Нежданов другу Силину, — я не из тех, которые *лечатся* народом, соприкосновением с ним: я не прикладываю его к своей больной утробе, как фланелевый набрюшник ... я хочу сам действовать на него, — но как?? Как это совершить?» (*Т*, XII, 226).

В свое время критик В. Авсеенко, использовав тургеневское сравнение, уподобил славянофилов пустым сосудам, которые ластятся к народу в поисках «живой воды». Уподобление фланелевому набрюшнику отношения славянофилов к народу было не менее метко и язвительно.

Общую антиславянофильскую направленность «Нови», выраженную уже в эпиграфе к роману, Достоевский уловил очень чутко и быстро отреагировал на нее, как было показано выше, в январском и февральском выпусках «Дневника писателя» за 1877 г.

Не лечиться у народа, а лечить его, не просвещаться у народа, а просвещать его — такова была формула Тургенева и западников, определяющая основной характер взаимоотношений интеллигенции и народа.

В период «Нови» идея просветительской роли «образованного класса» в народе, не изменившись по существу, получила дальнейшее углубление и конкретизацию в образе народного просветителя Соломина.

Ограничение самодержавия путем конституции, уничтожение всех пережитков крепостничества, последовательная европеиза-

ция во всех областях русской общественной жизни путем дальнейших буржуазно-демократических преобразований «сверху», просвещение интеллигенцией народных масс «снизу» — вот существенные моменты общественно-политической и культурной программы Тургенева в этот период.

Сторонник мирного, легального, постепенного преобразования России, Тургенев считал, что необходимым условием русского прогресса должно явиться пробуждение, просвещение и постепенное приобщение к сознательному участию в гражданской жизни страны огромных масс освобожденного от крепостной зависимости темного и безграмотного народа, пребывающего в пореформенный период в крайне тяжелом состоянии.

Эту длительную, трудоемкую, незаметную работу и призвана выполнить демократическая интеллигенция, вышедшая из народа, используя возможные легальные формы (народные школы и больницы, земство, артели и др.).

Программа скромной и незаметной, но необходимой просветительской деятельности интеллигенции в народе была изложена Тургеневым в письмах к А. П. Философовой 1874—1875 гг.

В России 1870-х годов, пишет Тургенев, время Базаровых уже прошло, и для «предстоящей общественной деятельности не нужно ни особенных талантов, ни даже особенного ума — ничего крупного, выдающегося, слишком индивидуального; нужно трудолюбие, терпение; нужно уметь жертвовать собою безо всякого блеску и треску — нужно уметь смириться и не гнушаться мелкой и темной и даже низменной работы» (*Т, Письма*, X, 295). Далее Тургенев поясняет, что «низменная работа» — это «учить мужика грамоте, помогать ему, заводить больницы и т. д.». «Мы вступаем в эпоху *только полезных* людей. . . и это будут лучшие люди ⟨...⟩ Народная жизнь переживает воспитательный период внутреннего, хорового развития, разложения и сложения; ей нужны помощники — не вожаки, и лишь только тогда, когда этот период кончится, снова появятся крупные, оригинальные личности» (там же, с. 295—296).

Интеллигенции, по мнению писателя, давно пора «бросить мысль о „сдвигании гор с места“ — о крупных, громких и красивых результатах», а довольствоваться скромной полезной деятельностью (*Т, Письма*, XI, 33).[20]

Связь программы общественного служения, изложенной Тургеневым в письмах к А. П. Философовой, с деятельностью Соломина, организовавшего на фабрике у Фалеева больницу, школу, а позднее в Перми завод на артельных началах, несомненна. Черновые записи в подготовительных материалах к «Нови»: «почва!», «когда не Павлы будут готовы, а Дутики», «Якушкина!»[21] — отражают размышления Тургенева о путях русского прогресса.

О той реальной почве, на которую могли бы опереться сторонники «безотлагательных действий», спорят в романе Маркелов и Нежданов (гл. XVI и XX), ее не видит «трезвый»

Соломин, и только Кисляков, в двадцать два года решивший «все вопросы жизни и науки», «первый отыскал, наконец, почву» (гл. XVII).

По мысли Тургенева, русский народ в своей массе (не сознательные Павлы, а темные, невежественные Дутики) не созрел для пропаганды новых идей и потребуется длительное время для его воспитания и просвещения. Эту задачу и призваны выполнить просветители Соломины. Когда в народе будет много Павлов и когда среди интеллигенции будет много Соломиных, дело русского прогресса быстро двинется вперед.

Соломин в понимании Тургенева не обычный буржуазный «постепеновец», рассчитывающий на реформы «сверху», а «постепеновец снизу», народный деятель и просветитель, веривший в возможность «легального переворота» во имя народа и при помощи народа.[22]

Убеждение Тургенева в необходимости для русского прогресса деятелей типа Соломина свидетельствует о дальнейшей демократизации его просветительских взглядов: в роли просветителей в «Нови» выступают уже не лучшие представители дворянства, как в «Рудине», «Дворянском гнезде» и «Дыме», а выходцы из народной среды, с которыми писатель связывал надежду на будущее обновление России. Да и сама программа Соломина, рассчитанная на просвещение интеллигенцией широких слоев народа «снизу», несомненно шире и значительнее тех задач, которые ставили перед собой дворянские просветители Лаврецкий и Литвинов, стремившиеся разумно хозяйничать в собственных имениях и тем самым способствовать улучшению быта крестьян. В 1870-е годы подобное служение делу русского прогресса, «европейской цивилизации» уже кажется Тургеневу недостаточным.

Возможно, что в начале 1860-х годов Достоевский с бóльшим сочувствием воспринял бы образ Соломина как полезного деятеля на народной ниве. Ведь распространение интеллигенцией грамотности в народе писатель предлагал в то время в качестве «первого» (и основного) шага для практического претворения сближения «нашей образованности» с «почвой». В понимании просветительской, цивилизаторской роли интеллигенции по отношению к народу Достоевский во многом сближался тогда с Тургеневым.

Во «Введении» к «Ряду статей о русской литературе» (1861) Достоевский высмеял великие притязания «лишних людей» на грандиозную деятельность и, подобно Тургеневу 1870-х годов, призвал их удовлетвориться скромной просветительской деятельностью в народе. «Научите хоть одного мальчика грамоте; вот вам и деятельность»; «снизойдите, снизойдите до мальчика» — таковы иронические призывы Достоевского, обращенные к «нашим „талантливым натурам"», к «нашим обленившимся байронам» (*Д*, XVIII, 67—68).

В романе «Новь» близкие идеи развивает Соломин, который советует Марианне, мечтающей о подвиге, ограничиться скромной,

незаметной работой среди крестьян: «...ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете ⟨...⟩ вот вам и начало»; «шелудивому мальчику волосы расчесать — жертва, и большая жертва, на которую немногие способны» (*Т*, XII, 221).[23]

Однако в 1877 г. Соломин и его программа не вызвали у Достоевского никакого сочувствия. Достоевский отказался признать близость Соломина к народу прежде всего потому, что не увидел в нем (в отличие от Лаврецкого) смирения перед народной нравственной правдой. Соломинскую программу просвещения и воспитания народа он мог расценить как типично западническую. Следует принять во внимание и тот факт, что Достоевский, очевидно, многое воспринял в «Нови» под негативным впечатлением от недавно перечитанного «Дыма». Это отразилось на общей отрицательной оценке романа Тургенева. В отличие от Тургенева, связывавшего общественно-политический и культурный прогресс России в первую очередь с необходимостью усвоения русским народом лучших достижений европейской цивилизации, автор «Дневника писателя» за 1876—1877 гг., как отмечалось выше, на передний план выдвигал идею усвоения «европеизированной» русской интеллигенцией нравственных ценностей народа (преклонение перед «народной правдой»), утраченных ею в результате петровских преобразований.

Продолжим наши аналогии, обратившись к последнему роману Достоевского. Эпиграф к «Братьям Карамазовым», взятый из Евангелия от Иоанна, выражает надежду писателя на грядущее нравственное возрождение отдельной личности, России, человечества в целом.[24] Близкий смысл Достоевский вкладывал в евангельский эпиграф к «Бесам».

«Новь» и «Братья Карамазовы» — итоговые романы Тургенева и Достоевского. Они были задуманы как итоговые и оказались таковыми как последние большие эпические произведения писателей. Тургенев и Достоевский, каждый по-своему, стремились указать молодежи правильный, с их точки зрения, путь служения России, делу русского прогресса.

В «Братьях Карамазовых» как бы соединились центральные проблемы, затронутые Тургеневым в романах «Отцы и дети», «Дым» и «Новь», — проблемы поколений, грядущих судеб России и Европы, путей и движущих сил русского прогресса.

Эпиграф к «Братьям Карамазовым» — это и своеобразный ответ Достоевского автору «Дыма» и «Нови», во многом подготовленный его диалогом с Тургеневым в «Дневнике писателя» за 1876—1877 гг.

Сопоставим эпиграфы к последним романам Тургенева и Достоевского.

В обоих случаях писатели прибегают к одним и тем же символам (или же подразумевают эти символы). Идея новой жизни (обновления, возрождения, преображения) связана в эпиграфах с почвой, землей и брошенным в нее семенем, зерном, дающим новые всходы.

Чтобы получить богатый урожай, считает автор «Нови», прежде всего следует глубоко вспахать почву (народ, Россия) «плугом» европейской цивилизации. Это необходимая предпосылка для дальнейшего самобытного развития России.

Зерно, упавшее в землю, должно умереть, чтобы дать «много плода», т. е. человек должен возродиться к новой жизни путем нравственного преображения, приняв в свою душу народную правду. Духовное обновление, преображение русского человека должно предшествовать, по мысли Достоевского, социальным и общественным преобразованиям, необходимость которых для России писатель отчетливо сознавал.

Таков ответ автора «Братьев Карамазовых» пропагандисту высших достижений европейской цивилизации.

[1] Цензурное разрешение на февральский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г. помечено 4 марта, следовательно, Достоевский к этому времени уже успел прочесть вторую часть «Нови», опубликованную в самом начале февраля 1877 г., и получил представление о романе в целом.

[2] Независимо от нас эту контаминацию отметил также А. И. Батюто в комментарии к «Дневнику писателя» за 1877 г. (см.: *Д*, XXVI, 372—373).

[3] Этот вариант был в первой публикации романа («Вестник Европы») вместо снятого по цензурным соображениям: «Один царев кабак — тот не смыкает глаз».

[4] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1948, т. 3, с. 270.

[5] Возможно, намек на недавно опубликованную вторую часть «Нови».

[6] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1938, т. 3, с. 212, 210.

[7] Ср. с характеристикой «Песен западных славян» в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г.

[8] О концепции русского народа у Достоевского и ее связи с некрасовским Власом см.: *Туниманов В. А.* Достоевский и Некрасов. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 33—66; см. также комментарий А. В. Архиповой к главе «Влас» в «Дневнике писателя» за 1873 г.: *Д*, XXI, 396—401.

[9] А. И. Батюто высказал спорное, на наш взгляд, предположение, будто, «сочиняя стихотворение „Сон“, Тургенев находился под определенным воздействием публицистики Достоевского» (*Батюто А. И.* Достоевский и Тургенев в 1860—1870-е годы: (Только ли «История вражды»?). — Рус. лит., 1979, № 1, с. 63). Тема тяжелого положения пореформенного крестьянства, как известно, была широко распространена в литературе и публицистике 60—70-х годов. Однако в данном случае речь идет не о «степени пессимизма» во взглядах обоих писателей на народ, а скорее о различных концепциях народа, т. е. разногласиях принципиального характера.

[10] Напомним, что непонимание Левиным высокой нравственной идеи, лежавшей в основе народного движения за освобождение болгар, Достоевский расценил как «обособление» Левина, его разобщение с народом. Этот факт послужил толчком к существенной переоценке Достоевским «чистого сердцем» Левина (ср.: «Дневник писателя» за 1877 г., вып. за февраль и июль—август).

[11] «после меня потоп» (*франц.*).

[12] В письме к студентам от 18 апреля 1878 г. Достоевский заметил, что «никогда еще не было у нас, в нашей русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь 〈...〉 в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннею, более чистою сердцем, более жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовать всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. Подлинно великая надежда России!» (*Д, Письма,* IV, 17).

[13] Тургенев впервые услышал слово «опроститься» от одной московской мещанки (по другим сведениям — от старой крестьянки в Спасском), и оно поразило писателя своей меткостью и точностью.

«Будет в нем (в романе «Новь». — *Н. Б.*) одно слово, которое может сделаться таким же популярным, как слово „нигилист“, — очень уж оно метко выражает

стремление современной молодежи. Только не я его нашел... Я пока держу его в секрете», — так передает Н. А. Островская свой разговор с Тургеневым летом 1876 г. По свидетельству этой мемуаристки, мещанка употребила глагол, а Тургенев образовал из него прилагательное, определяющее «человека, который совсем желает сделаться простолюдином» (*Островская Н. А.* Воспоминания о Тургеневе. — В кн.: Тургеневский сборник / Под ред. Н. К. Пиксанова. Пг., 1915, с. 129—130. — Ср. с воспоминаниями Е. И. Апрелево-Блaрамберг: Новороссийский телеграф, 1883, 6 сентября, № 2571).

[14] Ср. с черновой записью к декабрьскому выпуску «Дневника писателя» за 1877 г.: «Юношам надо учиться, а не учить других. А учителями к ним не подмазываться» (*Д*, XXVI, 201). В одном из писем 1878 г. Достоевский призывал молодежь найти путь к народу и его идеалам, чего, по мнению писателя, не сумели сделать народники. Чтобы «пойти к народу и остаться с ним, надо 〈...〉 *разучиться презирать его*, а это почти невозможно нашему верхнему слою общества в отношениях его с народом» (*Д, Письма,* IV, 19).

[15] Ср. с черновой записью: «NB. О том, как великая идея передается таким душам, которые, по-видимому, и подозревать невозможно, что они заняты высшими идеями жизни: Фома-мученик, Влас, Жан Вальжан» (*Д*, XXV, 227).

[16] Ср. с черновой записью 1877 г.: «Мы настолько же русские, насколько и европейцы, всемирность и общечеловечность — вот назначение России» (*Д*, XXIV, 309).

[17] См. эпиграф: «Поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом. (*Из записок хозяина-агронома*)». Разыскать точный источник заглавия и эпиграфа к «Нови» пока не удалось. Подобная попытка была предпринята В. А. Громовым, обследовавшим сельскохозяйственные справочники родовой библиотеки Тургенева в Спасском-Лутовинове, — см. его статью «О заглавии, эпиграфе и некоторых реальных источниках романа» в кн.: Тургеневский сборник. М.; Л., 1969, вып. 5, с. 313—318.

[18] Тургенев отказался от своего первоначального намерения снабдить эпиграфом роман «Отцы и дети». «Дворянское гнездо» в журнальной публикации (Современник, 1859, № 1) имело эпиграф из сборника Кирши Данилова. Тургенев снял эпиграф в последующих изданиях романа.

[19] *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1979, т. 2, с. 549.

[20] Это и ответ Тургенева на давний вопрос Д. И. Писарева, не удовлетворенного образом Литвинова: «Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова? 〈...〉 Неужели же Вы думаете, что первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца? 〈...〉 Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что Вы его не заметили» (*Писарев Д. И.* Соч. М., 1956, т. 4, с. 424—425).

[21] Павел и Дутик — персонажи романа «Новь». Е. М. Якушкина — мценская помещица, знакомая Тургенева. Занималась культурно-просветительской деятельностью среди крестьян.

[22] Подробнее об этом см.: *Буданова Н. Ф.* Роман И. С. Тургенева «Новь» и революционное народничество 1870-х годов. Л., 1983.

[23] На основе приведенной выше аналогии между высказываниями о «мальчике» Достоевского и тургеневского Соломина А. И. Батюто в упоминавшейся выше статье «Достоевский и Тургенев в 1860—1870-е годы: (Только ли «История вражды»?)» сделал вывод о «единомыслии» Тургенева и Достоевского «в области 〈...〉 народного просвещения» (см. с. 43—44). Однако вывод «об единомыслии», базирующийся на сопоставлении взглядов Достоевского начала 1860-х годов и Тургенева второй половины 1870-х годов, вступает в явное противоречие с реальным фактом неприятия автором «Дневника писателя» за 1877 г. Соломина и его программы.

[24] См.: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода» (слова Христа незадолго до его распятия. — Евангелие от Иоанна, гл. 12, ст. 24).

# НЕЗАВЕРШЕННЫЙ ДИАЛОГ: РЕЧИ О ПУШКИНЕ

## 1

В июне 1880 г. Достоевский и Тургенев встретились в Москве на Пушкинских празднествах, торжественно отмечавшихся русской общественностью, и как бы вступили в непосредственный диалог в своих Речах, посвященных великому русскому поэту. Речи Тургенева и Достоевского, прочитанные ими на заседаниях Общества любителей российской словесности 7 и 8 июня 1880 г., явились центральными событиями Пушкинских празднеств и вызвали (особенно блестящая речь Достоевского) широкий резонанс в печати.[1] В этих Речах отчетливо отразились литературно-эстетические и общественно-политические взгляды обоих писателей.

Установку на соревнование и полемику с Тургеневым как выразителем западнического, а потому и узкого, одностороннего, с точки зрения Достоевского, взгляда на Пушкина нетрудно обнаружить в его письмах.

Так, например, Достоевский писал жене 28—29 мая 1880 г., что он намерен выступить от лица всей славянофильской интеллигенции, «ибо враждебная партия (Тургенев, Ковалевский и почти весь Университет) решительно хочет умалить значение Пушкина как выразителя русской народности, отрицая самую народность» (*Д, Письма*, IV, 157; ср. с письмом к К. П. Победоносцеву от 19 мая 1880 г. — там же, с. 144).

Тургеневскую Речь Достоевский воспринял как унижение Пушкина, у которого Тургенев «отнял» «название национального поэта» (письмо к жене от 7 июня 1880 г. — *Д, Письма*, IV, 169). Это мнение Достоевского разделяли и некоторые его современники. Н. Н. Страхов позднее вспоминал: «Главный пункт, на котором остановилось общее внимание, состоял в определении той *ступени*, на которую Тургенев ставил Пушкина. Он признавал его вполне народным, т. е. самостоятельным поэтом. Но он ставил еще другой вопрос: есть ли Пушкин поэт *национальный* 〈...〉 Все это и другое подобное было иным не совсем по душе. В группе деятельных участников торжества пронеслось чувство некоторой неудовлетворенности, неясной досады».[2]

Обратимся к тексту Пушкинской речи Тургенева, чтобы выяснить, насколько справедливы были обвинения, предъявленные писателю его оппонентами.

В своей оценке Пушкина Тургенев выступил как ученик и последователь Белинского. Это сказалось, прежде всего, в характеристике Пушкина как «поэта-художника»,[3] «центрального художника», близко стоявшего к средоточию русской жизни, а также в противопоставлении Пушкина его последователям — Лермонтову и Гоголю, жившим в иное время и выполнявшим уже иные задачи (по мысли Тургенева, русская жизнь вступала из литературной эпохи в политическую и поэтому назрела потребность в отрицании, критике, полемике, сатире).

Тургенев нередко сближает понятия «народный» и «национальный», однако чаще он связывает второе с представлением о всемирно-историческом значении поэта, вкладе нации в мировую культуру.[4]

Достоевский не разграничивает в своей Речи понятия «народный», «национальный» и «всемирный». В его представлении художник, ярко отразивший в своих творениях отличительные черты народного, национального характера и духа, имеет полное право на всемирное признание.

Уже в отрывке лекции о Пушкине (1859), опубликованном в 1869 г. в составе «Литературных воспоминаний» (очерк «Воспоминания о Белинском»), Тургенев назвал Пушкина «великим художником», который в зрелый период своего творчества отвернулся от толпы, «приблизившись, насколько мог, к народу», и который «один мог бы подарить нас и народной драмой и народной эпопеей» (*Т*, XIV, 37).

В своей Пушкинской речи Тургенев по существу признал народный и национальный характер творчества Пушкина: «Самая сущность, все свойства его поэзии совпадают со свойствами, сущностью нашего народа ⟨...⟩ заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку ⟨...⟩ он отозвался типическими образами, бессмертными звуками на все веяния русской жизни. Он первый, наконец, водрузил могучей рукою знамя поэзии глубоко в русскую землю. . .». Русский народ имеет право «называться великим народом потому, что среди этого народа родился, в ряду других великих, и *такой* человек!» (*Т*, XV, 70, 75—76).

Однако Тургенев в отличие от Достоевского уклонился от признания всемирного значения Пушкина, хотя в своей Речи трижды затронул эту тему.

«Вопрос: может ли он (Пушкин. — *Н. Б.*) назваться поэтом национальным, в смысле Шекспира, Гёте и др., мы оставим пока открытым ⟨...⟩ быть может, явится новый, еще неведомый избранник, который превзойдет своего учителя и заслужит вполне название национально-всемирного поэта, которое мы не решаемся дать Пушкину, хотя и не дерзаем его отнять у него» (там же, с. 69, 75).[5]

Изложив в письме к С. А. Толстой от 13 июня 1880 г. основной смысл своей Пушкинской речи, Достоевский связал воедино две

ее главные идеи — «всемирную отзывчивость» и народность Пушкина.[6] «Как раз накануне моей речи, — заметил Достоевский в этом письме, — Тургенев даже отнял у Пушкина (в своей публичной речи) значение народного поэта» (*Д, Письма*, IV, 175).

«Всемирная отзывчивость Пушкина и способность совершенного перевоплощения его в гении чужих наций — способность, не бывшая еще ни у кого из самых великих всемирных поэтов» (там же) для Достоевского — наиболее яркое воплощение русского национального духа. Поэтому колебания Тургенева в признании всемирно-исторического значения русского гения, которого он не решился поставить в один ряд с Гомером, Шекспиром, Гете и другими мировыми гениями, Достоевский воспринял как «отрицание», «умаление» Тургеневым народного, национального характера наследия Пушкина; более того: как «умаление», «унижение» русской нации перед другии нациями Европы.

Достоевский (и здесь не исключена сознательная полемическая ориентация на Тургенева) не только поставил Пушкина в один ряд с величайшими европейскими поэтами, но даже возвысил его над ними как носителя чисто русской национальной черты — «всечеловечности».

Идея народности является краеугольным камнем в эстетической системе Достоевского и основополагающей в его Речи о Пушкине. Она связует воедино все другие идеи.

В интерпретации Достоевского народность Пушкина проявляется широко и многогранно. Это прежде всего глубокая, непосредственная любовь поэта к народу, удивительное понимание народной сути и духа, преклонение перед народной нравственной правдой, вера в великое будущее русского народа и России, убеждение, что «лишь в народе и в одном только народе обретем мы всецело наш русский гений и сознание назначения его» (*Д*, XXV, 200). Пушкин первый «дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные» (*Д*, XXVI, 130). Таковы Татьяна Ларина, народные типы и характеры в «Борисе Годунове», «Капитанской дочке», «Повестях Белкина», поэзии Пушкина.

Народность Пушкина Достоевский усматривает также в том, что он не только первый «отыскал и отметил» «болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом» (там же, с. 129), но также осудил его с позиций народной нравственной правды, указав путь исцеления (возврат интеллигенции на родную «почву», сближение с народом).

По сложившейся традиции в Пушкинских речах Тургенева и Достоевского усматривают часто выражение полярно противоположных точек зрения на Пушкина, отражающих западническую (Тургенев) и славянофильско-почвенническую (Достоевский) идеологию. Традиция эта восходит к Достоевскому, который резко разграничил свою и тургеневскую оценки Пушкина, так как

не увидел в тургеневской Речи отклика на дорогие ему идеи.

Однако если подойти непредвзято к обеим Пушкинским речам, то нетрудно обнаружить немало общего в отношении Тургенева и Достоевского к Пушкину, во многом сформировавшемся под влиянием идей Белинского. Для них обоих Пушкин — любимейший поэт, не утративший своей актуальности, оба считали себя его учениками и последователями (Тургенев назвал Пушкина «старым, но не устаревшим учителем» — *Т*, XV, 75). Не случайно, что только Тургенев и Достоевский, как справедливо отметил Г. И. Успенский,[7] сумели в своих Речах связать вопрос о значении Пушкина с злободневными проблемами русской действительности, в частности с проблемой интеллигенции и народа.

В характеристике обоих писателей Пушкин предстает как величайший национальный поэт, основоположник русской литературы, определивший ее последующее развитие по пути реализма и народности.

«. . .Пушкин в своих созданиях оставил нам множество образцов, типов (еще один несомненный признак гениального дарования!), — типов того, что́ совершилось потом в нашей словесности. Вспомните хоть сцену корчмы из „Бориса Годунова", „Летопись села Горохина" и т. д. А такие образы, как Пимен, как главные фигуры „Капитанской дочки", не служат ли они доказательством, что и прошедшее жило в нем такою же жизнью, как и настоящее, как и предсознанное им будущее?» (*Т*, XV, 72). Это суждение Тургенева вполне можно приписать Достоевскому, настолько оно ему близко по сути и по духу. Несомненно, что оба они отчасти сближались и в понимании народности Пушкина. Не случайно Тургенев и Достоевский подчеркивают ярко выраженный русский национальный склад всей личности Пушкина, особенно ценят созданные им народно-бытовые типы и характеры в «Борисе Годунове» и «Капитанской дочке».[8]

Знаменательно, что оба писателя отмечают по существу одну и ту же замечательную черту, свойственную Пушкину, — его удивительную способность «полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного» (*Д*, XXVI, 130).

Тургенев упоминает о «художественной восприимчивости» Пушкина, о присущей ему способности «мощной силы самобытного присвоения чужих форм». Эту способность, добавляет Тургенев, «сами иностранцы признают за нами, правда, над несколько пренебрежительным именем способности к „ассимиляции"» (*Т*, XV, 71).

Достоевский был не совсем точен, когда писал С. А. Толстой 13 июня 1880 г., что «великой особенности Пушкина: перевоплощаться в гении чужих наций совершенно никто-то не заметил до сих пор, никто-то не указал на это» (*Д, Письма*, IV, 175).

В истории русской критики Белинский первый отметил как характернейшую особенность дарования Пушкина свойственный

ему протеизм, назвав поэта Протеем еще в «Литературных мечтаниях» (1834).[9] Позднее Белинский в цикле своих статей о Пушкине подчеркнул «удивительную способность» великого русского поэта «быть как у себя дома во многих и самых противоположных сферах жизни». Критик называл эту особенность таланта Пушкина «художнической многосторонностью», «необыкновенно великим художническим тактом», «тактом действительности».[10] Примерами подобной «художнической многосторонности», по мнению критика, могут служить «Русалка» («она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни»), «драматическая поэма» «Каменный гость» («она, и по природе страны и по нравам своих героев, так и дышит воздухом Испании»), «Египетские ночи» («вы будете перенесены в самое сердце жизни издыхающего древнего мира. . .»).[11] Белинский упоминает также другие произведения Пушкина — его «превосходнейшие пьесы в антологическом роде, запечатленные духом древнеэллинской музы»; «Подражания Корану», «вполне передающие дух исламизма и красоты арабской поэзии»; «Песни западных славян», дышащие «всей роскошью местного колорита»; «Подражания Данту», которые «можно счесть за отрывочные переводы из „Божественной комедии“»; «Начало поэмы», которое «как будто написано турком нашего времени».[12]

Однако лишь Достоевский усмотрел в этом художественном даре Пушкина наиболее законченное воплощение русской национальной черты — всечеловечности и великое пророчество о всемирном назначении России с ее стремлением к мировому братству.[13]

## 2

Образ «русского скитальца» и проблема «скитальчества» занимают в Пушкинской речи Достоевского центральное место.

Характеризуя национально-историческое значение Пушкина, Достоевский отмечает, что поэт первым в русской литературе художественно воплотил в образах Алеко и Онегина «отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе» (*Д*, XXVI, 129—130). В их числе Достоевский упоминает Печорина, Рудина, Лаврецкого и некоторых других героев русской литературы XIX в.

Понятие «отрицательный тип наш» у Достоевского очень широкое. (Определение «отрицательный» в данном случае является, очевидно, не только оценкой типа, но и его характеристикой: именно отрицание, трактуемое многообразно, составляет, по Достоевскому, ведущую черту типа). Это тип русского, европейски

образованного интеллигента, появившийся впервые в послепетровскую эпоху. Его основные родовые черты: отрицание существующей действительности, мучительные поиски идеала, пренебрежение к родной «почве» и народным идеалам, неумение найти полезное дело на родной ниве, тоска по соединению с «почвой» и т. д. Нетрудно заметить, что данную характеристику «отрицательного типа» русского интеллигента Достоевский относит прежде всего к так называемым «лишним людям», литературным и историческим. Об этом свидетельствуют перечень литературных героев, обозначение времени появления исторического типа и его предпосылки.

Крайними полюсами типа являются «подполье» и «скитальчество». Напомним, что в первой половине 1860-х годов такие отрицательные черты «лишних людей», как эгоцентризм, индивидуализм, безверие (при мучительной жажде веры и идеала), пренебрежение к народной нравственной правде, бездействие и т. д., Достоевский связал с социально-психологическим понятием «подполье».

В Речи о Пушкине Достоевский назвал лучших представителей типа «русскими скитальцами», признав, что их мучительное скитальчество по родной земле и в Европе в поисках высшего идеала было исторически закономерно как определенный, хотя и трагически безуспешный (вследствие отрыва от народа) этап в поступательном движении человечества к его конечной цели — мировой гармонии и всемирному братству.

Достоевский дает в своей Речи следующую характеристику «русского скитальца»: «В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем 〈...〉 Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей Русской земле, поселившийся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то всё равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новой верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастие, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории. Это всё тот же русский человек, только в разное время явившийся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы» (там же, с. 137—138).

Достоевский относит к «скитальцам» не только «лишних людей», но также и революционеров, социалистов, воздав должное нравственному максимализму этих «фантастических мечтателей», их стремлению к всемирному счастью и мировой гармонии. Одновременно он отмечает слабые, отрицательные черты типа, и прежде всего пренебрежение к народной нравственной правде, неспособность к общеполезному делу, гордость. Эти черты «скитальца» Достоевский полемически преувеличил в споре с публицистом А. Д. Градовским.

Таким образом, отношение Достоевского к «скитальцу» двойственное. Для него это все-таки «отрицательный тип», которому он противопоставляет редко еще встречающийся в современной жизни и русской литературе тип «положительной красоты» из среды русской интеллигенции, близкой к народной нравственной правде.

В «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский во многом предвосхищает ту интерпретацию «скитальчества», которая дана в Речи о Пушкине. Для Достоевского «скитальчество» с его центральной идеей «общечеловеческого единения» — характерное, исторически обусловленное проявление русского национального самосознания. По мысли писателя, западники, как и славянофилы, верят в «общечеловечность», т. е. в братское единение народов, однако представления о путях достижения «общечеловеческого единения» у них различны (январский выпуск «Дневника писателя» за 1877 г., главка «Примирительная мечта вне науки»).

В главке «Мы в Европе лишь стрюцкие» Достоевский характеризует эволюцию русского «скитальчества» со времени петровских преобразований, суть которой состоит в том, что русская либерально-демократическая мысль в своих идейных исканиях следовала за передовой западноевропейской, повторяя ее увлечения, заблуждения, разочарования.

Первоначальный этап этой эволюции — усвоение русской интеллигенцией внешнего, поверхностного европеизма. Для торжества «общечеловечности» западники начали с «бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только» (*Д*, XXV, 20—21). «Мы с того и начали, что прямо „сняли все противоположности“, — пишет Достоевский, — и получили общечеловеческий тип „европейца“ — то есть с самого начала подметили *общее*, всех их связующее, — это очень характерно» (там же, с. 21).

Следующий этап идейной эволюции «скитальцев» — увлечение европейской цивилизацией, посредством которой они также надеялись достигнуть «общечеловеческого единения»: «. . .мы прямо ухватились за цивилизацию и тотчас же уверовали, слепо и преданно, что в ней-то и заключается то „всеобщее“, которому предназначено соединить человечество воедино» (там же).

Последующие звенья в умственном развитии русских «скитальцев» — увлечение идеями французских просветителей, револю-

ции 1789 г., утопическим социализмом. Последний был принят «за конечное разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение всей увлекавшей нас доселе мечты нашей». «Наши помещики, — пишет Достоевский, — продавали своих крепостных крестьян и ехали в Париж издавать социальные журналы, а наши Рудины умирали на баррикадах» (там же, с. 21—22). В данном случае существенны намек на Герцена и употребление Достоевским нарицательной формы «наши Рудины», выражающей типичность тургеневского образа «скитальца».

Характеризуя этапы идейно-нравственного «скитальчества» русской интеллигенции, ищущей путей к «всемирному братству» и «общечеловеческому единению», Достоевский подчеркивает трагический разрыв представителей «культурного слоя» с народом и его идеалами. Этот разрыв, по мнению писателя, все возрастает.

Понятия «скиталец» и его производные, наполненные в Пушкинской речи большим смысловым содержанием, нередко встречаются в русской и европейской литературах. Внимание исследователей привлекал вопрос о возможных литературных источниках этого символа у Достоевского. Однако предпочтение в данном случае следует отдать русским источникам, так как в осмыслении Достоевского «скитальчество» — это прежде всего русское национальное явление, подтверждением чему служат перечисленные в его речи «скитальцы» — персонажи произведений русской литературы XIX в.[14]

Честь первооткрывателя типа «русского скитальца» Достоевский приписывает Пушкину, создателю образов Алеко и Онегина.[15]

Достоевский прямо называет Онегина «мировым скитальцем», «искателем мировой гармонии», а в его характеристике, как и в характеристике Алеко, подчеркивает черты «скитальца». Онегин «в глуши, в сердце своей родины» «конечно не у себя, он не дома», он «чувствует себя как бы у себя же в гостях». «Впоследствии, когда он скитался в тоске по родной земле и по землям иностранным», он «еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим». Онегин не верит «родным (т. е. народным. — *Н. Б.*) идеалам», «верит лишь в полную невозможность какой-то ни было работы на родной ниве», а на верящих в эту возможность «смотрит с грустною насмешкой». Ленского он убил «просто от хандры, почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему», — иронизирует Достоевский (*Д*, XXVI, 140).

Не исключено, что самый термин «скиталец» в значительной мере навеян образом Рудина, потому что Рудин наиболее соответствует той интерпретации «скитальца» и «скитальчества», которая дана в Речи о Пушкине. Любопытно, что Достоевский, характеризуя «русского скитальца», употребляет эпитет «бездомный» — синоним тургеневскому «бесприютный».

Мотив «бесприютного скитальчества» Рудина в родной земле отчетливо звучит в романе и приобретает поистине символическое звучание в эпилоге, когда Рудин уходит из губернской гостиницы

в непроглядную осеннюю ночь. «И да поможет господь всем бесприютным скитальцам!» — такими словами завершает автор эту сцену. Рудин — «чужой в доме», «Вечный жид», «перекати-поле». Ему словно самой судьбой предопределено мыкаться по свету, так и не обретя достаточного применения своим незаурядным дарованиям.

Причины неудач всех практических начинаний Рудина Лежнев объясняет не только определенными чертами характера Рудина, но и его отрывом от национальной «почвы».

«Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись ⟨. . .⟩ вне народности ни художества, ни истины, ни жизни, ничего нет», — говорит Лежнев и многозначительно добавляет: «Но, опять-таки скажу, это не вина Рудина: это его судьба, судьба горькая и тяжелая, за которую мы-то уж винить его не станем. Нас бы очень далеко повело, если бы мы хотели разобрать, отчего у нас являются Рудины» (*Т*, VI, 349). В последних словах содержится намек на объективные причины трагедии Рудиных: в условиях самодержавно-крепостнической России представители передовой дворянской интеллигенции были обречены на бездействие.

Прогрессивное общественное значение Рудиных Лежнев видит в их просветительской деятельности, в пропаганде лучших, передовых идей своего времени, неустанной вере в добро, истину, справедливость. «Он не сделает сам ничего, — характеризует Лежнев Рудина, — . . .но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы? что его слова не заронили много новых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему, в силе деятельности, в умении исполнять собственные замыслы?» (там же, с. 348).

Наиболее красноречивое оправдание Рудиных дано в эпилоге романа. «Бесприютное скитальчество» Рудина трагически завершается героической, но практически бесполезной («донкихотской») смертью на парижской баррикаде, когда участники восстания уже покинули ее.[16] «Скитальчество» Рудина не только получает историческое объяснение и оправдание, но и признается необходимым условием общественного прогресса и как бы становится символом неустанного духовного горения и бескомпромиссного служения высокой идее, истине, добру. Гамлет-Рудин сближается со Странствующим рыцарем Дон Кихотом, тоже бедняком и «бесприютным скитальцем», бескорыстным защитником всех обиженных и притесненных. «А все-таки без этих смешных Дон-Кихотов, без этих чудаков-изобретателей не подвигалось бы вперед человечество — и не над чем было бы размышлять Гамлетам», — писал Тургенев в статье «Гамлет и Дон-Кихот» (*Т*, VIII, 189).

Подводя итоги своей неудавшейся жизни, Рудин рассказывает Лежневу: «Маялся я много, скитался не одним телом — душою скитался [17] ⟨. . .⟩ Где не бывал я, по каким дорогам не ходил! . .»

(*Т*, VI, 356). «...но доброе слово — тоже дело», — возражает Лежнев. «Ты назвал себя Вечным Жидом... — продолжает Лежнев. — А почему ты знаешь, *может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение*: народная мудрость гласит недаром, что все мы под богом ходим» (там же, с. 365, 367; курсив мой. — *Н. Б.*).

Версилов (в черновых материалах к «Подростку») как бы подхватывает и развивает эту мысль Лежнева. «Как это так случилось, — говорит он Аркадию, — что у нас образовался такой любопытный тип всемирно болеющего человека из дворянства Петра Великого? И зачем говорить, что *он ни к чему не способен, кроме странствий? Да разве всемирное боленье-то не великое дело?*» (*Д*, XVI, 417; курсив мой. — *Н. Б.*).

«Скитальчество» (без практического дела) осмысляется Версиловым как служение великой идее, а потому приравнивается к общеполезной деятельности. Носителем «высшей идеи», представляющей собой «всесоединение идей и разрешение европейских противоречий», «русский скиталец» является потому, что в силу исторических преобразований Петра он обрел в Европе вторую родину, которая ему почти так же дорога, как Россия (этот комплекс идей получил нравственно-философское обоснование в «Дневнике писателя» за 1876—1877 гг., Речи о Пушкине и «Братьях Карамазовых»).

Русский человек, говорит Версилов, наиболее русский «именно лишь тогда, когда он наиболее европеец». «Тем самым я — настоящий русский и наиболее служу для России, ибо выставляю ее главную мысль. Я — пионер этой мысли. Я тогда эмигрировал, но разве я покинул Россию? Нет, я продолжал ей служить. Пусть бы я и ничего не сделал в Европе, пусть я ехал только скитаться (да я и знал, что еду только скитаться), но довольно и того, что я ехал с моею мыслью и с моим сознанием. Я повез туда мою русскую тоску» (*Д*, XIII, 377).

«Русская высшая мысль», пионером которой сознательно выступает Версилов от имени «тысячи» представителей русского «культурного слоя», т. е. дворянства, бессознательно живет в многомиллионном русском народе.

«Знают о ней (идее всеобщего единения.— *Н. Б.*) в России — мы, тысяча человек — сознательно, — говорит Версилов, — а очень многие пока лишь страстной и сильной грезой, даже инстинктом. Даже в черном народе, в Макаре, это можно легко приметить: есть какой-то иск, какая-то греза об общечеловеческом примирении. Знали — и пока лучшего, высшего ничего никто и не предположит. У нас на этот счет как нигде, — заметь, например, национальную особенность нашу» (*Д*, XVII, 149).[18]

Версилов, лишенный внутренней цельности и нравственного «благообразия», присущих народному страннику Макару Ивановичу, тем не менее способен, подобно Рудину, заронить доброе семя в молодую душу. Идеи «всеобщего единения», «мировой

гармонии», «всемирного боления за всех» при всей их отвлеченности, возможно, сыграют свою роль в окончательном формировании Подростка. Не случайно эти идеи, духовно связующие старое и молодое поколения (а их неосознанно разделяет также народ в лице Макара Ивановича), произвели сильное впечатление на Аркадия.

«Но клянусь, что европейскую тоску его я ставлю вне сомнения и не только на ряду, но и несравненно выше какой-нибудь современной практической деятельности, — говорит Аркадий ⟨. . .⟩ — Любовь его к человечеству я признаю за самое искреннее и глубокое чувство без всяких фокусов. . .» (*Д*, XIII, 380).

Из перечисленных в Речи о Пушкине литературных героев — «русских скитальцев», начиная с Онегина (к «лишним людям» генетически и типологически восходит также Версилов), тургеневский Рудин особенно ярко воплощает идею «всемирного боления за всех», к нему более других приложима характеристика «всечеловек». «Бесприютный скиталец» Рудин, казалось бы, ни к чему не способный, кроме странствий, предстает в художественном сознании Достоевского как носитель великой национальной идеи всечеловеческого единения и братства, за которую он и отдает свою жизнь.

«Да ведь именно потому-то он (Рудин. — *Н. Б.*) и русский в высшей степени, — полемизирует Достоевский с публицистом А. Д. Градовским, — что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не столь посторонним, как было бы англичанину или немцу, ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое — давно уже не постороннее русскому человеку. Ведь это отличительная черта Рудина. Трагедия Рудина была, собственно, в том, что он на своей ниве работы не нашел и умер на другой ниве, но вовсе не столь чуждой ему, как вы утверждаете» (*Д*, XXVI, 155).

Изменившееся отношение Достоевского к Рудину симптоматично: оно отражает колебания русской общественности в оценке «лишних людей». Крайние точки в отношении Достоевского к «людям 40-х годов» — «Записки из подполья» и «Бесы», с одной стороны (наиболее отрицательное), «Подросток» и Речь о Пушкине — с другой (сочувственное).

В 1874 г. Достоевскому могла напомнить о Рудине статья Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки», сыгравшая определенную роль в творческой истории «Подростка».[19]

Полемика вокруг образа Рудина, продолжавшаяся более двух десятилетий, далеко выходила за рамки литературных споров: речь шла о значении идейного наследия «отцов», поколения 30—40-х годов, так называемых «лишних людей».

Характерно, что Н. К. Михайловский, сам принадлежавший к поколению «детей», в середине 1870-х годов «реабилитировал» Рудина, сурово осужденного в свое время Чернышевским и Добролюбовым. «У нас привыкли третировать Рудина свысока, — писал

Михайловский. — Он для нас фразер, болтун, тряпка, сплетник, неисправный плательщик долгов ⟨. . .⟩ Однако изо всех обвинений, которыми осыпан Рудин, важно, собственно говоря, только одно: *Что в разговорах он время проводит.*

Но разве рудинские разговоры, зажигающие сердца и будящие мысль, не дело? Я больше спрошу: много ли найдется больших, выдающихся русских людей, которым выпало на долю что-нибудь, кроме разговоров? Русский человек, вообще говоря, в среднем выводе, гораздо шире европейца. Не приспособившись окончательно к той или другой частной колее, он способен к очень широкому размаху. Но зато и требования он ставит своим лучшим людям безумно широкие. Что делал всю жизнь какой-нибудь Прудон? „Разговаривал", бил набат, будил совесть, будил мысль — больше ничего ⟨. . .⟩ Но Европа его все-таки никогда не забудет. А мы оплевали своего Рудина за то, что он непрактичен и только разговаривает! ⟨. . .⟩ Что Рудин был не бездушный фразер, этого и доказывать нечего, это доказала его смерть. Несмотря на несколько эпилогов, которыми г-н Тургенев окончил „Рудина", конца этой повести все-таки нет. Г-н Некрасов, по крайней мере, своими словами доказал этот конец в виде утверждения: „сеет он все-таки доброе семя, а остальное все сделает время".[20] Это-то „остальное" и составляет всю суть, которую г-н Тургенев мог бы проследить и в жизни Натальи, и в жизни других людей, в разное время разбуженных Рудиным. Тогда бы стало совершенно ясно, что слово этого человека, слабого, но искреннего, грешного, но способного вдохновляться великими идеями и вдохновлять ими других, — было весьма осязательным делом ⟨. . .⟩ Рудин есть первый общественный деятель между героями литературы».[21]

Таким образом, Михайловский признал общественно полезной просветительскую деятельность Рудиных, ибо «доброе слово — тоже дело» (*Т*, VI, 365).

Споры о значении Рудиных Михайловский справедливо связал с проблемой поколений, получившей особую актуальность в 1860-е годы. «Дети», т. е. «шестидесятники», осудили «отцов» — «лишних людей» за их пристрастие к слову и неспособность к конкретной деятельности, а Рудины (Рудин в представлении Михайловского — «типичнейшая из фигур сороковых годов») «более или менее жестко третируют людей шестидесятых годов, идущих ведь отчасти по их стопам, по крайней мере, в генеалогическом смысле, людей, может быть, даже именно ими, Рудиными, вдохновленных».[22] Михайловский, признавший идейную преемственность между поколениями 40-х и 60-х годов, сближается в оценке Рудина с «отцами» — Тургеневым и Герценом.

### 3

В 1870-е годы, характеризуя представителей русского «культурного слоя», Достоевский нередко прибегал к таким понятиям, как «общечеловек», «gentilhomme russe et citoyen du monde» [23] и

«всечеловек». Изменявшееся содержание этих понятий отражало в значительной степени эволюцию в отношении Достоевского к либерально-демократической и революционной русской интеллигенции.

Расшифровка упомянутых выше формул Достоевского представляет, как мы думаем, известный интерес для интерпретации «скитальца» и «скитальчества» в Речи о Пушкине, где понятия «общечеловек», «всечеловек» и «скиталец» — синонимы.

Формулы «общечеловек» и «gentilhomme russe et citoyen du monde» Достоевский использовал первоначально в ироническом смысле и вкладывал в них негативное содержание. Писатель несомненно намеренно употреблял вместо русского слова «дворянин» французское «gentilhomme», чтобы подчеркнуть «космополитизм» русского дворянства, его отрыв от национальной «почвы».

Как уже отмечалось выше, под «общечеловеком», т. е. отвлеченным, абстрактным человеком, Достоевский обычно подразумевал дворянина, либерального западника, утратившего вследствие увлечения европеизмом кровные связи с национальной «почвой» и народными верованиями.

Формула «gentilhomme russe et citoyen du monde», впервые употребленная Достоевским в «Бесах» (такими словами Кириллов собирался подписать свое предсмертное письмо), получила подробное раскрытие в «Дневнике писателя» за 1873 г. (глава «Старые люди»). Характеризуя Герцена, Достоевский пишет, что «всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был gentilhomme russe et citoyen du monde, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно чрез разрыв с родной землей и ее идеалами» (*Д*, XXI, 9). Из приведенного текста очевидно, что понятие «gentilhomme russe et citoyen du monde» имеет иронический подтекст и по существу является в устах Достоевского синонимом «общечеловека».[24]

Аналогичным образом Достоевский характеризует во вступительном слове к Пушкинской речи «отрицательный тип наш», к которому относит основную часть европейски образованной русской интеллигенции (независимо от сословной принадлежности). Однако теперь отношение к этой интеллигенции становится более сочувственным. Трагически оторванная от родной «почвы» и «народной правды», она является также в представлении писателя носительницей характерной русской национальной черты — «всечеловечности», присущей всему русскому народу. «Скитальчество» русской интеллигенции в «родной земле» и по Европе, расцениваемое ранее писателем как бесцельное шатание и неумение найти полезное дело на «родной ниве», теперь приобретает поэтический ореол, получает историческое объяснение и оправдание как служение (пусть только теоритическое, пропагандистское) великой русской национальной идее всечеловеческого единения и разрешения европейских противоречий. «Всечеловек», как отме-

чалось выше, предстает как высший национальный тип, соединяющий в себе лучшие черты русской и европейских наций.

Отметим, что емкая формула «citoyen du monde» («гражданин мира») содержит в себе все основания для характеристики как «общечеловека», лишенного национального лица, так и «всечеловека», наделенного чертой «всемирного боления» и тоской по «мировой гармонии». Достоевский искусно использует эту двуплановость понятия.

Характерно, что резкое разграничение понятий «общечеловек» и «всечеловек» в Пушкинской речи исчезает: уже в публицистике Достоевского второй половины 70-х годов оба понятия сближаются, становятся синонимами.[25] Произошло это, вероятно, не без влияния идей властителя дум молодого поколения — Н. К. Михайловского, вступившего с Достоевским в полемику по поводу романа «Бесы» и трактовки «citoyen'ов» и «citoyen'ства» в «Дневнике писателя» за 1873 г. (главы «Старые люди» и «Влас»).[26] Это был спор о русской передовой интеллигенции и ее отношении к народу, сыгравший известную роль в формировании концепции «скитальчества» в Речи о Пушкине.

На Достоевского сильное впечатление произвели, в частности, суждения критика об атеизме, социализме и «народной правде». Достоевский откликнулся на статьи Михайловского в «Двух заметках редактора», где отнес критика к числу «самых искренних публицистов, какие только могут быть в Петербурге» (*Д*, XXI, 156). Достоевский собирался написать специальную статью, чтобы высказаться об актуальных русских проблемах, затронутых Михайловским. Частично он осуществил этот замысел в статье «Одна из современных фальшей», завершающей «Дневник писателя» за 1873 г. Главный адресат статьи — Н. К. Михайловский, хотя он и не назван.[27]

Михайловский полемизирует с иронической оценкой, данной Достоевским в «Дневнике писателя» за 1873 г. (глава «Старые люди») citoyens du monde civilisé, т. е. представителям русской интеллигенции, воспитанным на передовых европейских идеалах. Приняв употребляемые Достоевским термины «citoyen du monde» и «общечеловек» и причислив самого себя и Достоевского к их числу, Михайловский наполняет эти понятия иным, полемичным по отношению к Достоевскому содержанием.[28] Речь идет о различных концепциях интеллигенции и народа — почвеннической и народнической.

Михайловский оспаривает мнение Достоевского, будто бы русские citoyen'ы, увлеченные европейскими (общечеловеческими) идеалами, утратили связь с родной «почвой» и «народной правдой», потеряли различие добра и зла, неспособны, подобно некрасовскому Власу, к нравственному подвигу. Русские citoyen'ы, возражает Михайловский, бывают разные, а «народная правда» разнородна по своему составу. В ней содержатся, наряду с положительными, светлыми, также отрицательные, темные начала (невежество, предрассудки и т. д.), обусловленные определенными

историческими обстоятельствами развития русского народа. Подобного же взгляда на «народную правду» придерживались, как известно, Белинский и Тургенев.

Перед citoyen'ами, «нюхнувшими правды общечеловеческой, ввиду стихийности и разнородного состава правды народной», открываются два пути. Или «они выбирают из народной правды то, что соответствует их общечеловеческим идеалам, тщательно оберегают это подходящее и при помощи его стараются изгнать неподходящее; или же навязывают народу свои общечеловеческие идеалы и стараются не видеть неподходящего». Достоевский, как считает критик, избирает второй, более легкий путь: «. . .он знает, что, что бы с народом ни случилось, он в конце концов спасет себя и нас».[29] «Легко тоже жить с мыслью, что мой народ любит страдать», — иронизирует Михайловский. Обе эти идеи Достоевского, по мнению критика, чисто citoyen'ские, т. е. интеллигентские, и чужды народу. С подобными идеями интеллигенции «легко жить, но трудно действовать».

К числу citoyen'ов, придерживающихся критического отношения к «народной правде», Михайловский относит либерально-демократическую и особенно народническую интеллигенцию, хотя прямо и не называет ее. Михайловский рисует иную, полемичную по отношению к Достоевскому, картину эволюции citoyen'ства. Петровские преобразования, приобщившие русскую интеллигенцию к передовым общеевропейским идеалам, не разобщили ее с народом, а, напротив, явились толчком к их сближению, так как представители «культурного слоя» осознали «первородный грех» цивилизации, основанной на угнетении народа.

Михайловский рисует трагический образ citoyen'а-народника, страдающего от сознания своего неоплатного исторического долга перед народом и мучительно ищущего пути, чтобы погасить этот долг.

«Мы — я говорю „мы", потому что вменяю себе в честь состоять в ряду этих citoyen'ов, — заявляет Михайловский, — мы поняли, что сознание общечеловеческой правды и общечеловеческих идеалов далось нам только благодаря вековым страданиям народа ⟨. . .⟩ мы пришли к мысли, что мы должники народа. Может быть, такого параграфа и нет в народной правде ⟨...⟩ но мы его ставим во главу угла нашей жизни и деятельности, хоть, может быть, не всегда вполне сознательно. Мы можем спорить о размерах долга, о способах его погашения, но долг лежит на нашей совести, и мы его отдать желаем ⟨. . .⟩. Ухватившись за печальное, ошибочное и преступное исключение — нечаевское дело, он (Достоевский. — *Н. Б.*) просмотрел общий характер citoyen'ства, характер, достойный его кисти по своим глубоко трагическим моментам. Да, он достоин его кисти даже больше, чем рассказ о дерзостном мужике.[30] Тот сам согрешил, активно. Citoyen'ы же подобны тем героям легенд, которые, *не зная*, совершили блуд с матерью, сестрой и кумой, и за это несут тяжелую кару. Это несравненно глубже, трагичнее. Искупление

невольного греха при помощи средств, добытых грехом (т. е. при помощи достижений цивилизации — науки, просвещения, культуры и т. д. — *Н. Б.*) — вот задача citoyen'ов, я не говорю, конечно, всех».[31]

Трагический образ молодого интеллигента из «кающихся дворян», нарисованный Михайловским, воплощающий в себе характернейшие черты народнической этики, вступал в явное противоречие с представлением Достоевского о русском образованном citoyen'е, порвавшем кровные связи с народом и вследствие этого потерявшем способность различать добро и зло. Citoyen — «кающийся дворянин» или разночинец-народник с его жертвенною любовью к обездоленному «меньшому брату», обостренным чувством исторической вины перед народом и жаждой искупить эту вину вырастал в характерный национальный тип (как его понимал Достоевский), несущий в себе лучшие элементы «народной правды», и существенными чертами сближался с некрасовским Власом, символизирующим для Достоевского русский народ с его чуткой, встревоженной совестью, правдоискательством, способностью к нравственному подвигу.[32]

Тем самым трагическое «скитальчество» русской интеллигенции, в том числе народнической, в поисках правды и «мировой гармонии» неожиданно сближалось с странничеством народных правдоискателей Власов, которых так чтил Достоевский, и вырастало в своеобразное национальное явление.

## 4

В Пушкинских речах Тургенева и Достоевского занимают значительное место актуальные проблемы современной русской и европейской жизни — предмет давнего спора писателей.

Основное значение своей Речи Достоевский усмотрел в том, что в ней был сделан окончательный шаг к примирению славянофилов и западников. Достоевский и славянофилы признали «всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже самых крайних увлечений и выводов их и объяснили эту законность чисто русским народным стремлением нашим, совпадаемым с самим духом народным. Увлечения же оправдали — историческою необходимостью, историческим фатумом. . .» (*Д*, XXVI, 133). Под «самыми крайними увлечениями и выводами» Достоевский несомненно подразумевал революционные и социалистические идеи, так как относил социалистов и революционеров к числу «крайних западников». Тем самым (и это знаменательно для автора «Бесов») революционеры также были признаны им носителями национальной идеи «общечеловеческого единения». В итоге «западники ровно столько же послужили русской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые искренно любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали ее доселе от всех увлечений „русских иноземцев"» (там же).

Достоевский, провозгласивший необходимость примирения между западниками и славянофилами на предложенных им условиях, с самого начала предвидел возможные возражения со стороны западников, о чем и заявил в «Объяснительном слове» по поводу Речи.[33] И эти возражения действительно вскоре последовали.

Полемика Достоевского с А. Д. Градовским и К. Д. Кавелиным наглядно показала, что основные разногласия между западниками и славянофилами по актуальным проблемам современной жизни России и Европы остались в силе и Достоевскому, близкому по своим взглядам к славянофилам, не удалось примирить обе партии.

Суммируем кратко основные моменты разногласий между западниками и славянофилами, определившиеся в этой полемике. Выявились различные концепции интеллигенции и народа у обеих партий и примыкавших к ним Тургенева и Достоевского. Спор Достоевского с А. Д. Градовским и К. Д. Кавелиным о «русских скитальцах» — «лишних людях», причинах их появления, трагического «скитальчества» и бездействия на «родной ниве» не был отвлеченным литературным спором, а носил злободневный характер. Это был спор о русской либерально-демократической интеллигенции, воспитанной на передовых европейских идеях, о ее роли в русском общественном прогрессе, отношении к народу. В пылу полемики Достоевский вступил в явное противоречие с собственными суждениями о «скитальцах» в Пушкинской речи, где он поставил их на большую нравственную высоту, признал носителями русской национальной идеи «всечеловечности», объяснил причины их трагического бездействия и отрыва от народа объективными факторами. Теперь же он охарактеризовал «скитальцев» как «отщепенцев» от родной земли, праздных белоручек, возвысившихся над народом в гордости своего европеизма. В полемике Достоевского с Градовским о «скитальцах» можно усмотреть отголосок споров конца 50-х—начала 60-х годов о «лишних людях» и значении идейного наследия русской интеллигенции 30—40-х годов.[34]

Иной у Достоевского и западников оказалась концепция народа и «народной правды». Решительное несогласие западников встретил тезис Достоевского о необходимости принятия интеллигенцией «народной правды» как основного условия сближения между сословиями, а также обновления ею нравственно больной Европы. «Народной правде», неоднородной и противоречивой по своему характеру, западники противопоставляли общечеловеческую правду. Задача интеллигенции — воспитывать и просвещать народ в духе общечеловеческой правды, отождествляемой западниками с передовыми европейскими идеалами.

Не отрицая роли личной и общественной нравственности в деле переустройства России (программа Достоевского), западники (и Тургенев) связывали путь русского прогресса прежде всего с улучшением объективных условий существования человека, последовательной европеизацией и демократизацией России

во всех областях экономической, государственной, политической и культурной жизни. По поводу лозунга Достоевского «Смирись!», обращенного к русской интеллигенции, А. Д. Градовский, в частности, писал: «Правильнее было бы сказать современным „скитальцам“ и народу одинаково: смиритесь пред требованиями той общечеловеческой гражданственности, к которой вы, слава богу, приобщились, благодаря реформам Петра. Впитайте в себя все, что произвели лучшего народы, учители ваши. Тогда, переработав в себе всю эту умственную и нравственную пищу, вы сумеете проявить и всю силу вашего *национального* гения, внести и свою долю в сокровищницу всечеловеческого ⟨. . .⟩ каждая народность в свое время проходила через школу всечеловеческого, как прошли ее народы Европы в эпоху средних веков и возрождения».[35]

Тургенев, как и другие слушатели Достоевского, находился некоторое время под обаянием его вдохновенной Речи. Об этом упоминает Достоевский в письмах: «Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо: „Вы гений, вы более чем гений!“ — говорили они мне оба». По свидетельству Достоевского, высказанная им мысль о всемирном единении людей вызвала бурю восторга в зале (письмо к А. Г. Достоевской от 8 июня 1880 г. — *Д, Письма*, IV, 171). «Все плакали, даже немножко Тургенев. Тургенев и Анненков ⟨. . .⟩ кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая. „Не потому, что вы похвалили мою Лизу, говорю это“, — сказал мне Тургенев» (письмо к С. А. Толстой от 13 июня 1880 г. — там же, с. 175).

17 августа 1880 г. И. С. Аксаков писал О. Ф. Миллеру о реакции Анненкова и Тургенева на Речь Достоевского: «Скажу, впрочем, что оба они, особенно Тургенев был отчасти (и даже не отчасти, а на две трети) подкуплены упоминанием о *Лизе* Тургенева: Ив. Сергеевич вовсе этого от Достоевского не ожидал, покраснел и просиял удовольствием. Такое сопоставление создания Пушкина, препрославленного в данную минуту, сопоставление публичное, торжественное, с его собственным творением, — не могло, разумеется, не быть приятно Тургеневу. Некоторые тогда же подумали, что со стороны Достоевского это было своего рода captatio benevolentiae.[36] Это несправедливо. Ровно дней за двенадцать ⟨. . .⟩ Достоевский в разговоре со мною о Пушкине повторил почти то же, что потом было прочтено им в „Речи“, и также упомянул о Лизе Тургенева, прибавив, впрочем, при этом, что после этого Тургенев ничего лучшего не написал. . .».[37]

Воздушный поцелуй, посланный, по свидетельству некоторых современников, Тургеневым Достоевскому под непосредственным впечатлением от его Речи, — красноречивый ответ Тургенева своему давнему оппоненту, кульминационная точка их диалога, момент наивысшей духовной близости обоих писателей, примиренных Пушкиным. Можно предположить, что Тургенев был глубоко взволнован не только упоминанием Лизы рядом с Татьяной Лари-

ной, но и идеей всемирного единения людей, равно дорогой, по признанию Достоевского, как славянофилам, так и западникам.

Однако, хотя поцелуй, несомненно, «горел» некоторое время «на сердце» Достоевского, оба писателя остались «в прежней идее» — в своих представлениях о путях достижения этого единения, что дало себя знать вскоре после праздника. Идейный спор продолжался.

Тургенев, оценивший литературные достоинства Речи и ее гуманистический пафос, в целом, однако, отнесся к ней отрицательно, признав ложными основополагающие идеи Достоевского. Он намеревался посвятить Пушкинской речи Достоевского полемическую статью,[38] но отказался от этого намерения. Развернутая оценка Пушкинской речи Достоевского содержится в письме Тургенева М. М. Стасюлевичу от 13 (25) июня 1880 г., набросанном под непосредственным впечатлением от Пушкинских торжеств.

«Не знаю, кто у вас в „В⟨естнике⟩ Е⟨вропы⟩" будет писать о Пушкинских праздниках, — сообщает Тургенев Стасюлевичу, — но не мешало бы заметить ему следующее: и в речи Ив. Аксакова, и во всех газетах сказано, что лично я совершенно покорился речи Достоевского и вполне ее одобряю. Но это не так — и я еще не закричал: „Ты победил, Галилеянин!". Эта очень умная, блестящая и хитроискусная, при всей страстности, речь всецело покоится на фальши, но фальши крайне приятной для русского самолюбия. Алеко Пушкина чисто байроновская фигура — а вовсе не тип современного русского скитальца; характеристика Татьяны очень тонка — но ужели же одни *русские* жены пребывают верны своим старым мужьям? А главное: „Мы скажем последние слова Европе, мы ее ей же подарим — потому что Пушкин гениально воссоздал Шекспира, Гете и др."? Но ведь он их *воссоздал*, а *не создал* — и мы точно так же не создадим новую Европу — как он не создал Шекспира и др. И к чему этот *всечеловек*, которому так неистово хлопала публика? Да быть им и вовсе не желательно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным всечеловеком.[39] Опять все та же гордыня под личиною смирения ⟨...⟩ Но понятно, что публика сомлела от этих комплиментов; да и речь была действительно замечательная по красивости и такту. Мне кажется, нечто в этом роде следует высказать. Г⟨оспо⟩да славянофилы нас еще не проглотили» (*Т, Письма*, XII$_2$, 272).

Как и следовало ожидать, возражения Тургенева касались не столько литературы, сколько совокупности современных общественных и культурных русских проблем. Основной пафос Пушкинской речи — всечеловеческое назначение России, призванной сказать Европе новое, всепримиряющее слово, — был чужд Тургеневу, убежденному в необходимости для России творческого заимствования лучших достижений европейской цивилизации.

Письмом к Стасюлевичу Тургенев, очевидно, преследовал цель подсказать «Вестнику Европы» главные возражения западников Достоевскому.

В июльском выпуске «Вестника Европы» за 1880 г. появилась анонимная статья «С Пушкинского праздника», несомненно во многом навеянная приведенным выше письмом Тургенева.[40] В ней получили развитие некоторые тургеневские идеи, причем в ряде случаев возражения и аргументы писателя были использованы почти дословно. «Всечеловечность», пишет автор «Вестника Европы», может быть только «результатом всей полноты национального развития», а об ней не может быть и речи при современном общественно-политическом, гражданском и культурном состоянии русского народа.

«„Врачу, исцелися сам", — могут сказать нам, и с полным правом, в ответ на наши самонадеянные порывы исцелять Европу и человечество. „Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом", — воскликнул в минуту встречи с нашей владычествующей действительностью сам Пушкин, который не был вообще фантазером. Трудно было бы г-ну Достоевскому комментировать это восклицание поэта, по-видимому, не разделявшего его мнения об удобстве быть „всечеловеком". Но дело в том, что речь г. Достоевского была построена на фальши ⟨...⟩ крайне приятной только для раздражаемого самолюбия. И к чему, в самом деле, явился этот „всечеловек"? Да быть им даже не особенно лестно: лучше быть оригинальным русским человеком, чем этим безличным „всечеловеком". Опять все та же гордыня под личиною смирения».[41] Автор статьи считает практически вредными «эти толки о наших фантастических совершенствах», «когда действительность ежечасно напоминает о гораздо более скромных, весьма существенных, но далеко не удовлетворенных потребностях русской жизни, и национальной, и внутренней — общественной». Особенно же вредны чрезмерные упования на народ — «народ, без сомнения богато одаренный, сохраняющий много прекрасных нравственных свойств патриархального быта, но народ, лишенный образования, экономически — нуждающийся, религиозно — разделенный расколом, общественно — слабо представленный ⟨. . .⟩ Действительно, наш народ — сфинкс, до тех пор, пока луч просвещения не осветит его дремлющее сознание и успехи общественности не дадут ему полного права гражданственности».[42]

Об общественно-политической позиции Тургенева периода Пушкинских торжеств и об отношении к нему русской либерально-демократической и радикальной интеллигенции наглядное представление дают речи писателя, связанные с его чествованиями в России в феврале—марте 1879 г.

Бурные овации, которыми был встречен приехавший на родину Тургенев, не были подготовлены заранее и явились неожиданными как для самого писателя, так и для чествовавшей его русской общественности. Они получили широкий отклик в печати. Авторы статей и корреспонденций о чествованиях стремились подчеркнуть общественно-литературное значение оказанного Тургеневу приема.[43]

Приезд Тургенева на родину был использован либерально-демократической интеллигенцией для антиправительственных манифестаций. Прославленный писатель представлялся многим либералам, недовольным политикой русского самодержавия и напуганным размахом революционного движения, наиболее авторитетной фигурой, способной примирить, объединить и возглавить различные общественно-политические группировки, жаждущие либерально-демократических преобразований в России.

П. Л. Лавров в статье «И. С. Тургенев и развитие русского общества» (1883) вспоминал, что «приезд Ивана Сергеевича в Россию сделался поводом к либеральным демонстрациям, но эти демонстрации ⟨. . .⟩ устроились тем скорее и успех их был тем значительнее, что дело шло о писателе, действительно любимом всеми группами русской интеллигенции. Не только либералы более взрослого поколения видели в нем наиболее честное и чистое воплощение своих стремлений, но и радикальная молодежь разглядела в Иване Сергеевиче подготовителя ее борьбы, воспитателя русского общества в тех гуманных идеях, которые, *надлежащим* образом понятые, *должны* были фатально привести к революционной оппозиции русскому императорскому самодурству».[44] Таков был смысл чествований, оказанных Тургеневу, в интерпретации революционного народника Лаврова. В либерально-демократической историографии восторженный прием, оказанный Тургеневу русской интеллигенцией, был истолкован как примирение молодого поколения с «людьми 40-х годов», виднейшим представителем которых являлся Тургенев.

Мотивы «примирения» молодого поколения со старшим, признания «детьми» исторических заслуг своих «отцов», «поколения 40-х годов», и продолжения начатого ими дела служения общественному прогрессу России и русскому народу явственно звучат в речах и выступлениях Тургенева весной 1879 г.

Характеризуя свои убеждения «либерала» и «человека 40-х годов», оставшиеся неизменными, Тургенев разъясняет, что понятие «либерал», опошлившееся в последнее время, в его молодые годы «означало протест против всего темного и притеснительного, означало уважение к науке и образованию, любовь к поэзии и художеству и наконец — пуще всего — означало любовь к народу, который, находясь еще под гнетом крепостного бесправия, нуждался в деятельной помощи своих счастливых сынов» (*Т*, XV, 58).

«Просветительство» Тургенева в данном случае очевидно.[45]

В период создания романа «Отцы и дети» Тургенев, по его собственному признанию, «мог только указать на рознь, господствовавшую тогда между поколениями; тогда еще не было почвы, на которой они могли сойтись. Эта почва теперь существует — если еще не в действительности, то уже в возможности. . .» (там же, с. 61).

Не назвав прямо цель, связующую старшее и молодое поколения, Тургенев, однако, имел в виду дело последовательной евро-

пеизации и демократизации России, начатое еще «отцами», дальнейшее развитие отечественной науки, просвещения, искусства. Но «пуще всего» он завещает «детям» любовь к русскому народу, освобожденному от крепостной зависимости, но все еще забитому, невежественному, бесправному, а потому нуждающемуся в помощи молодой интеллигенции. Предостерегая молодежь от крайних увлечений и намекая правительству на необходимость либерально-демократических преобразований в стране, писатель рисует картину мирного, «деятельного, единодушного служения России» «всех сыновей нашей великой семьи» — «той России, какою ее создала история, создало то прошедшее, к которому должно правильно и мирно примкнуть будущее» (там же).

По существу та же программа медленной, трудоемкой работы интеллигенции по переустройству России в духе передовых идеалов западной цивилизации была кратко изложена Тургеневым в его Речи о Пушкине. По мысли Тургенева, переходные периоды в жизни народов (а такой период переживает русский народ) часто сопряжены с мучительными кризисами, противоречиями, неизбежными болезнями роста. «А Россия растет, не падает» (там же, с. 74). В такое время «дело мыслящего человека, истинного гражданина своей родины — идти вперед, несмотря на трудность и даже грязь пути, но идти, не теряя ни на миг из виду тех основных идеалов, на которых построен весь быт общества, которого он состоит живым членом» (там же).

П. Л. Лавров, процитировавший этот текст из Пушкинской речи Тургенева, интерпретировал его в народническом духе. «Под этими словами, — заявил Лавров, — мог подписаться любой русский революционер, и они несравненно ближе подходили к задаче русской революционной партии, чем действительный смысл широковещательных слов Достоевского о „всечеловеке“, но они потерялись для слушателей в общем сдержанном тоне речи, не гармонировавшем с раздраженными нервами русского общества».[46]

Лавров отметил также актуальность и злободневность проблем, затронутых Достоевским в его Речи о Пушкине, и ярко показал ее своеобразное восприятие народнической молодежью, по-своему истолковавшей образы «всечеловека», «русского скитальца» и проблему взаимоотношения интеллигенции с народом. Так, например, мысль Достоевского о том, что «стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только . . . стать братом всех людей, всечеловеком», для революционной народнической молодежи означала «солидарность в борьбе за право на лучшую будущность для всех обездоленных братьев против их эксплуататоров всех наций». Смирение интеллигенции перед народом, о необходимости которого говорил Достоевский, народническая молодежь воспринимала в тургеневском смысле: не гнушаться мелкой, скромной, низменной работы в народе.[47] Наконец, образ «русского скитальца в родной земле» ассоциировался у молодежи с народниками, идущими в народ. «Она сама, эта

страстная и самоотверженная молодежь, только что горько испытала, насколько она оторвана от народа; за эту оторванность она заплатила шестью годами бесплодной пропаганды, тысячами жертв братьев, томившихся на каторге, умиравших в одиночном заключении и на виселице. Она только что начала новый, более ожесточенный бой с врагами этого народа, со своими врагами, и все более проникалась сознанием, что ей приходится выполнить делом „Аннибалову клятву", которую в молодости давал Тургенев; задачу, за которую сидел в „Мертвом Доме" прежний сторонник Петрашевского ⟨...⟩ Свою боль скитальчества по русской земле, свое жаркое желание слиться с народом, свою страстную готовность жить и умереть за братьев она вносила в слова оратора, и ее овации ⟨...⟩ относились к ее собственной трагической истории, которую она подкладывала под его туманные фразы».[48]

В Пушкинской речи Достоевского содержится итоговая оценка творчества Тургенева, и оценка высокая. Не получившая в Речи прямого авторского выражения,[49] она, однако, выявляется в контексте высказываний Достоевского о Пушкине, в его попытке определить национальное и историческое значение великого русского поэта.

Тургенева, наряду с Гончаровым, Л. Н. Толстым, Островским, Писемским и некоторыми другими русскими писателями, Достоевский отнес к «плеяде» Пушкина. Это ученики и наследники великого поэта, в новых условиях творчески разрабатывавшие его многообразные идеи, образы, сюжеты, темы и т. д. Так, например, в «Евгении Онегине» Пушкин наметил сюжеты будущих своих романов в «преданиях русского семейства» и тем самым, по мнению Достоевского, подготовил романы Тургенева, Толстого, Гончарова и других современных писателей. «Вся теперешняя *плеяда* ⟨...⟩ *нового* после Пушкина ничего не сказала. Все зачатки ее были в нем, указаны им. ⟨...⟩ Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью, что Пушкин, конечно, признал бы их» (*Д*, XXV, 200).

Тургенева, ученика и последователя Пушкина, Достоевский ценил прежде всего как автора «Записок охотника»,[50] романов «Рудин», «Дворянское гнездо», «Отцы и дети», ряда повестей и рассказов. Сознательный «поворот к народу» русской литературы, начатый, по мысли Достоевского, Пушкиным, Тургенев ознаменовал созданием замечательных крестьянских образов в «Записках охотника», типов «положительной красоты» из «образованного сословия», близких к «народной правде» (Лаврецкий, Лиза Калитина), образов «русских скитальцев», гордых мечтателей-максималистов, трагически оторванных от народа. Этих героев, следуя традиции Пушкина, Тургенев также «великим судом судил».

После Пушкинских праздников по существу оборвался многолетний диалог Достоевского и Тургенева, диалог, так и не получивший завершения и оставшийся открытым. В начале 1880-х го-

дов закончился не только творческий, но и жизненный путь обоих писателей.

Длительный творческий диалог великих писателей был плодотворным и содержательным, как мы стремились это показать. Очевидно, его нужно рассматривать в общем контексте идейно-философских и художественных исканий передовой русской литературы XIX в., обращавшейся к актуальнейшим современным проблемам, типам, конфликтам, стремившейся разрешить сложные противоречия своего времени.

Так, например, спор Достоевского с автором «Дыма» и «Нови» на страницах «Дневника писателя» о путях развития России, ее отношении к Западу, о русской интеллигенции и народе — одна из интереснейших страниц идейно-философской полемики, проходящей через всю русскую литературу. Он вызывает в памяти диспут Тургенева в 1860-х годах с другим умнейшим оппонентом — Герценом по тем же вопросам (и также связанный с «Дымом»).

Для нас, живущих в иной исторической эпохе и в новой России, имеющих возможность объективно осмыслить личные и творческие взаимоотношения двух великих писателей, несомненно одно: в основе идейных разногласий Достоевского и Тургенева, нередко принимавших острые формы, лежала общая, поглощавшая все их помыслы любовь к России, к русскому народу, мечты о величии, славе и процветании своей родины, стремление по мере сил и возможности лично содействовать этому.

Невольно припоминаются проникновенные строки Герцена о славянофилах: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не *одинакая*.

У них и у нас запало с ранних лет одно сильное, безотчетное, физиологическое, страстное чувство 〈. . .〉 чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу 〈. . .〉 И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как *сердце билось одно*» (*Герцен*, XV, 9—10).

[1] Обширная литература о Пушкинском празднике и Речи Достоевского перечислена в комментариях Г. М. Фридлендера, Е. И. Кийко, Г. В. Степановой и других в академическом издании Достоевского (см.: *Д*, XXVI, 441—507). Об откликах современников на Речь Достоевского см.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. М., 1964, т. 2; Лит. наследство. М., 1973, т. 86, с. 500—524. — О Пушкинской речи Тургенева см.: Т, XV, 322—329 (комментарий Н. В. Измайлова); И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. М., 1969, т. 2.

[2] *Страхов Н. Н.* Воспоминания о Федоре Михайловиче Достоевском. — В кн.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. Т. 1. Биография, письма и заметки из записной книжки. СПб., 1883, с. 309.

[3] По определению Белинского, «Пушкин был по преимуществу поэт, художник, и больше ничем не мог быть по своей натуре. Он дал нам поэзию, как искусство, как художество» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1955, т. 7, с. 579).

[4] Ср.: «Но можем ли мы по праву назвать Пушкина национальным поэтом в смысле всемирного (эти выражения часто совпадают), как мы называем Шекспира, Гёте, Гомера?» (*Т*, XV, 71).

[5] Белинский, отметивший, что Пушкин «более национально-русский поэт, нежели кто-либо из его предшественников» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., М., 1955, т. 7, с. 336), также уклонился от прямого ответа на этот вопрос. Критик

считал, что Россия — по преимуществу страна будущего и ей рано подводить итоги.

[6] Эти две главные идеи концепции Пушкина у Достоевского, заключающие в себе «прообраз всего будущего назначения и всей будущей цели России. . .» (*Д*, XXV, 199), были сформулированы уже в «Дневнике писателя» за 1877 г. «Первая мысль — *всемирность* России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира». Вторая мысль — «это поворот его (Пушкина. — *Н. Б.*) к народу и упование единственно на силу его ⟨. . .⟩ С него только начался у нас настоящий сознательный поворот к народу, немыслимый еще до него с самой реформы Петра» (там же, с. 199—200).

[7] *Успенский Г. И.* Праздник Пушкина: (Письма из Москвы, июнь 1880). — В кн.: *Успенский Г. И.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1953, т. 6, с. 419—422.

[8] Ср. у Достоевского: «Начиная с величавой, огромной фигуры летописца в „Борисе Годунове“, до изображения спутников Пугачева — все это у Пушкина — народ в его глубочайших проявлениях, и все это понятно народу, как собственная суть его» (*Д*, XXVI, 116).

[9] По существу на эту же черту Пушкина указал также Гоголь, который писал в статье «В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность» («Выбранные места из переписки с друзьями», 1846): «И как верен его (Пушкина. — *Н. Б.*) отклик, как чутко его ухо! Слышишь запах, цвет земли, времени, народа. В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец, в полном смысле этого слова; с отжившим человеком он дышит стариной времени минувшего; заглянет к мужику в избу — он русской весь с головы до ног. . .» (*Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч. М., 1952, т. 8, с. 384).

[10] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. 7, с. 333.

[11] Там же.

[12] Там же, с. 352. — О влиянии Белинского на идейно-эстетическую концепцию Речи о Пушкине Достоевского см.: *Кирпотин В. Я.* Достоевский и Белинский. 2-е изд., доп. М., 1976, с. 256—272.

[13] Намек на подобное пророчество можно найти и у Белинского, который писал в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года»: «Не любя гаданий и мечтаний и пуще всего боясь произвольных выводов, имеющих только субъективное значение, мы не утверждаем за непреложное, что русскому народу предназначено выразить в своей национальности наиболее богатое и многостороннее содержание и что в этом заключается причина его удивительной способности воспринимать и усваивать себе всё чуждое ему; но смеем думать, что подобная мысль, как предположение, высказываемое без самохвальства и фанатизма, не лишена основания» (*Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. М., 1956, т. 10, с. 21—22). Однако Белинский в отличие от Достоевского отказался сформулировать ту «новую мысль», которую Россия даст миру: «Да, в нас есть национальная жизнь, мы призваны сказать миру свое слово, свою мысль; но какое это слово, какая мысль — об этом пока еще рано нам хлопотать» (там же, с. 21).

[14] Достоевский, отметив русский национальный тип «скитальца» Онегина, пишет, что Пушкин нашел этот тип «не у Байрона только» (*Д*, XXVI, 137), — следовательно, частично и у Байрона. Среди других героев западной литературы следует вспомнить в первую очередь Дон Кихота, чье практически бесплодное «скитальчество» символизирует бескорыстное служение истине, высокому гуманистическому идеалу, непримиримость со злом и т. д. Тургеневская интерпретация Дон Кихота в его статье «Гамлет и Дон-Кихот» была близка Достоевскому и, возможно, также сыграла определенную роль в формировании его концепции «скитальчества».

[15] Г. М. Фридлендер упоминает наряду с Пушкиным также Герцена («Кто виноват?»), Тургенева («Рудин»), автобиографические очерки А. Григорьева «Мои литературные и нравственные скитальчества» (*Д*, XXVI, 464). Л. М. Лотман отметила определенную связь между проблематикой поэмы Тургенева «Разговор» (1845) и Речью о Пушкине (образ Молодого человека, Скитальца, вечного искателя в поэме Тургенева, формула: «Смирись, безумный человек!»), — см.: *Лотман Л. М.* Тургенев, Достоевский и литературная полемика 1845 года. — В кн.: И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества. Л., 1982, с. 39—40.

[16] Концовка эпилога романа, изображающая смерть Рудина на баррикаде

в период поражения июньской революции 1848 г., была добавлена Тургеневым в собрание сочинений (изд. Н. А. Основского 1860 г., т. 4). Как справедливо отмечают исследователи, эта концовка явилась итогом споров конца 1850-х—начала 1860-х годов об общественно-историческом значении дворянских интеллигентов, так называемых «лишних людей», и ответом Тургенева на отрицательную оценку Рудиных Добролюбовым и Чернышевским.

[17] Этими словами Рудина, возможно, навеяно заглавие упоминавшихся выше воспоминаний Ап. Григорьева «Мои литературные и нравственные скитальчества».

[18] См. также: *Кийко Е. И.* Русский тип «всемирного боления за всех» в «Подростке»: (По материалам чернового автографа). — Рус. лит., 1975, № 1, с. 155—161.

[19] Этот факт отмечен Г. Я. Галаган в ее комментарии к «Подростку», где Рудин упомянут как литературный прообраз «скитальца» Версилова (см.: *Д*, XVII, 290—291).

[20] Речь идет о поэме Некрасова «Саша». Ср. слова об Агарине:

А остальное все сделает время.
Сеет он все-таки доброе семя!

[21] *Михайловский Н. К.* Соч. СПб., 1896, т. 2, с. 619—621.

[22] Там же, с. 623.

[23] Вариант: «du monde civilisé» — русский дворянин и гражданин (цивилизованного) мира (*франц.*).

[24] В «Подростке» находим уже иную трактовку понятия «gentilhomme». В представлении Версилова и в интерпретации Аркадия gentilhomme, т. е. русский дворянин, это «тип, отдающий всё и становящийся провозвестником всемирного гражданства и главной русской мысли „всесоединения идей“» (*Д*, XIII, 388). По существу это уже характеристика «всечеловека».

[25] По наблюдению В. Д. Рака, различие между «общечеловеческим» и «всечеловеческим» было отмечено в статье Н. Я. Данилевского «Отношение народного к общечеловеческому» (1869), вошедшей в его книгу «Россия и Европа» (см.: *Данилевский Н. Я.* Россия и Европа. Изд. испр. и доп. СПб., 1871, с. 127—128; см. также: *Д*, XXIII, 364). Возможно, что первоначальное разграничение понятий «общечеловек» и «всечеловек», постепенно исчезнувшее, возникло у Достоевского под впечатлением от упомянутой книги Данилевского, которой он дал высокую оценку.

[26] См.: *Н. М.* ⟨*Михайловский Н. К.*⟩ Литературные и журнальные заметки. — Отеч. зап., 1873, № 1—2 (вторая из них перепечатана в издании: *Михайловский Н. К.* Собр. соч. СПб., 1896, т. 1, с. 840—872).

[27] Установлено Л. М. Розенблюм. О полемике Достоевского с Н. К. Михайловским в 1870-е годы см. в кн.: *Розенблюм Л. М.* Творческие дневники Достоевского. М., 1981, с. 117—140.

[28] Для Михайловского, как и для Достоевского, понятия «citoyen du monde» и «общечеловек» — синонимы (ср.: «Для „общечеловека“, для citoyen'а, для человека, вкусившего плодов общечеловеческого древа познания добра и зла. . .» — см.: *Михайловский Н. К.* Собр. соч., т. 1, с. 869). Оба понятия обозначают русского интеллигента, носителя передовых европейских общечеловеческих идеалов.

[29] Имеется в виду глава «Влас» в «Дневнике писателя» за 1873 г., где Достоевский выражает уверенность, что Влас «себя и нас (т. е. русскую интеллигенцию. — *Н. Б.*) спасет» (*Д*, XXI, 41).

[30] Михайловский имеет в виду рассказ Достоевского о «дерзостном мужике», посягнувшем на святыню («Дневник писателя» за 1873 г., глава «Влас»).

[31] *Михайловский Н. К.* Соч., т. 1, с. 867—869.

[32] «В Дневнике писателя» за 1877 г. (декабрьский выпуск) Достоевский, характеризуя Некрасова, придал поэту черты «кающегося дворянина» с его жертвенной любовью к народу и смирением перед «народной правдой».

[33] Полемика с Тургеневым и западниками во многом определила характер «Объяснительного слова» к Речи, о чем свидетельствует, в частности, письмо Достоевского к Е. А. Штакеншнейдер от 17 июля 1880 г.: «. . .сейчас после моей речи, когда вместе с Аксаковым и всеми, Тургенев и Анненков тоже бросились лобызать меня и, пожимая мне *руки*, настойчиво говорили мне, что я написал вещь

*гениальную*! Увы, так ли они теперь думают о ней! И вот мысль о том, как они подумают о ней, сейчас как опомнились бы от восторга, и составляет тему моего предисловия» (*Д, Письма*, IV, 183).

[34] Подробнее о полемике Достоевского с Градовским и Кавелиным см. в комментарии Г. М. Фридлендера к Речи о Пушкине: *Д*, XXVI, 474—478.

[35] *Градовский А.* Мечты и действительность. — Голос, 1880, 25 июня, № 174.

[36] заискивание (*лат.*).

[37] Лит. наследство, т. 86, с. 514.

[38] См. письмо Тургенева П. В. Анненкову от 9 (21) августа 1880 г. (*Т, Письма*, $XII_2$, 298; ответ Анненкова см.: там же, с. 578).

[39] Любопытно, что подобное же обвинение Достоевский предъявлял Тургеневу и западникам, упрекая их в том, что они хотят превратить русского человека в «общечеловека», европейского «обшмыгу», «Потугина», лишенного национального лица. Об отношении Тургенева к Пушкинской речи Достоевского см. также в воспоминаниях В. В. Стасова (Сев. вестн., 1880, № 10, с. 161).

[40] Автором этой статьи был А. Н. Пыпин, см.: *Мостовская Н. Н.* И. С. Тургенев и русская журналистика 70-х годов XIX века. Л., 1983, с. 96.

[41] Вестн. Европы, 1880, № 7, с. XXXIII. — Текст «Но дело в том ⟨...⟩ все та же гордыня под личиною смирения» является почти буквально повторением приведенных выше слов Тургенева.

[42] Там же.

[43] Подробнее об этом см.: *Васильев П. П.* Описание торжеств, происходивших в честь И. С. Тургенева во время его пребывания в Москве и Петербурге в течение февраля и марта 1879 г. Казань, 1880; *Мостовская Н. Н.* И. С. Тургенев и русская журналистика 70-х годов XIX века, с. 79—92. См. также: *Буданова Н. Ф.* Комментарии к речам Тургенева 1879 г. (*Т*, XV, 308—322).

[44] И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников. М.; Л., 1930, с. 48—49.

[45] В. И. Ленин в статье «От какого наследства мы отказываемся?» охарактеризовал русское просветительство 1860-х годов как широкое антикрепостническое движение, включающее в себя не только революционно-демократическое, но и либеральное направления. Ленин выделил три характернейшие для просветителей черты: одушевление «горячей враждой к крепостному праву и *всем его* порождениям в экономической, социальной и юридической области»; «горячая защита просвещения, самоуправления, свободы, европейских форм жизни и вообще всесторонней европеизации России»; «отстаивание интересов народных масс, главным образом крестьян ⟨...⟩ искренняя вера в то, что отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее благосостояние и искреннее желание содействовать этому» (*Ленин В. И.* Соч., т. 2, с. 519). Знаменательно, что среди просветителей 1860-х годов Ленин, как известно, назвал редактора «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича, общественно-политические взгляды которого во многом были близки Тургеневу.

[46] И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, с. 62.

[47] Речь идет о программе деятельности интеллигенции в народе, изложенной в упоминавшихся выше письмах Тургенева к А. П. Философовой 1874—1875 гг.

[48] И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников, с. 59—61.

[49] Исключение составляет восторженный отзыв о Лизе Калитиной, героине «Дворянского гнезда», которую как тип русской женщины Достоевский поставил рядом с Татьяной Лариной. Ср. с отзывом Достоевского о женских образах Тургенева в «Дневнике писателя» за 1876 г.: «Я уже не стану указывать на обозначившиеся идеалы наших поэтов, начиная с Татьяны, — на женщин Тургенева, Льва Толстого, хотя уж это одно большое доказательство: если уж воплотились идеалы такой красоты в искусстве, то откуда-нибудь они взялись же, не сочинены же из ничего. Стало быть, такие женщины есть в действительности» (*Д*, XXIII, 88—89).

[50] В «Дневнике писателя» за 1877 г. Достоевский вспомнил об «упоительном впечатлении», произведенном на него «Записками охотника» и «Первыми повестями» Тургенева (*Д*, XXVI, 66).

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Нина Федотовна Буданова

**ДОСТОЕВСКИЙ И ТУРГЕНЕВ: ТВОРЧЕСКИЙ ДИАЛОГ**

*Утверждено к печати*
*Институтом русской литературы АН СССР*
(Пушкинский Дом)

Редактор издательства *Е. А. Гольдич*
Художник *О. М. Разулевич*
Технический редактор *Е. М. Черножукова*
Корректоры *О. И. Буркова, Л. М. Егорова* и *Т. Г. Эдельман*

ИБ № 33052

Сдано в набор 27.11.86. Подписано к печати 14.07.87. М-33078. Формат 60×90[1]/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура литературная. Фотонабор. Печать офсетная. Усл. печ. л. 12.5. Усл. кр.-отт. 12.62. Уч.-изд. л. 13.74. Тираж 9300. Тип. зак. № 1033. Цена 1 р.

Ордена Трудового Красного Знамени
издательство «Наука». Ленинградское отделение.
199034, Ленинград, В-34, Менделеевская лин., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая типография издательства «Наука».
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12.

**КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «НАУКА»**
**МОЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАКАЗАТЬ В МАГАЗИНАХ**
**ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТОРЫ «АКАДЕМКНИГА»,**
**В МЕСТНЫХ МАГАЗИНАХ КНИГОТОРГОВ**
**ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ.**

*Для получения книг почтой заказы просим направлять по адресу:*

117192 **Москва,** Мичуринский пр., 12, магазин «Книга — почтой» Центральной конторы «Академкнига»;

197345 **Ленинград,** Петрозаводская ул., 7, магазин «Книга — почтой» Северо-Западной конторы «Академкнига»

*или в ближайший магазин «Академкнига», имеющий отдел «Книга — почтой»:*

480091 **Алма-Ата,** ул. Фурманова, 91/97 («Книга — почтой»);
370005 **Баку,** ул. Джапаридзе, 13 («Книга — почтой»);
232600 **Вильнюс,** ул. Университето, 4;
690088 **Владивосток,** Океанский пр., 140;
320093 **Днепропетровск,** пр. Гагарина, 24 («Книга — почтой»);
734001 **Душанбе,** пр. Ленина, 95 («Книга — почтой»);
375002 **Ереван,** ул. Туманяна, 31;
664033 **Иркутск,** ул. Лермонтова, 289 («Книга — почтой»);
420043 **Казань,** ул. Достоевского, 53;
252030 **Киев,** ул. Ленина, 42;
252142 **Киев,** пр. Вернадского, 79;
252030 **Киев,** ул. Пирогова, 2;
252030 **Киев,** ул. Пирогова, 4 («Книга — почтой»);
277012 **Кишинев,** пр. Ленина, 148 («Книга — почтой»);
343900 **Краматорск** Донецкой обл., ул. Марата, 1 («Книга — почтой»);
660049 **Красноярск,** пр. Мира, 84;
443002 **Куйбышев,** пр. Ленина, 2 («Книга — почтой»);
191104 **Ленинград,** Литейный пр., 57;
199164 **Ленинград,** Таможенный пер., 2;
199004 **Ленинград,** 9 линия, 16;
220012 **Минск,** Ленинский пр., 72 («Книга — почтой»);
103009 **Москва,** ул. Горького, 19а;
117312 **Москва,** ул. Вавилова 55/7;
630076 **Новосибирск,** Красный пр., 51;
630090 **Новосибирск,** Академгородок, Морской пр., 22 («Книга — почтой»)
142284 **Протвино** Московской обл., «Академкнига»;
142292 **Пущино** Московской обл., МР «В», 1;
620151 **Свердловск,** ул. Мамина-Сибиряка, 137 («Книга — почтой»);
700029 **Ташкент,** ул. Ленина, 73;
700100 **Ташкент,** ул. Шота Руставели, 43;
700187 **Ташкент,** ул. Дружбы народов, 6 («Книга — почтой»);
634050 **Томск,** наб. реки Ушайки, 18;
450059 **Уфа,** ул. Р. Зорге, 10 («Книга — почтой»);
450025 **Уфа,** Коммунистическая, 49;
720001 **Фрунзе,** бульв. Дзержинского, 42 («Книга — почтой»);
310078 **Харьков,** ул. Чернышевского, 87 («Книга — почтой»).

1 руб.



ИЗДАТЕЛЬСТВО „НАУКА"
Ленинградское отделение